

ПУШКИН

Александр Пушкин

1



ГОСЛИТІЗДАТ

А. С. ПУШКИН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

С. М. БОНДИ, Н. К. ЛУПКОЛА,
Ю. Г. ОБСМАНА, В. В. ТОМАШЕВСКОГО
и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1936

А. С. ПУШКИН



1

СТИХОТВОРЕНИЯ

1813—1825

РЕДАКЦИЯ

М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1936

**ПЕРЕПЛЕТ, ТИТУЛ, ЗАСТАВКИ И КОНЦОВКИ
ХУДОЖНИКА Н. В. ИЛЬИНА**



ПОРТРЕТ ПУШКИНА РАБ. Е. ГЕЙТМАНА



Настоящее, четвертое издание полного собрания сочинений Пушкина выходит к столетней годовщине со дня смерти поэта. Для данного издания заново пересмотрен ряд текстов, внесены нужные поправки в отдельные произведения, исправлена хронология стихотворений, преимущественно лицейского периода, и введена вновь найденная поэма — «Тень Фонвизина». В состав собрания входят, за исключением писем и деловых бумаг, все произведения Пушкина, в том числе и не получившие окончательной обработки и сохранившиеся в черновиках.

Все тексты печатаются по новой орфографии, с сохранением основных особенностей языка Пушкина, отразившихся в его правописании.

В черновых текстах в прямых скобках [] печатаются слова, зачеркнутые Пушкиным и ничем не замененные. В ломаные скобки < > заключены слова, добавленные редактором по смыслу. На месте слов, не поддающихся прочтению, ставится *нрзбр*. При словах, чтение которых предположительно, ставится < ? >. Слова, не допустимые в печати, заменяются черточками: - - - -.

В «Приложении» печатаются наиболее значительные по размерам законченные печатные и рукописные варианты.

Слова, устаревшие в своем значении и трудные для понимания, объяснены в приложенном к шестому тому «Глоссарии».

Настоящее издание выходит без комментариев, но одновременно готовится к печати справочный словарь к произведениям Пушкина, где даются необходимые сведения литературного, исторического и биографического характера.

Р е д а к ц и я





ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ТОМАМ

В настоящее собрание стихотворений Пушкина входят все беловые тексты их и черновые тексты стихотворений, не получивших окончательной обработки, как бы незначительны по своим размерам они ни были. Черновые тексты даются в чтении, установленном редактором.

Тексты почти всех стихотворений для настоящего издания выверены по первоисточникам.

Стихотворения разделены по группам. В первую, основную, вошли произведения как законченные и отделанные, так и незаконченные и неотделанные; во вторую — черновые наброски; в третью — произведения «коллективные», в которых Пушкину принадлежит только некоторая часть, и, наконец, в четвертую — сомнительные (*dubia*), принадлежность которых Пушкину может быть оспариваема.

Во всех группах стихотворения располагаются в хронологическом порядке их написания. Внутри года стихотворения размещаются по датам их написания, затем помещаются датируемые твердо только годом и в конце — датируемые данным годом предположительно.

Стихотворения, имеющие более одной редакции, печатаются в последней редакции. Исключения составляют лицейские стихотворения, которые печатаются в лицейской редакции, т. е. или в печатавшейся Пушкиным-лицейстом, или известной по рукописям лицейского времени. Стихотворения этого периода, подвергшиеся изменениям, даются вторично в особом отделе.

Тексты стихотворений из так называемого майковского собрания, приготовленные к печати Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским, взяты из выпущенного Государственным издательством художественной литературы полного собрания сочинений Пушкина в шести томах 1931—1933 гг.

Ближайшее участие в разборе пушкинских рукописных текстов принимала Т. Г. Зенгер.

М. Ц я в л о в с к и й

26 июня 1936 г.





АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

I

В своих гениальных статьях о Толстом Ленин установил несколько центральных идей, важных не только для освещения творчества Льва Николаевича, но и для понимания всей дворянской литературы нашей страны, в особенности той ее интереснейшей прослойки, которая может быть названа литературой дворянства ищущего, мятущегося, в отличие от сравнительно убогой литературы дворянства попросту косного.

Смятение, пронизавшее собой соответственные многочисленные культурно сильные прослойки дворянства, произошло в результате быстрой смены старой, самодержавно-феодальной, крепостнической, барско-крестьянской России новыми, капиталистическими формами ее хозяйства, быта, сознания.

Влияние гигантского процесса европеизации в огромной полуазиатской стране на дворянство было многообразно, многосторонне и приводило к весьма различным на первый взгляд результатам, у которых, однако, имеются общие корни: все они могут быть охарактери-

зованы как ряд выходов, которых искали и иногда (более или менее иллюзорно) находили отдельные представители смятенного дворянского сознания в различные эпохи великой драмы, близко к началу которой стоит Пушкин, близко к концу — Толстой.

Важно при этом то, что смятение дворянское, искания дворянские отражали собой не только трагедию рушащегося, дифференцирующегося, содрогающегося под влиянием внутренних противоречий барства, но также (хотя и более косвенно) несравненно более, в мировом значении, важное явление — крушение крепостного и вообще старо-крестьянского быта.

Напомним в этой связи некоторые строки статей Ленина, проникающего в самую сущность этого процесса. Уже в первой своей по времени статье — «Лев Толстой, как зеркало русской революции» — Ленин пишет:

«Противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необ-

ходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней».

Ленин говорит здесь о противоречивых условиях, в которые была поставлена вся русская жизнь в последнюю треть XIX века. Однако первые трещины крепостного права относятся к гораздо более далеким десятилетиям — к эпохе Александра I, — в конце концов, к первой трети XIX столетия. Конечно, последняя треть в этом отношении трагичнее, все явления в ней ускоряются, все контуры катастрофы проясняются. Но это только последующие акты трагедии, первым (хотя и имеющим в свою очередь довольно длинный пролог) актом которой явилось всё, что окружает декабрьское восстание 1825 года.

Ленин прекрасно понимает эту неотрывность «последней трети XIX столетия» от того распавшегося фундамента, на котором она возвышалась. В статье «Лев Толстой и современное рабочее движение» Ленин пишет:

«Главная деятельность Толстого падает на тот период русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами ее, между 1861 и 1905 годами. В течение этого периода следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны. И в то же время именно этот период был периодом усиленного роста капитализма снизу и насаждения его сверху.

В чем сказывались переживания крепостного права?»

Ленин далее перечисляет эти пережитки и прямо констатирует их силу, даже их господствующий характер.

Он пишет:

«Политический строй России за это время был тоже насквозь пропитан крепостничеством. Это видно и по государственному устройству до первых приступов к изменению его в 1905 году, и по преобладающему влиянию дворян-землевладельцев на государственные дела, и по всевластию чиновников, которые тоже были главным образом — особенно высшие — из дворян-землевладельцев.

Эта старая патриархальная Россия после 1861 года стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы, благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность.

Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя.

Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта,

которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания».

Сознательная жизнь Пушкина, обнявшая собой приблизительно первую треть XIX столетия, совпала со временем меньших темпов этого разрушения и разорения, — тем не менее большинство описанных Лениным явлений имели место уже и во времена Пушкина; мы даже имеем целый ряд высказываний самого Пушкина, со всей яркостью констатирующих и разорение самого дворянства (в особенности среднего), и необычайно тяжелое положение крестьян, и быстрый рост буржуазии.

По отношению к Пушкину нельзя, конечно, говорить о «переломе миросозерцания»; впрочем, и столь эффектный перелом миросозерцания Толстого подготавливался последовательно и для зоркого глаза не является неожиданностью. Всё же толстовский перелом представлял собой разительный, драматический отход аристократа от своего собственного класса; позиции, к которым пришел граф Толстой, находятся не только в контрасте с господствующими взглядами и бытом того класса, из которого он вышел, но, так сказать, рассчитаны (частью стихийно, частью сознательно) именно на впечатление такого контраста. Толстой уже понял совершенную невозможность защищать барское миросозерцание и барский быт (что он раньше пытался сделать путем гениальных уловок в

своих великих романах); он сдает свое барство, сдает без оговорок, до конца, вместе с государством, с церковью, с утонченной культурностью, даже с частной собственностью. Но он не переходит при этом в лагерь противника в качестве нового союзника или обезоруженного военнопленного, он не мирится с напиранием на него буржуазией, — он поражает ее еще более гневными перунами, чем те, какими он разит покинутый лагерь аристократии. Он отнюдь не апеллирует, как сделали это некоторые из наиболее дальновидных и великодушных его собратий по классу и по группе, к постакапиталистическим, к за-буржуазным формам революции, которые на основании анализа расцветшего буржуазного строя на Западе становились уже в известной степени ясными таким людям, как Бакунин, Герцен и им подобные. Для него немыслим и никакой союз с радикальным крылом нового, буржуазного мира, хотя это радикальное крыло, возглавлявшееся в начале деятельности Толстого гениальными фигурами — Чернышевским и Добролюбовым, а в конце вылившееся в социал-демократическую рабочую партию было вполне доступно изучению Толстого.

Толстой никогда не решался обрушиться на это левое крыло прямой ненавистью; временами он отдавал должное героизму этих людей, а иногда грозил миру господ опасностями гражданской войны низов против верхов, которую несут с собой эти люди; но внутренне Толстой ненавидел их так же, как плутократические и бюрократические верхи аристократии, как бездушную, наживательскую и жестокую буржуазию. То-и-дело прорываются у него и

в его произведениях (которые он большей частью стеснялся издавать) и в его письмах издевательства и гневные реплики против этого «нигилизма» во всех формах.

Толстой, совершая свой великий перелом, сделал гигантский маневр перехода с позиции бар на позицию мужиков. Идеализированный мужик сделался тем прибежищем, под сенью которого Толстой решил создать свою новую, антикапиталистическую твердыню. Отсюда все качества: отсюда величие всей толстовской писательской и личной судьбы, которое так ярко отметил Ленин, отсюда и всё глубокое убожество не только отдельных деталей, но и всей его учительской концепции.

Не то Пушкин.

Стоя у начала социального сдвига, с космической силой перевернувшего весь облик нашей страны, позднее со столь неожиданной быстротой приведшего к новому, радикальному перевороту — к Октябрю, — Пушкин не покинул до конца аристократических позиций. Он занимал колеблющееся положение, он, подобно Толстому, ненавидел придворную знать, «приближенных» бюрократов, всю новую позолоченную чернь, на которую опиралось самодержавие, но часто ему хотелось — или приходилось хотеть — отделить самодержавие от этих теснящихся у трона подлецов, питать какую-то надежду на то, что самодержавие есть вождь всей страны или — что вернее и важнее — всего дворянства. Пушкин всячески пытался защитить это «всё дворянство», но жизнь учила его тому, что в этом классе голос имеет только мощная своим богатством и бюрократическим влиянием верхушка да поддерживающая ее

косная мелкотравчатая сволочь; как раз меньше всего здесь звучит голос среднего дворянства, принимающего прогресс и научно-художественный, и бытовой, и хозяйственный, и, в равной мере, политический, — среднего дворянства, самой интересной, наиболее жутко переживавшей все жизненные тревожения группы, частью которой было как раз то разоряющееся родовитое дворянство, к которому с гордостью, но и с печалью причислял себя сам Пушкин.

Он готов был даже отказаться от политического влияния, не только личного, но и за свою группу, он готов был уйти в партикуляризм, готов был поставить своей задачей (такой период был и у Толстого) возвращение к усадьбе, к поместью, доброхозяиственное отшельничество, скрашенное высокой культурой для себя, для культурнейших современников и потомков.

Но та ветвь, на которой сидел Пушкин, была гнилая и трещала под ним. В Болдине, куда Пушкин поехал с лучшими намерениями заняться сельским хозяйством, он переживает бурю в своем классовом сознании, вынужденный в значительной степени схоронить все свои надежды даже на такой скромный исход для культурного дворянина и взвесить — быть может, пока полусознательно — совсем другие пути, уже уводящие его прочь из лагеря дворянства.

Этот выход, однако, не был так разителен и, можно сказать, театрален, как выход Толстого. Перелома тут наверное не было бы, если бы судьба и дала Пушкину прожить значительно более долгую жизнь. В этом случае мы

только увидели бы героические старания Пушкина окончательно стать реалистом, прозаиком, журналистом и сохранить свою независимость путем продажи рукописей на рынке, то есть путем вольного служения новым разворачивающимся в стране силам безыменного, нечиновного, неродовитого читателя, на которого уже сильно, хотя и страдальчески, начинал работать Белинский; может быть, мы увидели бы дальнейшую дружбу Пушкина с Белинским, может быть, мы увидели бы Пушкина на путях герценовских.

Всё это, конечно, не толстовское бегство из барства в мужичество, а скорее осторожный и полный сомнений переход с барских позиций на буржуазные. Можно, однако, с уверенностью сказать, что буржуазный цинизм, оголенные буржуазные программы ни в коем случае не были бы приняты Пушкиным и что его дальнейшее миросозерцание оформилось бы либо в какие-нибудь интереснейшие кристаллы западно-славянофильских переходов и амальгам, либо даже в форму сочувствия занимающейся заре социализма в тех утопических и вместе с тем столь эстетически привлекательных проявлениях, какие порождались в то время на Западе (Сен-Симон и другие). Но всё это может быть только гаданием. Факт тот, что если новый класс, новый, буржуазный, рязночинский читатель только еще начинал складываться, и можно ставить перед собой вопрос, смог ли бы он поддержать идущего навстречу ему поэта, то противоположный лагерь — косные и господствующие слои аристократии, большой свет, двор, Бенкендорф, Николай оказались достаточно сильными,

чтобы затравить и убить величайшего русского писателя.

В гибели Пушкина таится огромная социальная трагедия. Эта гибель совершенно закономерна, ее тень давно уже лежала на всех путях Пушкина. В ней сказались жестокая ненависть, лютое презрение, палаческое равнодушие со стороны господствующих классов к человеку, который явным образом являлся отщепенцем, несмотря на все, к сожалению, предельывавшиеся им самим усилия смягчить свое отщепенство, остаться сколько-нибудь законным участником общества «ликующего, праздно болтающего, обгаряющего руки в крови».

Как видит читатель, пути Пушкина иные, чем пути Толстого, контрасты во времена Пушкина не столь разительны, темпы не столь быстры; есть и ненависть к верхам, есть и известная симпатия к крестьянству, есть и глубокая заинтересованность буржуазией, мещанством, с еще, однако, не установившейся оценкой больших и малых проявлений этого поднимавшегося класса; всё вместе, однако, создавало только мучительные колебания в сравнительно небольшой амплитуде; можно было ждать разве того, что Пушкин выйдет несколько за эту амплитуду к некоторому либерализму, чуждому буржуазной живоглотности, но родственному тому свободолюбию, народолюбию и, может быть, даже симпатии к утопическому социализму, которые оказались вполне востребованными для сознания передового дворянина через немного лет после смерти Пушкина (молодой Герцен).

Мы лишены возможности в этой нашей суммирующей статье проводить другие параллели,

но мы очень рекомендуем рассмотрение мирозерцания и судьбы Лермонтова параллельно с мирозерцанием и судьбой Пушкина. Ближайшее рассмотрение показывает гораздо большую родственность между обоими поэтами, чем это кажется с первого взгляда. На Лермонтове сказывается почти та же закономерность, что и на Пушкине. Многие из того, что уже сказано нами сейчас, и из того, что еще будет сказано, получает свое подтверждение и социологическое углубление при проведении такой параллели.

II

Рассмотрим несколько ближе тот отрезок процесса европеизации (капитализации) нашей страны, который определил собой судьбу Пушкина. Самый рост самодержавия и стремление его сделать себя независимым по отношению к крупной феодальной аристократии есть процесс в высшей степени давний, начавшийся в XVI веке, но несомненно уже входящий в общую картину этой европеизации.

Как всюду, так и в России рост торгового капитала и городов создавал, в качестве центрального общественного явления, конфликт между новым, торгово-городским укладом жизни и старым, феодально-деревенским. Трон, как основной представитель господствующих классов, попадал таким образом в чрезвычайно выгодное положение, ибо и класс крупнейших феодалов, магнатов, боярства и поднимающийся торговый класс (причем часть самих магнатов естественно начинала соскальзывать на позиции «по преимуществу торговцев») претендовали быть основной опорой и основным двигателем

трона и всей центрально-государственной бюрократической машины.

При этом феодализм, однако, имел центробежную зарядку, торговый капитал — центростремительную.

Во всех тех случаях, когда буржуазия или те или иные отдельные ее прослойки проявляли излишнее свободолюбие, тронам Франции, Германии и России удавалось, опираясь на феодализм, — и чем дальше, тем больше именно на мелкопомещичье, служилое сословие — душить такие чрезмерные требования третьего сословия.

Но зато крупных феодалов удавалось сламывать объединенными усилиями бюрократии и служилых людей, становившихся все более и более любимым сословием трона (всякого рода опричники), и силами самой буржуазии.

Пушкин любил относить себя к потомкам знатных оппозиционных родов, защищавших привилегии аристократии против растущего таким образом и всё более абсолютного самодержавия.

При Петре Великом «просвещенный абсолютизм» проявился в нашей стране с редкой яркостью, и Пушкин чрезвычайно сложно оценивал Петра. Будучи сам в общем западником, всячески сочувствуя культуре и победе ее над российской косностью, Пушкин не мог не сочувствовать с этой стороны Петру; с другой стороны, он рисовался ему как жестокий революционер, в самом точном значении этого слова, то есть не только по решительности своих методов, но и по разрушительности их для старого правящего класса; с Петра Великого идет для Пушкина всё повышающаяся линия завоевания страны наглой бюрократической знатью. Для Пушкина было

ясно, что в самый правящий класс история (больше, чем Петр Великий или какая-либо другая личность) загоняет клин и может отбросить часть дворянства не только в оппозицию, но даже и в революцию против самодержавия, поскольку судьба этой части как в смысле политического влияния, так и в смысле экономической мощи стремительно понижается.

Между тем самодержавие перед лицом растущего капитализма, при явных тенденциях перехода от преобладания торговых его форм к промышленным, находилось само в чрезвычайно двойственном положении. Лучшие головы самодержавного механизма, то есть дворянско-бюрократического представительства правящих классов, прекрасно понимали необходимость европеизации — продолжения дела Петра. В то же время, однако, эта европеизация не могла не привести к переустановке всех классовых сил, к гибели крепостного права, становившегося поперек дороги развитию капитализма аграрного и особенно индустриального, к росту в стране оппозиции и к последующему крушению самодержавия. Поэтому самодержавие испытывало постоянные судороги, перебрасывалось с одной стороны в другую, от умеренного либерализма к яростной реакции. Такими контрастами характеризуются начало и конец царствования Екатерины, начало и конец царствования Александра I.

В самих правящих классах процесс поляризации сил страны отражался как борьба различных тенденций — либеральных и реакционных. Молодость Пушкина совпала с «дней Александровых прекрасным началом». Правительство либеральничало после урока 12-го года и более

близкого знакомства с Западом; процессы европеизации шли ускоренно. Но прошло немного времени, еще не кончился период самой свежей молодости Пушкина — и на окружающих и на него посыпались кары за свободомыслие; мрачная фигура Аракчеева встала между либеральным дворянством и солнцем, которое, казалось, готово было взойти.

Этот процесс быстрого поправления самодержавия привел в глубокое замешательство значительные слои дворянства. Из состава заговорщиков того времени мы знаем, как разнообразны были причины и формы этого дворянского возмущения; фронт от Трубецкого до Пестеля был громадный, и отчасти эта пестрота фронта дала возможность самодержавию так легко справиться с бунтом дворян. Тем не менее само по себе дворянское восстание является симптомом большой важности. Главным двигателем явилось здесь, конечно, среднее и мелкое дворянство. Как всегда, так и здесь степень революционного негодования определялась быстрым изменением его положения в худшую сторону.

Двадцатые годы отметились достаточно бурным ростом нашей промышленности (текстиль, например), переходом на лучшее землепользование, на повышенную агротехнику, на работу для вывоза хлеба за границу, а вместе с тем растущим количеством крестьян, отпускаемых на оброк, освобождаемых посессионных рабочих и т. д. Но вместе с тем экономический кризис того времени, вызванный падением цен на хлеб на мировом рынке, ударил по всей этой первой волне капиталистического процветания и придавал особенно мрачный характер разразив-

шейся к тому же времени политической реакции. Наиболее быстрое ухудшение положения как политического, так и экономического испытывала на себе та часть родовой аристократии, которая не попала в число раззолоченной дворовой челяди и быстро теряла свое общественное место. К этой группе принадлежал и Пушкин. Это нужно постоянно помнить при дальнейшем выяснении корней не только социально-политических суждений Пушкина, но и того, что для нас гораздо важнее, — его художественного творчества, значение которого так блистательно переросло рамки пушкинской эпохи.

III

Перейдем к некоторым общим абрисам эволюции личности Пушкина и связанного с ней творчества под углом зрения этих общих социальных обстоятельств.

Прежде всего мы хотели бы отметить, что, признавая весьма серьезную роль личности как таковой, то есть как биологической особи в творческом процессе, мы, тем не менее, совсем не будем касаться личности Пушкина как организма, как темперамента. И, конечно, мы в праве это сделать, так как из всех чисто биологических черт всякого гениального писателя для нас кардинально важна только самая его гениальность, то есть (поскольку дело идет о художнике) крайняя восприимчивость в отношении к жизни, легкость нарушений внутреннего равновесия под влиянием жизненных впечатлений, напряженное искание восстановления такого равновесия, некоторого жизнерадостного уравнения себя и непосредственной

своей среды, притом искание такого разрешения жизненных противоречий через посредство искусства, то есть образно проработанного внешнего выражения внутренних шоков, волнений, колебаний и т. д.

Эти черты, рядом с бóльшими или мёньшими специфическими способностями формального характера, толкающими художника к слову, к краскам, к музыкальным звукам, в зависимости от его физиологического предрасположения, составляют физиологическую сущность крупного, а тем более великого художника, и без наличия этих черт его не может быть нигде и никогда.

Талантливость и гениальность определяют собой, во-первых, так сказать, ёмкость индивидуально-психического сосуда, а также те, в широком смысле, формальные способы, которыми вливающееся извне в этот сосуд содержимое будет прорабатываться и вновь отражаться в жизни (мы имеем в виду именно ту или другую «специфическую» даровитость).

Зато всё содержимое, то есть вся масса впечатлений, идущих от жизни, будет целиком определяться современностью писателя, его общественной средой, тем местом, которое он занимает в этой среде в смысле хронологическом и, так сказать, социально-топографическом.

Это содержимое, вливаясь в сознание человека с детства, постепенно кристаллизуется там в формы, предопределенные всей социальной ситуацией и только более или менее богатые, в зависимости от даровитости данной природы.

Уже на эти сложные энграммы, то есть первоначально твердые записи, которые содействуют

дальнейшему формированию текучего опыта, дальнейший опыт кладет решающую печать. Что именно будет выделять даровитая личность из окружающей среды, как именно будет реагировать она на эти впечатления, вокруг каких доминант будут они организовываться в ее сознании, в каких формах отразятся обратно в жизнь среды — всё это будет зависеть от некоторой равнодействующей влияния на личность впечатлений периода, в который растет данное художественное произведение, и тех способов апперцепции, то есть качественно определенного восприятия, которое обусловлено структурой сознания, постепенно возникшей из предыдущего накопленного опыта. Идя ближе и ближе к детству, мы находим почти *tabula rasa*, то есть белый лист, на котором жизнь напишет в с е содержание. Различия между этими белыми листами, то есть те определители сознания, которые не зависят от среды, а диктуются чисто биологическими условиями (куда, впрочем, через наследственность входит и социальное влияние, воздействовавшее на родителей, предков и т. д.), сводятся в конце концов к немногому, — кроме чисто количественного вопроса о большей или меньшей талантливости, то есть емкости, силе реакции, силе выразительности, в свою очередь, разумеется, обостряемых или притупляемых дальнейшей биографией.

Мы не хотим здесь останавливаться на некоторых дополнительных вопросах, связанных с аномалиями мозга. В этом отношении остается место для весьма интересного исследования. Но область эта еще мало разработана, и здесь мы пройдем мимо относящихся сюда проблем.

Остается очевидным, что изучение биологических предрасположений может дать кое-что для ответа на вопрос, почему именно данная личность, такой-то, имя рек, живущий в одном веке и приблизительно в одних условиях с другим, оказывается не только более талантливым или даже гениальным, но, при большом сходстве воздействия на них материала и даже, допустим, равенстве дарований, отличается от этого другого некоторыми приемами творчества, повидимому, связанными с самой конституцией данного человека, принимая это выражение в самом широком смысле этого термина. Словом, — почему именно Толстые и Пушкины являются яркими выразителями целых общественных групп, другие представители которых отнюдь не достигают равной с ними высоты.

Однако всё это отнюдь не является решающим. Каждая эпоха, с биологической точки зрения, порождает определенное, приблизительно равное количество разнообразно даровитых людей. Если одна эпоха кажется бездарной, а другая одаренной, то это никоим образом не зависит от простого статистического факта рождения большего или меньшего количества тех или иных дарований, а исключительно от социально-культурного характера эпохи, которая может вызывать к деятельности такие таланты или оставлять их в бездействии, быть для них благоприятной или враждебной и ударять по тем клавишам биологической клавиатуры, то есть по тем именно формальным дарованиям, которые для выражения внутренней сущности этой эпохи оказываются более нужными.

Не потому, конечно, пластика доминирует в античной цивилизации, живопись — в эпоху Возрождения, музыка — в XVIII веке и начале XIX, что в соответственные годы и в соответственных странах рождалось больше скульпторов, живописцев или музыкантов, как, якобы, могло родиться большее или меньшее количество женщин или мужчин, брюнетов или блондинов и т. д., а потому, что среди родившихся с данным талантом, подходящим для выражения эпохи, редко кто не оказывался использованным в благоприятных для данного вида условиях, и даже те, которые в другое время могли бы по своим дарованиям избрать какой-либо другой путь, господствующим ветром эпохи вовлекались на путь данного вида искусства.

В эпоху Пушкина дворянский класс, находившийся в условиях известного жизненного комфорта, постепенно всё более соприкасавшийся с началами западной культуры, был поставлен в такие условия, когда родившиеся в нем дарования неизмеримо легче могли вырасти во весь свой рост, чем люди не менее даровитые, но родившиеся в среде мелкой буржуазии или в каких-нибудь курных крестьянских избах.

И то обстоятельство, что именно художественная жизнь, а в области искусства именно литература привлекала внимание наиболее культурно отзывчивых слоев эпохи, также, конечно, являлось естественным моментом в классовом росте дворянства.

Пушкин был биологически, анатомо-физиологически блестяще одарен, гениален. Бурность, волшебная быстрота

его развития, достигнутая им степень совершенства и славы зависели от того, что его эпоха в известной мере и с известной стороны блистательно покровительствовала росту его дарования.

Долгое время держалась легенда о необыкновенно кристальной прозрачности творческой личности Пушкина, о том, что доминирующей характеристикой ее является счастливая уравновешенность, что в Пушкине мы имеем перед собой законченный тип эллина, влюбленного в красоту, ищущего наслаждений и умеющего примирить противоречия и грациозно примириться с ними.

Если бы это было так, то значение Пушкина как для его эпохи, так для потомства и для нашего времени было бы бесконечно меньшим, чем в действительности.

Дело, однако, заключалось как раз в том, что класс, принадлежность к которому давала Пушкину десятки счастливейших привилегий, был вместе с тем расколот, носил в себе определенную трагедию, что эта трагедия — процесс социального снижения, почти умирания — легла всей своей тяжестью как раз на ту прослойку дворянства, к которой принадлежал Пушкин и которая, между прочим, как раз по всем условиям своей жизни была наиболее культурно восприимчивой.

В Пушкине, таким образом, отразилось не только господствующее положение дворянства в стране, не только его богатство, не только рост его культурности и отсюда всё более повышенная чувствительность, всё большая тонкость мысли, — нет, в Пушкине отразилось также чувство глубокого п о р а ж е н и я бед-

неющей родовой аристократии, стародворянской части среднепомещичьей прослойки; в Пушкине отразилась глубокая обида этой деградацией и страстное желание справиться с ней таким образом, чтобы спасти свое личное достоинство и свое социальное место; в Пушкине отразился страх этой наступающей классовой смерти — и всё это создало в его золотой музыке перебои и диссонансы, совершенно ясно слышимые теперь нашим ухом. Внутренние бури, отражавшие бури внешние, метали сознание Пушкина в разные стороны, «разрывали его душу». С громадными усилиями пытался он спасти единство своего сознания и найти правильный путь. Это-то и переполнило произведения Пушкина таким многообразием и блеском, придало им такую подкупающую глубину, возвысило их над его временем и сделало их на многие и многие века сокровищем не только нашей страны, но и всего человечества.

В статье «Л. Н. Толстой», написанной в ноябре 1910 г., Ленин, вождь пролетарской революции, так определяет самую причину величия и социально-художественной значимости Толстого:

«Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, еще при крепостном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятельности, он рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. Рисую эту полосу в исторической

жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Особенно подчеркиваю здесь важность последних строчек. Несколько шагов вперед и вверх, имеющих значимость не только для нашей литературы, русской, но и мировой, сделаны Толстым не в силу его биологической гениальности (которая, конечно, является необходимой предпосылкой), а в силу того, что он отразил эпоху подготовки революции в одной из стран, — притом, заметьте, не в какой-нибудь вообще стране, а в нашей огромной «России», где культура, может быть, ниже по своей зрелости (пока!), но где она являет собой пирамиду, строящуюся на гораздо более широком фундаменте. Явления крушения феодально-крепостнического строя в такой гигантской стране имеют особое значение для человечества, и в этой гигантской стране легче, чем в других, возможен соответствующий человеческий подбор. Десятки тысяч революционеров, выделившихся, например, в самом начале нашего рабочего движения, послужили тем материалом для подбора, в котором постепенно возвышались отдельные руководители, вожди этого движения и наконец вождь вождей и масс — Ленин.

Это не значит, конечно, что наши гении во всех отраслях непременно превышают гениев Запада чуть ли не пропорционально количеству нашего населения. Но совершенно ясно, что явления, происходящие в таком гигантском, океаническом резервуаре, дают бóльшие потенции, бóльшие напряжения, чем те, что могут быть замкнуты рамками небольшой страны.

Во всяком случае эта формула, — величие Толстого своеобразно отражает величие и скорбь (и радости!), все те процессы и переживания, которыми сопровождалась огромная революция, приведшая Россию от незыблемости азиатского типа к Октябрьской революции, и в частности соответствующий толстовской эпохе ее отрезок, — должна быть признана правильной.

Но и Пушкин отразил не менее своеобразно отрезок того же процесса, притом при гораздо большей молодости класса, при гораздо более начальных, элементарных задачах, стоявших перед искусством этого класса, хотя, конечно, и при несколько меньшем трагизме развернувшихся конфликтов.

IV

Весна Пушкина в значительной степени совпадает с весной дворянской общественности. Это совпадение знаменательно. Оно обаятельно отразилось в лицейском облике Пушкина: маленький стройный арапчонок, курчавый, с огнем в глазах, подвижной, как ртуть, полный страсти, — таким видят Пушкина его лицейские товарищи и педагоги.

С невероятной жадностью прильнул этот барич к кубку жизни, которая протягивала ему себя всю, доставляла ему наслаждения; самый

Физический процесс жизни — вкусная еда и питье, природа, постепенно всё глубже раскрывающаяся перед ним, любовь, начинающая тревожить и услаждать его, — полон для него прелести. А дальше — беседа, то кипящая блеском соревнования в остроумии, то начинающая задевать глубокие струны, от трепета которых долго волнуется вся его личность, чтение русских и иностранных авторов, первое движение самостоятельной мысли, первые взлеты самостоятельного творчества.

Даже в тех случаях, когда Пушкин с кем-нибудь ссорился или чувствовал себя виноватым перед кем-нибудь, он проявлял свою неистощимую ласковость, начинал щипать, целовать своего собеседника, примирял и очаровывал его этим потоком доброжелательства. Существо юное, ласковое, очарованное жизнью, готовящееся к счастью — таков был Пушкин. И как будто бы нарочно для него изобрели Александр I и его приближенные Царскосельский лицей с его садами, статуями, водами, с его полусентиментальной, полулиберальной педагогикой, с его пылкой товарищеской средой, его веселыми, порой бесшабашными нравами, его сверкающими литературными увлечениями, его близостью к правящим вершинам всего российского мира и эхом либерального недовольства и прогрессивных надежд лучшей части дворянства в его аудиториях и дортуарах.

Культурный пьедестал созревающего Пушкина был достаточно велик. Судьба сразу же поставила его на довольно высокую ступень ранее пройденной лестницы.

Кто не знает о том, как «старик Державин» заметил Пушкина и его музу! Старик Дер-

жавин персонифицировал собой самые высокие и самые вольные достижения русского классицизма, лежа как первоначальная мраморная плита под поэтическим тронем Пушкина.

Но дворянство не ограничивалось только трубными и лирными звуками высокопарных словосочетаний; уже сам Державин разбавлял торжественное вино теплыми ароматами несравненно большей интимности. Именно переход от показного к интимному; вернее, постепенное развитие за маской показного величия европееобразно-утончающегося личного и семейного быта, — вместо азиатского бытового мрака, — знаменовали собой десятилетия, в которые родился и рос мальчик Пушкин.

Сентиментализм и мягкая, несколько дряблая романтика Жуковского знаменовали собой именно этот рост интимной обстановки и внутреннего мира.

«Пленительная сладость» стихов была уже в известной мере достигнута, и Жуковский подставлял плечи своему несравненно сильнейшему преемнику.

В то время как всё это подготовляло уже известный синтез, известный великолепный итог завоеванному, синтез этот оставался еще первоначальным и итог этот — исходным этапом для дальнейшего строительства. Пушкин вошел в русскую литературу в такой же счастливейший момент, какой позволил вырасти в колоссальные фигуры и Данте — первому виртуозу итальянского языка, и Гете — великому оформителю языка немецкого.

Пушкин вступал в жизнь в некоторой степени как новый Адам. Множество вещей вокруг и множество чувств человека, можно сказать,

не были еще названы. И действительно, вокруг Пушкина постоянно творились новые слова. Но дело не в новом термине, а в новых атрибутах, в новом освещении, в новом художественном выражении этих внутренних и внешних, часто первоначальнейших в полном смысле слова основных явлений; после Пушкина все надолго должны были стать эпитгонами. Первые гении всякой литературы занимают и самые большие командные высоты, разрешают самые крупные эмоциональные и стилистические проблемы. Родись они при равной силе, в более позднюю эпоху, они должны были бы найти многое сделанным до них и во многом должны были бы стать не превосходящими вершинами, а уступами к некоторому снижению.

Конечно, всякие длительные эпохи, органически между собой связанные, как дворянская эпоха русской культуры, имеют многие вершины, целую систему горных хребтов; но тем не менее именно первый из них во времени должен быть самым прекрасным, самым общезначимым, отмеченным невыразимо привлекательной печатью новизны и юности.

Пушкин был вождем целой плеяды людей, просыпающихся для просвещения и, так сказать, художественно прорабатывающих весь мир для дворянства, уже и точнее — для культурной части дворянства.

Эта культурная часть дворянства шла под знаменем Запада, она с восторгом принимала достигнутое в Европе. Но уже в век Екатерины ставился вопрос о том, как сохранить свое лицо, как сделаться о с о б е н н о й, р у с с к о й г р а н ь ю общеевропейской культуры: особенный язык, особенная природа, особенные нравы,

особенная ступень культуры — всё это делало, конечно, невозможным и мертвенным простое воспроизведение европеизма для гигантской просыпающейся страны. Если бы кто и хотел быть рабским подражателем Запада, то не мог бы, и неизбежно дал бы некоторую смесь цивилизации с татарщиной, французского с нижегородским. Но наиболее даровитые и образованные вовсе не хотели быть просто копиистами. Напротив, они хотели найти свою самобытность, отнюдь не отрицая, однако, того, что ее нельзя искать в исконной азиатчине, открещиваясь от Европы.

Спор о пропорциях западничества и славянофильства, необходимых для построения самобытной культуры, но всё же культуры, долго еще волновал дворян и, в меньшей степени, их наследников.

Политика не была центром внимания Пушкина, но он не мог оградиться от нее, потому что она тяжело волновала дворянство и в особенности его культурнейшую часть. Эта культурнейшая часть не совпадала с придворной знатью и бюрократическими властями; она испытывала на себе давление постепенного разорения, а отчасти, наоборот, стремительно переходила к повышенным формам сельскохозяйственного и даже индустриального производства, проникалась сознанием вредности крепостного права и — в обоих случаях — нервничала по поводу самодержавной узды. На этой почве в первую эпоху жизни Пушкина разверзалась всё бóльшая щель между либеральным дворянством и самодержавием. Живой, отзывчивый и мальчишески озорной Пушкин осмеливался в непредназначенных, конечно, для печати произведе-

ниях говорить величайшие дерзости самодержавию, что и доставляло ему постепенно славу рупора оппозиционных настроений.

В год окончания лицея Пушкин восклицает в своей оде «Вольность»:

Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок...

Он грозил самодержавию:

Тираны мира, трепещите,
А вы мужайтесь и внемлите:
Восстаньте, падшие рабы...

Правда, этот совсем юный Пушкин, как истый дворянин, доходит в своих мечтах, несмотря на резкость выражений, только до конституционного либерализма:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой...

поучал он Александра и его свору.

Но несколько позднее, в разгар аракчеевщины, Пушкин уже гремит:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия поворота и обиды...

Он называет этот кинжал — оружие террористов — «свершителем проклятий и надежд».

Некоторым показателем того, как относилась реакционная часть общества к Пушкину в его молодые годы, может служить тот документ, который был составлен неким Висковатовым и которым открывается серия секретных материалов о Пушкине, найденная в III отделении:

«Известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в бозе почившего императора Александра Павловича повелению определенный к надзору местного начальства в имении матери его, состоящем в Псковской губернии, в Опочецком уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям и, по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя императора Александра Павловича, он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: «Наконец, не стало тирана, да и оставшийся род его не долго в живых останется». Мысли и дух Пушкина бессмертны; его не станет в сем мире, но дух, им поселенный, навсегда останется, и последствия мысли его непременно поздно или рано произведут желаемое действие».

Последние строчки доноса могут навести даже на мысль о каком-то сравнительно плохо прикрытом издевательстве автора его над властью, к которой он был направлен. Вряд ли приспешникам Николая I было так приятно прочесть, что «желаемое действие», то есть истребление Романовых, рано или поздно непременно будет достигнуто бессмертным духом Пушкина.

При всем своем молодом озорстве Пушкин не мог не сознавать опасности подобной позиции, да если бы и не признавал, то ему очень скоро напомнили бы об этом. А Пушкин, с его страстной жаждой счастья, уже в то время очень

боялся, как бы бурный его темперамент и окружающая его атмосфера политического кризиса не завлекли его слишком далеко, быть может, на гибель. Те настроения, которые отразились в его более поздней, но всё ещё юношеской (1825-й год) поэме «Шенье», были ему присущи давно, и дело заключается тут не во враждебности его к революции, а в самом страхе его перед политической стихией: «Зачем от жизни сей ленивой и простой...»—говорит у него Шенье, —

Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И влоба и корысть. Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня...

Этот ужас разочарований перед слишком радикальными последствиями восстания, этот ужас перед возможными карами является очень значительной стихией в словно бы созданном для счастья Пушкине.

Между тем бдительное начальство уже раньше обратило внимание на вольнолюбивого поэта. Едва избегнув прямой ссылки, Пушкин, на положении попавшего в опалу, был выслан на юг, сначала к мягкому Инзову, а потом под начало Воронцова, измучившего его и ранившего чувство его достоинства своей сановной чванливостью.

Там, в довольно глухой провинции, чудил и кипел Пушкин, шалил и хулиганил, и брызгал во все стороны жемчугом и искрами своего поэтического фонтана. Но выпавшие на его долю довольно увесистые для его молодых плеч напасти уже содействовали некоторому омрачению исконной жизнерадостности Пушкина, в особенности длительная ссылка в Михайловское,

тяжелые семейные переживания на этой почве и т. д.

Если он влюбляется в это время в Байрона и байронизм, как влюбляются в него многие другие молодые дворяне, то это совершенно естественно.

Что такое стихия байронизма на Западе? Это — кипение сил, внезапно задержанных рутиной восторжествовавшей реакции, это — горечь радикальных буржуазных слоев перед неожиданным выкидышем революции — умеренным буржуазным строем. Богатое и размеренное мещанство — золотая середина, первоначальная маска тогдашнего капитализма — восторжествовало. Люди, вознамерившиеся строить какую-то большую, яркую, счастливую жизнь, оказались не у дел, и вот некоторые из них, прежде всего Байрон, ищут утешения в самой скорби своего положения, драпируются в свою ненужность, свою оторванность от общества, которую они, конечно, квалифицируют как нечто бесконечно превосходящее среднее достоинство стадного человека. Отщепенство становится признаком гениальности и избранности; на этой социально в высшей степени уродливой почве гениальные люди мелкой буржуазии, ее интеллигенции выращивают причудливое растение пессимистического, проникнутого гордым отчаянием мирозерцания «лишних людей».

Без такого острого трагизма, но всё же с большой долей горечи определяли свое положение и лучшие из среды дворянской молодежи в эпоху аракчеевщины, в последние годы царствования Александра. Тут же лежат и причины байронистического пароксизма. Бай-

роновские герои Пушкина из «Кавказского пленника», «Цыган» и другие всегда неопределенны и расплывчаты; одно ясно: им неуютно на свете, они не устроились в нем, и Пушкин вместе с тем подчеркивает, что случилось это не по малокалиберности их, не по неспособности, а именно потому, что они превосходят свой век.

Пушкин никогда не принимал своего байронизма слишком всерьез. Уже в «Цыганах», написанных до громового удара Декабря, Пушкин старается противопоставить байроновской гордыне какую-то стихию действительной жизни. Нельзя иначе понять знаменитых слов, вложенных в уста «простецу» старику-цыгану:

Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; — оставь же нас...

— говорит он Алеко, беря этого байронического сверхчеловека за одну скобку со всей большой цивилизацией:

Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казим,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли...

У Пушкина как бы уже брезжит представление о какой-то «простоте жизни», одинаково далекой и от жестоких законов человеческого стада — государства и от эгоистически замкнутых в самовлюбленности индивидуалистов.

Дальнейший процесс преодоления байронизма и оригинальнейшие попытки найти выход из одиночества байронического героя (например, в незамысловатую, но на миг показав-

шуюся Пушкину спасительной жизнь усадебного помещичества) выразились потом в целом ряде пушкинских произведений, между прочим, и в величайшем среди них — «Евгении Онегине».

Но сгущавшиеся над головой молодого Пушкина облака внезапно превратились в настоящую грозовую тучу и разразились событиями Декабря, в значительной степени изменившими весь поток творческой судьбы Пушкина.

Дело, разумеется, не обстоит так, чтобы декабрьские события радикально преобразили всё настроение Пушкина; но то, что в нем уже начало происходить, — разочарование, страх, стремление как-нибудь примириться с действительностью, — после «примера», показанного Николаем, разумеется, разрослось.

Пушкин еще не изменил своему либеральному образу мыслей, но он уже пишет весной 1826 года к Жуковскому:

«Каков бы ни был мой образ мыслей политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку необходимости».

И он пишет дальше о том, что и другие наверно «образуются», что они поймут «ничтожество своих замыслов и средств» и «примирятся». Пушкин применяет замечательные, почти гегелевские по своей глубине выражения. Он говорит о либералах и радикалах своего времени, что они должны «понять необходимость и простить оной».

Именно самодержавие провозглашается здесь необходимостью, именно показанная им сила кажется Пушкину непререкаемым доказательством «разумности» этой «необходимости». Примириться с этой мощной, самодовлеющей не-

обходимостью и понять ее разумность — становится одной из задач Пушкина. На этом в свое время потерпят страшные крушения Гоголь и Достоевский, на этом споткнулся великий провозвестник нового класса Белинский, правда, во-время спохватившийся. Та же страшная задача — как-нибудь примириться с действительностью, благословить ее, а если нельзя благословить, то обогнуть, миновать, и притом так, чтобы не только не разбить своей жизни, но не разбить также и своего самоуважения — та же страшная задача, говорю я, стояла и перед Пушкиным.

Как же он разрешал ее?

Либерализм Пушкина, доходивший до довольно острых форм в его ранней молодости, быстро выцвел, потерял яркость своей окраски.

Нельзя, однако, сказать, что Пушкин совсем повернулся спиной к либерализму. Этого он не сделал не только внутренне, но и внешне. Его позднейшие убеждения можно характеризовать как либеральный консерватизм. Пушкин старается очень серьезно установить свое положительное отношение к самодержавию, господствующему положению дворянства и т.д. Мысль его часто возвращается к этим вопросам общей политики. Она несомненно робка. На ней сказываются не только его дворянские предрассудки, но и несомненный страх перед «стражами порядка», с которыми ему приходилось беспрестанно иметь дело. Однако никоим образом нельзя допускать мысли, что политические высказывания Пушкина, от которых пахнет подчас весьма густым дворянским консерватизмом, являются целиком маской. Во-первых, они встречаются в его интимных бумагах (в пись-

мах, дневниках и т. д.), а во-вторых, они в некоторой мере соответствуют далеко не бледным чертам дворянского самосознания поэта, наконец, такие люди, как Пушкин, никогда не могут носить в вопросах большой важности маски лицемерия. Они нуждаются в высоком самоуважении, и если им приходится работать над тем, чтобы «постичь действительность и простить оной», то они делают это с достаточной глубиной, хотя бы это стоило известной внутренней ломки.

Либеральные, гуманные убеждения Пушкина, которыми он дорожил и гордился (что сказано в его несомненно искреннем и напрасно подвергнутому различным кривотолкам «Памятнике»), было бы, разумеется, слишком больно сломать начисто. Не меньшей внутренней муки стоило создать некоторую амальгаму гуманного либерализма и верности престолу, поддержки дворянских традиций и привилегий.

Как только подобная точка зрения стала выясняться у Пушкина, как только параллельно ей стал заметен достаточно стремительный отход от щекотливых тем в область более или менее ясно выраженного чистого искусства, — последовали упреки со стороны различных поэтов.

Известен хорошо описанный Тыняновым в его книге «Архаисты и новаторы» очень любопытный конфликт Пушкина с Катениным.

Катенин в своем послании упрекал Пушкина горячим упреком в отступничестве, а Пушкин во внешне шутливой форме, но несомненно задетый за живое, отвел от себя «кубок», предложенный Катениным, прямо заявив, что в нем «отрава», что ему, Пушкину, отнюдь не хочется

бежать за такой «славой», которая может венчать человека мученическим венцом.

Несомненно и молодой Лермонтов, при всей сумбурности своих тогдашних незрелых убеждений, был ошеломлен общим отступлением Пушкина, и тут дело не обошлось без горестного упрека:

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец:
Златой венец — не твой венец.
Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду, как свободой!
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло, и перед злом
Ты гордым не поник челом.
Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, — и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

Вероятно, было не мало случаев, когда Пушкин в живом общении с окружающим чувствовал этот ледок. А так как он поспешил с некоторыми весьма убедительными доказательствами своего примирения с действительностью, то чуткое сознание его получало не мало царапин от неопределенности положения.

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...

писал он в ответ всем этим критикам.

Но действительно ли мысль его была свободна? В этом не только можно усомниться, но можно на этот вопрос ответить прямо отрица-

тельно. Пушкин только тщился признать у Николая какие-то положительные черты; тупость и деспотизм этого человека, от которых он так много страдал, были ему совершенно ясны.

Действительно ли верно, что Пушкин совершенно чуждался «лести»? Можно усомниться и в этом. В тех случаях, когда человек слагает хвалу лицу, обладающему огромной властью, лицу, от которого зависит судьба составителя этих похвал, слова всегда оказываются до чрезвычайности близкими к лести.

Известные черты сервиллизма, шедшие под парю камер-юнкерскому мундиру, к сожалению, несомненно имеются в облике Пушкина. Мы не должны, однако, упрекать его в этом, а скорбно и почтительно — как это следует по отношению к гению — пожалеть о том, что в великолепную инкрустацию из драгоценнейших элементов, какими богаты творчество и мудрость Пушкина, жизнь вдавила железной рукой эти вульгарные и темные узоры.

Во всяком случае, не только доминирующей, но и очень заметной роли такие к р а й н о с т и консерватизма у Пушкина не играют.

Тем не менее трагедия приспособленчества сама по себе накладывала на весь облик и творчество Пушкина очень определенные тени. Порой у Пушкина возникали сомнения: не сорвется ли всё это искусственно построенное здание, не станет ли вдруг его почти ручной либерализм в быстрой метаморфозе приобретать гораздо более буйные формы, не будет ли внутренних взрывов, хотя бы вызванных негодованием по поводу перлюстрации его интимной переписки или ужаснейшими вторжениями хо-

лодной руки Бенкендорфа или властной лапы самого деспота в интимнейшие стороны его жизни и, что еще более, его творчества?

У Пушкина давно уже установился взгляд на то, что стать революционером, подняться бунтом на правящую стихию — равносильно безумию.

Совсем не просто патологично, совсем не просто случайно волнующее стихотворение Пушкина о безумии, которое якобы откуда-то и как-то неожиданно грозит ему. Он пишет в нем:

...Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут;
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров,
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Для людей, веривших в кристальную прозрачность и уравновешенность Пушкина, это стихотворение всегда являлось каким-то камнем преткновения и казалось каким-то капризом; но совершенно прав Д. Благой, придающий ему политическое значение. Он верно сопоставляет его с той угрюмой страницей черновиков Пушкина, где его рукой нарисованы виселицы и рассеянно-задумчивым почерком написано: «И я бы мог, как шут...»

Как известно, Пушкин не так уж был увлечен декабрьскими заговорщиками, да и они сами несколько чуждались его, отчасти оттого, что берегли эту жемчужину первоклассной

величины, а отчасти потому, что боялись его «разговорчивости» или легкомыслия.

И все же это жуткое для самого Пушкина «мог бы» гласит, повидимому, не только о внешней возможности попасться вместе с другими в огромный жандармский невод последекабрьских следствий и расправ, но и о внутренней возможности неосторожно ступить слишком влево и оказаться жертвой тех мучительных переживаний, среди которых оплакивает пушкинский Шенья свою глупую решимость пойти по стезям политики.

Если современник Пушкина писал:

О, жертвы мысли безрассудной!
Вы уповали, может быть,
Что хватит вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить.
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов.
Зима железная дохнула,
И не осталось и следов...

— то ведь такого рода мучительные сомнения долго еще сопровождали русских передовых людей, гораздо более остро политически мыслящих, гораздо более общественно активных, гораздо более готовых на жертвы, чем Пушкин.

Еще у Чернышевского встретим мы часто эти печальные размышления о, быть может, совершенно ненужной жертве преждевременных революционеров. Обреченность революционера, пришедшего раньше поры, сама по себе не в состоянии была испугать (и не пугала) его более героическую, чем у Пушкина, натуру; больше утрашала его бесплодность этой обреченности.

Стихотворение «Не дай мне бог сойти с ума» написано одновременно с «Медным всадником».

Эта гениальная поэма является самым высоким достижением Пушкина на фальшивом пути признания не только физически раздавливающей силы самодержавия, но и его моральной значительности. «Медным всадником» Пушкин отвечал и высоко ценимому им Мицкевичу, поражавшему своим поэтическим громом «самодержавный кумир», и себе самому, ибо громы Мицкевича были, быть может, одними из самых сильных голосов, будивших эхо в тайниках души самого Пушкина.

Но Пушкин действительно ставит этот вопрос гениально. Он поднимается, в сущности, до гегелевской постановки вопроса, хотя он вряд ли имел о ней хоть какое-нибудь представление.

Окончательно оформляет он самодержавие как действительность. При этом самодержавие в образе Петра, наиболее активного представителя трона, рисуется как организующее начало, как начало, действующее на основе грандиозных планов, — с этой точки зрения начало глубоко общественное. Здесь строится град, вот этот самый град Петров, наиболее ярко выраженный в Санкт-Петербурге, но символизирующий собой вообще всё самодержавие.

Пушкин ссылается на то, что личное начало должно быть сметено с пути началом общественным, если первое тщится стать второму преградой.

Пушкин старается придать самодержавию (выбирая для этого Петра, да еще в фальковне-товской трактовке) черты революционные. Из некоего скучного, сырого материала, природного и человеческого, извлекаются все внутренние возможности, создается великая сила.

Начало же оппозиционное, начало антисамо-державное Пушкин всемерно старается отождествить с обывательщиной, с кругом хотя бы и горячих, но совершенно интимных чувств.

Великий конфликт двух начал, который чувствовался во всей русской действительности, Пушкин брал для себя, для собственного своего успокоения, как конфликт организующей общест-венности и индивидуалистического анар-хизма.

Помимо изумительных красот этой поэмы с точки зрения живописной и музыкальной, она остается живой и потому, что стоит только под-ставить подлинные величины под пушкинские мнимые — и вся его формула станет правильной.

Конечно, в известный момент истории про-свещенный абсолютизм царей играл отчасти положительную роль. Но она очень быстро превратилась в чисто отрицательную, задержи-вающую развитие страны. Наоборот, свободо-любивые силы, поднявшиеся уже среди дворян-ства и потом начавшие переходить, как в какой-то стремительной фуге, ко всё более широким, всё более громоносным кругам раз-ночинцев, то есть к авангарду крестьян и к пролетариату, как великому авангарду всех трудящихся, — были как раз носителями дей-ственного, организующего начала, которое и проявилось в конце концов в советской вла-сти, в социализме с его всемирно-историческим плановым хозяйством.

Советская власть борется еще с чрезвычай-ными внутренними и внешними трудностями планового хозяйства, но она действительно и полностью является всеподавляющей и глу-боко оправданной мощью.

И когда теперь те или другие «Евгении» противопоставляют вопросы своей личной судьбы интересам коммунизма, отстаивают свою «свободу» как право толкать на другие пути и дезорганизовывать генеральную линию, то они точнехонько подпадают под характеристику безумцев, стремящихся остановить, говоря по-гегелевски, «Дух Времени», который зашагал теперь так энергично, как никогда еще не шагал.

Пушкин, — желая раздавить Пушкиным примирившимся Пушкина бунтующего, — поставил их по отношению друг к другу в чрезвычайно выгодные для желательного результата позиции. Пушкин примирившийся — это-де тот, кто стоит за плановую работу общественности, за грандиозные горизонты, Пушкин бунтующий — это-де отщепенская личность, мелкотравчатый человечек.

Но, создавая эту формулу, Пушкин дал возможность, как мы уже сказали, вложить в нее новое содержание и сделать ее живой.

Он сам неправильно противопоставлял эти две позиции. Неправильно суждение, будто одну из этих позиций по праву занимало самодержавие, а другую — тогда только нарождавшаяся революция. Но правильна высокая правда общественно-прогрессивной организующей силы в ее тяжбе с какими бы то ни было частными претензиями.

Однако Пушкин шел не только этим путем в своем смирении. Пушкин в это время часто говорит о смиренности, вытекавшей из его смирённости. Он легко приходил к идее партикуляризма, к отходу в частную жизнь, подальше от политики вообще. Тут целью было не

занять приемлемую для господствующей силы политическую позицию, а миновать соприкосновение с этой силой.

Программа такого партикуляризма не лишена была, однако, у Пушкина классового духа.

Что значит для него, дворянина и поэта, уход в частную жизнь?

Пушкина волнуют вопросы частной деятельности дворянина прежде всего как помещика. Наибольшей остроты эти размышления достигают в 1830—1831 годах. Осенью 1830 года мы застаем Пушкина в Болдине. Он становится подлинным помещиком, получает в свои руки собственное значительное имение, довольно большое количество крепостных душ. Тут-то и концентрируются его мечты о противопоставлении всей сумятице политической и хозяйственной жизни страны тихого и крепкого усадебно-помещичьего уголка: вести хорошее, разумное хозяйство в известном согласии с мужиками, — но, конечно, без потворства им, без всяких народолюбивых фантазий, укрепить таким образом свое состояние, добиться материальной независимости, устроить приятный семейный круг вдали от столиц и тем самым совершенно устранить соприкосновение с диким произволом власти и позолоченной грязью большого света, а вместе с тем всё это усладить чтением и творчеством, все лучшие силы отдавая этому цветку своего сознания.

Однако эти идиллические намерения, весьма часто представлявшиеся уму и совести передовых дворян (они займут очень большое место и в жизни Толстого), наткнулись на то простое обстоятельство, что при общем крушении среднепомещичьего хозяйства сокрушилось и бол-

динское хозяйство. Под ногами у Пушкина оказалось совершенное болото, и жизнью помещика он никак не мог бы быть удовлетворен.

Стремясь к независимости, Пушкин сильнее, чем когда-нибудь, испытывает необходимость отгородиться, оттолкнуться от большого света и оправдать свое презрение к нему. Именно таково подлинное социально-психологическое содержание его знаменитых инвектив против большого света. Пушкин только старается не попасть при этом в своих собратьев, аристократию родовитую, он сильно пользуется тем, что

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.

«Кого ты называешь аристократами?»—спрашивает одно лицо у Пушкина в неоконченном отрывке. Ответ: «Тех, которые протягивают руку графине Фуфлыгиной». — «А кто такая графиня Фуфлыгина?» Ответ: «Взяточница, толстая, наглая дура...»

Вот откуда хлещущие строки: «Не торговал мой дед блинами...» и т. д.

Но как уже сказано, путь его дворянской идиллии был пресечен развалом деревни, ужасным состоянием «села Горюхина». Кроме того, и царь не пускал. В письме, написанном жене осенью 1835 года, Пушкин пишет: «Государь заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами».

Отсюда параллельно растущее желание Пушкина, хотя, может быть, и с болью сердечной, отказаться от своей деревенской базы и перенестись целиком на буржуазную.

Что это собственно означало? Это означало расчет на растущую новую публику, далеко

выходящую за границы светских кругов. Уже появилась доходная журналистика, уже экспериментировали и разного толка мещанские писатели, от Булгарина до Полевого.

Пушкин фактически живет больше доходом от своего литературного труда, чем каким-либо другим. Еще в 1823 году он пишет Вяземскому: «Должно смотреть на поэзию, с позволения сказать, как на ремесло... На оконченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару сапог: продаю с барышом».

И годом позже брату: «Я пел, как булочник печет хлеб, портной шьет... за деньги, за деньги. Таков я в наготе моего цинизма».

Он называет литературу стихистой торговлей, отрезком частной промышленности: «Правда, пишу я еще только под своенравным влиянием вдохновения, но раз что стихи написаны, я смотрю на них, как на товар».

Омраченный непоправимым развалом дворянства, Пушкин, в отличие от позднего гениального поэта того же дворянства, беззлобно констатирует рост буржуазии в стране. Напомним его знаменитый отзыв о Москве тридцатых годов:

«Но Москва, утративши свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. — С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова».

Беззлобно относится Пушкин и к буржуазным писателям, отражающим этот процесс, хотя в некоторые моменты его жизни ему и приходилось довольно остро полемизировать с ними. В 1834 году он пишет:

«Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. И несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующей. Это важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

В 1836 году Пушкин начинает издавать «Современник». Тем самым ставится большой вопрос: сумеет ли новый, пока еще неорганизованный класс, новый, в большинстве своем буржуазный круг читателей достаточно поддержать поэта, идущего к нему с дворянских бельэтажей и желающего служить оформлению его сознания?

Но каково же будет содержание пушкинского творчества, если ему удастся получить эту желанную независимость?

Тут мы имеем несколько то одновременно, то поочередно увлекающих Пушкина направлений. Сначала улыбается ему чистое искусство, моцартовское начало. В чистое искусство бегут лучшие люди безвременья, и это не должно ставиться им в вину. Плеханов правильно говорил об этом:

«В известные исторические эпохи нежелание метать бисер перед холодной и неразвитой толпой необходимо должно при-

водить умных и талантливых людей к теории искусства для искусства.

Это эпохи общественного индифферентизма и упадка гражданской нравственности. Они соответствуют той фазе общественного развития, когда данный господствующий класс готовится сойти с исторической сцены, но еще не сходит с нее потому, что не вполне созрел класс, который должен положить конец его господству».

Именно такую цель преследовал и Пушкин, когда стремился воплотить в себе поэта, отдавшегося целиком единому прекрасному:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии. Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни,
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало, избранных счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

Однако моцартовское начало было мало доступно для Пушкина, — да и к счастью. В сущности говоря, ведь и представление о Моцарте как о какой-то порхающей яркоцветной бабочке, как о менуэтном человеке — совершенно ложно. Наоборот, довольно легконое и легкокрылое до него музыкальное искусство XVIII века получает, не теряя ничего в своей грации, значительный налет меланхолии именно у Моцарта и по причинам, родственным тем, которые вводили густые тени в картины Пушкина и тяжелые басы в музыку его поэзии.

Давно уже не чувствовал на себе Пушкин дыхания общественной весны. Те, кто господствовал, были грубы и сковывали жизнь, как

мороз, а собственный класс Пушкина, и в особенности та его разновидность, к которой он принадлежал, переживал хмурую осень. Запах тления, который Пушкин чувствовал вокруг себя, сказывался на нем утомлением и грустью и некоторым, столь мало до сих пор еще замеченным, декадентским направлением его чувствований и мыслей. Конечно, это декадентское направление, это раннее умирание класса, казавшегося в своих наиболее зеленых ветвях таким юным и победоносным на заре жизни Пушкина, не стирало целиком в Пушкине его жизнерадостности — она старалась проложить себе дорогу, как мы увидим, какими-то новыми руслами. Но переход на новые пути, определенно наметившийся в конце жизни Пушкина, сочетался в эти годы с декадентскими мотивами, чутко отмеченными Благим в его книге «Социология творчества Пушкина».

И глубокое внимание к феодальным темам, столь властно господствовавшим над творчеством Пушкина в болдинской осени, и притяжение к смерти, к неясным мечтам о потустороннем, и стремление судорожно пить кубок чувственного счастья, вливая в него достаточно макаберного яда, — всё это очень характерно для Пушкина того времени. Всё это вносит исключительную глубину, необычайное разнообразие во всю симфонию общего пушкинского поэтического мира, делает таким увлекательным, роскошным, неисчерпаемым его сад, несмотря на отрицательный знак, который несут на себе эти элементы его поэзии.

Но они тем не менее гласят о холодных, мглистых, больных веяниях классового разло-

жения, которыми приходилось дышать поэту. Этим же объясняется и налет религиозности, начавшей в эту эпоху осаждаться некоторой мутью на кристально прозрачном до тех пор язычестве Пушкина.

Героический порыв уйти из объятий умирающего класса к новому классу, как ни неясен был он еще и по составу и по путям своим, сказался, разумеется, во всё возрастающем пристрастии Пушкина к реализму, прозе, к журнализму.

Тут нет, между прочим, никакого формального разрыва в смысле верности лозунгу искусства для искусства. Стоит припомнить того или другого убежденнейшего реалиста, — европейского или нашей русской литературы, — чтобы легко понять это.

Можно ли представить себе реалиста более верного действительности, более тщательно старающегося записать самые простые и даже пошлые ее черты, чем Густав Флобер?

Но вместе с тем Густав Флобер — чистейший формалист, человек, клявшийся, будто бы ничто не может интересовать его наряду с самим построением фразы, с самой словесной тканью, с самим писательским мастерством, — являл собой, как известно, тип глубочайшего романтика, относившегося с ненавистью к торжествующему злобному мещанству, к кухонно-буржуазному духу.

Ужаснувшись постепенному разворачиванию картины торжества буржуазии, совершенно равнодушный к каким бы то ни было революционным попыткам свергнуть власть пошлости, Флобер тем не менее поднимает против нее свое перо. Однако он чувствует, что публицистически

это перо бессильно, и он утешает себя сознанием того, что по крайней мере сама зарисовка «хари» этой ненавистной действительности сделана с такой виртуозной тонкостью, которая может дать и писателю и его читателю забвение житейских мерзостей и торжество в сознании преобразования действительности в чистое искусство; притом действительность эта вовсе не растворяется в какой-нибудь фантастике, она пребывает верной себе — и тем не менее, отражаясь в волшебном зеркале стиля, осмеянная пером художника, побежденная его творческим гением, перестает тревожить.

Художественный реализм в этом смысле является разрежением мук сознания перед лицом ужасной действительности. Сделав тонкую карикатуру, художник получает удовлетворение. Он этим магически отмахивается от окружающего кошмара.

Надо сказать, что приблизительно так же разрешил свой конфликт с действительностью и Чехов, тоже последовательнейший реалист и вместе с тем верный рыцарь формы, писатель, влюбленный в самое мастерство реалистического бытописания.

Что касается Пушкина, то мещанская действительность, за пределами частью ненавистного ему, а частью погибшего дворянства, привлекла его к себе, не возбуждая в нем враждебного чувства.

Правда, дворянская гордыня заставила Пушкина несколько раз презрительно отозваться о «мещанских писаках», но никакой подлинной вражды к этому новому миру у Пушкина не чувствуется. Он начинает проникать в него с огромным интресом, как исследователь. Он же-

дает нащупать, нельзя ли ему перебраться на эту новую землю, формирующуюся на его глазах?

Тут возникают новые задачи и новые формы возможности «поладить с действительностью». Всё более и более воздаёт Пушкин хвалу объективности. Ему необходимо ориентироваться в фактах. Так и по отношению к прошлому, так и по отношению к будущему. Еще работая над «Борисом Годуновым» (который является огромным шагом к реализму и для трагедии вообще и для Пушкина), он тщательно формулирует свой объективизм: «Философия без пристрастия, государственные мысли историка, отсутствие предрассудков и всякой любимой мысли — вот что нужно драматическому писателю».

Конечно, этот объективизм в 1825 году, когда был окончен «Борис Годунов», был продиктован Пушкину также и желанием высказать некоторые политические мысли в возможно более прикровенной форме, скрывши свою тенденцию за якобы полнейшей бестенденциозностью. Но позднее эта бестенденциозность становится потребностью для него именно потому, что реализм в глазах Пушкина есть дело художественно-исследовательское. Исследовать текущую вокруг действительность было целью и реалистического романа в стихах «Евгений Онегин» и всего дальнейшего реалистического творчества Пушкина. И такую же цель хотел он поставить себе как журналист. Посмотрите, с какой широтой и глубиной формулирует он ее в своей заметке о литературной критике, написанной в 1830 году:

«Иное сочинение, — говорит он, — само по себе ничтожно, но замечательно по своему

успеху или влиянию, и в этом отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных. В прошлом году напечатано несколько книг, о которых критика могла бы сказать много поучительного и любопытного. Но где же они были разобраны, пояснены?»

Надо разбирать и пояснять литературные произведения, чтобы найти за ними жизнь, найти за ними нравственное содержание.

Очевидно, что и для самого Пушкина в его литературной лаборатории принимают особое значение такие произведения, через которые раскрываются эти самые нравственные, то есть общественные, движения.

Что вышло бы из Пушкина как дальнейшего блистательного редактора «Современника», как дальнейшего работника на поприще литературного реализма, исследования новых пластов населения, — гадать трудно. Я продолжаю думать, что, проживи Пушкин более или менее толстовскую, по долговечности, жизнь, он мог бы еще перейти многие мосты, по которым другие, более молодые дворяне шли навстречу дальнейшему развитию революционных сил страны.

Но новый, буржуазный мир, сочетавший в себе и Колупаевых и Волгиных, был еще совершенно неясен да и относительно бессилён, особенно на левом своем фланге.

Аристократия прекрасно понимала отщепенство Пушкина, его стремление вырваться из ее душного круга, в котором ему было отведено до унизости скромное место.

«Невольником чести» назвал Пушкина Лермонтов в своем знаменитом стихотворении. Дей-

ствительно, д в о р я н и н а Пушкина держали на этой цепи, которую на словах с презрением отверг Лермонтов в своем известном разговоре со Столыпиным, но которую и он не мог порвать. За эту цепь дергали Пушкина поистине как «шута» в светском обществе, зубоскаля и забавляясь страданиями человека, столь широко известного, столь внутренне гордого и столь беззащитного.

Катастрофы избежать было невозможно.

Кто были те толпы, которые наполняли скромную квартиру Пушкина, где лежало тело великого человека? Кто были те толпы, которые громадной массой пришли на похоронную процессию в столицу? Конечно, это была не светская чернь. Это были не только высшие круги читательские. Это не были также и рабочие массы. Это был в конце концов уже начавший волноваться и мыслить столичный обыватель. И на искренний стон, вырвавшийся из его уст в Петербурге, стопами отвечали и Москва и провинция в тех своих частях, которые уже пробудились для более сознательной, более энергичной жизни.

А правительство устроило Пушкину другие похороны; вот те жандармски-опальные похороны в Святогорском монастыре, в которых сказался последний приступ страха и последний приступ ненависти палачей поэта к человеку, опасное величие которого они смутно сознавали.

И. И. Васильев рассказывает об этом:

«Прибывший рано утром в Святые Горы осмоленный ящик был зарыт в земле (или, точнее, в снегу, так как в это время земля была мерзлая) у одного из алтарей обители,

а уж весною он был закопан в землю. Что же в действительности заключалось в этом ящике — свидетелей никого не было, так как ямщики тоже ничего не знали и не видели; сопровождавшие два жандарма — тоже, и, может быть, единственным свидетелем погребения гроба с телом поэта был Ал. Ив. Тургенев, следовавший за телом от Петербурга до Св. Гор. Был ли кто при погребении поэта, кроме одного полицейского чиновника, сведений не имеется».

Издавая Пушкина для читателей нашего великого времени, мы не можем не задаться вопросом о том, что собственно положительного вынесет наш читатель из этого издания.

Пушкин — всеми признанный классик, «вечный спутник», по терминологии вдумчивых эстетов.

Не будем говорить о вечности. Это понятие довольно метафизическое. Мы не можем даже быть уверенными в вечности самого человеческого рода.

Таким образом, не ставя вопроса о вечности, мы, однако, твердо ставим перед собой вопрос о долговечности и утверждаем, что Пушкин является писателем в величайшей мере долговечным.

Великая революция, подобная Октябрьской (впрочем, подобной революции мир вообще не знал), ставит каждую ценность, созданную прошлым, под особое испытание. Многие из того, что продолжало бы существовать как живое, нужное и уважаемое, если бы продолжал существовать и старый мир, с этим резким, революционным переходом к совершенно новой

эпохе может оказаться вдруг лишенным всякого значения или, в лучшем случае, подлежащим передаче в музей, чтобы занять там место, говоря словами Энгельса, рядом с каменными топорами.

Этот экзамен огненного порога, отделяющего буржуазный мир от первого периода мира социалистического, Пушкин безусловно выдержал и, по нашему мнению, выдержит до конца.

Многие писатели (в том числе и на первом плане Гете) чутко и правильно указывали, что права на долговечность крепче всего у тех писателей, которые были настоящими детьми своего времени, которые угадывали его прогрессивные тенденции, умели жить его соками, хватать в качестве своего материала животрепещущие куски жизни и перерабатывать их в духе самых острых страстей, самых критических идей, каких достигало данное время.

Кто был хорошим современником своей эпохи, тот имеет наибольшие шансы оказаться современником многих эпох будущего.

На предыдущих страницах настоящей статьи мы старались показать, в каком глубочайшем значении этого слова Пушкин был передовым современником своего времени.

Но, конечно, не всякое время одинаково содержательно, не всякое несет в себе достаточно прогрессивных черт, не всякое время является подлинной ступенью вверх, хотя бы и на началах диалектической борьбы завтрашнего дня со вчерашним.

Пушкинское время, как мы старались показать на предыдущих страницах, было началом того гигантского и плодотворного сдвига всех основ старорусской жизни, который, по при-

знанию Ленина, мог быть великолепной социальной основой для такой художественной переработки, которая знаменовала собой не только шаг вперед для нашей страны, но и приобретала мировое значение.

Надо помнить при этом, что не все эпохи одинаковы в смысле представляемого ими живого интереса для позднейших веков — последующие эпохи обладают избирательной склонностью. То, что нужно для одной, является ненужным для другой. Мы имеем разительнейшие примеры всемирноисторической судьбы отдельных произведений искусства. Латинская пословица «*Habent sua fata libelli*» — «книжки тоже имеют свою судьбу» — приобретает необычайно широкое значение, когда мы станем говорить не о «судьбе книжки» (или другого какого-нибудь художественного произведения) во время жизни его автора, в смысле перемены настроений, мод и вкусов читателей определенной эпохи, а попытаемся проследить судьбу такой книжки или произведения искусства, которое оказалось поразительно долговечным: вот тогда мы почти неизбежно наткнемся то на оценки необычайно высокие, то на затмение прослеживаемого нами шедевра. Приведем несколько почти до курьеза поразительных явлений. Молодой Гете в страсбургский период своей жизни восхищался готикой, находил ее предельно прекрасной формой архитектуры. Но тот же Гете на границе старости называл готическую архитектуру варварством и безумием, противопоставляя ей, как единственно законную, архитектуру классическую. Один из наиболее острых мыслителей и эстетов своего времени, во многом опередивший свой век,

Бейль-Стендаль, посетивший Италию, выражает невероятное восхищение не только перед Рафаэлем вообще, но в частности перед игривой росписью его лоджий. Тут же Стендаль упоминает о Боттичелли, как о лизоблюде Медичисов и малодаровитом художнике, заметном только своей скучной производительностью. Пройдет несколько десятилетий, и один из самых передовых вождей европейского вкуса, тоже зачинатель целого движения, Рескин, будет говорить о Рафаэле, как о пустом схоластическом классике, ничего не говорящем нашему уму и сердцу, а о его лоджиях, как о малозначительных безделушках. Зато Боттичелли превратится у Рескина в законодателя, в пример, достойный подражания, в величайшего мастера, в своего рода великого метафизического лирика в красках. Таких примеров можно было бы привести много. Такую судьбу переживали и произведения Пушкина.

В великую эпоху 60-х годов, когда непосредственные наши предшественники, утописты-разночинцы, вели за собой новую (уже не дворянскую) колонну штурмующих старую Россию, они с некоторым сомнением относились к величайшему поэту русско-дворянской культуры.

Правда, и Чернышевский и Добролюбов любили Пушкина, не находя только в нем всей полноты гражданских мотивов, которые восхищали их в Некрасове. Но Писарев, например, с присущей ему парадоксальной резкостью заходил дальше: в его глазах Пушкин превращался в очень мало «нужного» писателя.

Прошло несколько десятков лет. Реакционная эстетствующая интеллигенция, пошедшая

на службу капиталу и отрешаясь от неудавшегося народничества с почти ренегатской стремительностью, интеллигенция, начавшая устраивать утонченнейший европееобразный внутренний и внешний быт для себя и для своих жаждущих «культуры» богатых хозяев, стремится всемерно восстановить культ Пушкина, в то же самое время расшибая вдребезги авторитет великих шестидесятников. Для Волынского, быть может, самым явным свидетельством бездарности народнических вождей является их непонимание «вечной и священной власти» пушкинских начал.

Однако о пушкинском роде классицизма можно было всегда с уверенностью сказать, что временные затмения он будет переживать, но что его никогда не удастся скомпрометировать, обвешивая его лучезарную молодость старческими амулетами и ладонками упадочного эстетизма.

Мы особенно настаиваем на, так сказать, **о б щ е с т в е н н о й** молодости Пушкина, о которой мы говорили уже на предыдущих страницах.

Напомним то, что Маркс писал по этому поводу, беря не социальную весну какого-нибудь народа, а общую весну всех европейских народов — античность. Вот что говорит Маркс в замечательном неоконченном отрывке, написанном им для включения во введение к знаменитой книге «К критике политической экономии»:

«Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании

того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недостижимого образца.

Мужчина не может снова превратиться в ребенка или он становится ребяческим. Но разве не радуется его наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность. Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних народов принадлежат к этой категории. Нормальными детьми были греки. Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные отношения, при которых оно возникло и только могло возникнуть, никогда не могут повториться снова».

Мы и утверждаем, что Пушкин явился для нашей страны (по аналогии) тем самым, чем по Марксу античное искусство является для человечества.

Огромная свежесть восприятия, огромная нетронутость всех основных задач по культурному

оформлению человеческой личности и ее окружающего, огромная потребность дать это именно в эстетической форме, которой не мешала суровая зрелость общенаучной и научно-социологической мысли и, наоборот, помогала немалая степень достигнутой к тому времени дворянами общеевропейской культурности, — вот что характеризует это юное время.

Перед самой революцией Пушкина держали в сиянии славы.

Каковы были последние слова оценки великого поэта со стороны ведущей буржуазной критики? Быть может, яснее всего это видно из той оценки, которую давал Пушкину Брюсов, бывший действительно необыкновенно ярким выразителем, даже вождем самых передовых слоев буржуазного эстетства. То обстоятельство, что Брюсов в известной степени перерастал рамки своей роли и внутренне был крупнейшей этой навязанной ему временем роли, насколько не мешает его суждениям о Пушкине быть типичными для лучшей буржуазной критики последних эпох.

До революции Брюсов, поддерживаемый целым хором, восхваляет Пушкина именно как «чистого» художника. Стараясь общественно и морально оправдать роль художников, поставивших своей целью украшать жизнь и жидлье европействующих буржуа, дать товар на рынок новой, буржуазной аристократии, Брюсов и окружающие его видели великое оправдание этой своей роли в Пушкине. Поэтому всё социальное и всё патетическое в Пушкине в значительной степени замалчивалось.

Впрочем, вторым венцом, который надел Брюсов на голову Пушкина, являлся его эклектизм.

По правде сказать, эклектизм Пушкина в сущности не эклектизм, а необычайная многогранность и широта. Но то, во что эта широта и многогранность претворились в похвалах символистов, превращало ее в эклектизм.

Брюсову было бесконечно мило видеть в Пушкине человека, так сказать, всех культур, всех музыкально-поэтических ладов, всех жанров, всех тем.

У символистов в общем было так мало своего, — того, что они могли бы действительно проповедывать, — что игра масками разных времен, слоев, настроений, концепций и т. д. становилась необходимой как замена собственного лица, а роскошь, разнообразие красок оправдывали его отсутствие.

Из этого не следует, чтобы у самого Брюсова не было лица. Этот крупнейший представитель символистов, как уже сказано, в сущности переживал немалую внутреннюю драму, которую можно в известной степени проследить и за пестротой его прекрасных и холодных масок.

После революции Брюсов, вошедший в коммунистическую партию, отнюдь не сделался, однако, сразу каким-то глашатаем пролетарских оценок. Он во многом оставался на меже. Одной ногой он переступал грань и был нашим, другой он стоял еще целиком на почве буржуазной культуры, которая, хотя и на втором плане, но тем не менее реально развертывалась и в культуре послереволюционной.

Самым крупным и значительным явлением этого, так сказать, «посмертного» развития бур-

жуазной культуры является в области художественно-эстетической и искусствоведческой формализм. Этот формализм казался Брюсову по праву доминирующим началом. Сам чувствуя, что нового содержания у него не так-то много и придавая огромное значение своему формальному мастерству, своим знаниям в этой области, — которые, как он не без основания предполагал, сделают его ценным сотрудником новой, пролетарской литературы, — Брюсов отдался целиком весьма плодотворному изучению пушкинской формы: мастер, музыкант слова почти окончательно заслонил для позднего Брюсова, как это видно из его недавно вышедшей книги «Мой Пушкин», всё увлекательнейшее социально-психологическое содержание, то есть идейно-эмоциональную сторону почти обожествляемого им поэта.

И вот теперь подошло время, когда оценку Пушкина должны сделать мы сами. Пожалуй, преждевременно говорить, что это «мы» полностью представляет собой пролетариат. Надо еще подождать немного, пока из самой гущи пролетариата выдвинутся достаточно густой фалангой переоценщики, которые скажут на многие десятилетия решающие слова суда новой эпохи над ценностями прошлого.

Мы производим пока предварительный процесс, — процесс, однако, до крайности важный. Неосторожным футуристическим попрыгунством или комчванской формой пролеткульта мы можем изранить наследство, которое сейчас в некоторой степени именно мы держим в своих руках.

Мы, нынешняя интеллигенция пролетариата, сильно замешанная выходцами из других клас-

сов, можем переусердствовать в смысле пуританизма, что было бы особенно опасно, когда дело идет о конкретных художественных предметах, и менее опасно, когда дело идет о таких воспроизводимых произведениях искусства, как литература или музыка. Тут, конечно, нужна большая осторожность, чтобы не затруднить пути пролетариата в его истинной оценке.

Конечно, есть также опасность пропустить слишком много сора, могущего лишь обременить эти пути.

Во всяком случае, предварительную оценку наследия прошлого нельзя откладывать. В порядке выполнения этой неотложной задачи нам надо произнести свое коллективное суждение и о пушкинском наследстве.

Как марксисты, и марксистки, находящиеся, в сущности говоря, в области культуроведения еще на первых ступенях работы, мы чрезвычайно заинтересованы в постепенном выяснении, во всей их конкретности, тех методов исследования культуры прошлых веков, которыми мы должны пользоваться.

Пушкин являет собою столь огромный пример культурного явления и, благодаря довольно сильно развернувшемуся пушкиноведению и знанию нашему той эпохи, пример относительно столь изученный, что именно на нем можно проверять наши методы и учиться их уточнению. Здесь мы можем доказывать тончайшую зависимость идей и чувств, выражаемых поэтом, его образов, его словесного стиля, его музыки и т. д., вплоть до деталей, — от той общественной базы, которая воздействует на него через его класс и, более спе-

цифически, — через ту группу классов, к которой он принадлежит.

Здесь мы можем проследить, как развитие основных экономических фундаментальных явлений и промежуточных политических и культурных изменений отражается в такой надстройке, как художественная литература.

Здесь мы должны показать, в состоянии ли марксистский метод доходить до анализа конкретных явлений социально-биографического, творчески-биографического характера.

Подчас приходится встречаться с исследователями, которые полагают, что до конкретных явлений биографии, в смысле точных и основных жизненных переживаний и творческих выражений этих переживаний у данного лица, мы нашими марксистскими методами не можем добраться, — или, может быть, они считают, что только общие, массовые явления могут нас интересовать, а выражение их в отдельной индивидуальности является второстепенным даже в такой области, как искусство. Между тем гений часто перевешивает сотни даровитых современников по самой своей социальной значимости — и как выразитель тенденций своего класса и как воздействующая на дальнейший ход событий сила.

Еще Белинский писал: «Чем выше поэт, тем больше принадлежит он обществу, среди которого он родился, тем теснее связано его развитие, направление и даже характер его таланта с историческим развитием общества» («Стихотворения Лермонтова», 1841 г.).

На примере Пушкина можно показать также всю необходимость избегать анекдотического, мелочного, случайного или могущего быть истол-

кованным как какой-нибудь индивидуально психологический курьез, легко ведущий нас либо к совершенно несоразмерной оценке фактора физиологического (роль которого, как мы выше говорили, очень скромна), либо даже, через ворота индивидуального сознания, в недра мистического «духа», проявлением которого является-де каждое «внутреннее» переживание гения.

Мы не задаемся целью перечислить здесь все вопросы нашей методологии, которые могут быть проверены на столь великом историческом примере, притом столь тщательно изученном во всей своей обстановке. Но нас может интересовать, как марксистов, и конкретно-историческая задача. Здесь тоже очень многого можно достигнуть путем изучения творчества Пушкина. Он явится перед нами как великий свидетель о своей эпохе. Он откроет нам окно, через которое мы можем очень глубоко заглянуть в эту эпоху, понимание которой необходимо для органического понимания всего исторического процесса и, в частности, нашего времени. То обстоятельство, что литература никогда не является отражением окружающей действительности (в смысле зеркала), а всегда является ее функцией (в смысле проникнутого классовыми тенденциями ее выражения), ничего не меняет в нашем утверждении.

Но помимо огромного значения Пушкина, связанного с его временем, имеет ли Пушкин еще значение, будучи как бы отделен от этого времени и сделан нашим современником?

Мы полагаем, что в этом отношении Пушкин несет с собой громадное благо для предстоящего нам строительства новой жизни.

Не может не подкупать нас основная жизнерадостность Пушкина. Мы уже говорили, чем она объясняется. Ощущение возможности развития окружающей жизни, вплоть до последнего признания интересности и прогрессивности начинающей крепнуть буржуазии, сопровождало Пушкина в течение почти всей его жизни, несмотря на все удары, укоры, разочарования и скорби. Эта жизнерадостность была основной органической силой в Пушкине, и, собственно говоря, все его переживания так же, как и все их трагические отражения, представляли собой перманентную борьбу этой жизнерадостности с внешними ее нарушениями.

Как бы другой стороной этого психологического процесса было стремление Пушкина к образованию — его *Bildungsgeist*. Лучшие люди его времени все были проникнуты этим стремлением к жизнестроению как в смысле построения своей личности (некоторое «прекраснодушие» в самом общем смысле этого слова), так и в смысле построения «просвещенной жизни» вокруг себя.

Пушкин был заражен этим инстинктивным стремлением к цельности больше, чем кто-либо другой. Но для этого нужно было проделать гигантскую работу по освоению как явлений окружающей среды (общественной и природы), так и явлений собственной своей внутренней жизни.

Пушкин не искал ни философских, ни научных формулировок для такого освоения: согласно задаче своего времени, эпохи юности, переживавшейся его общественной группой, а вместе с ней и всем народом русского языка, Пушкин искал в особенности эстетические фор-

мулы для художественного выражения, а тем самым и художественного усвоения мира. Здесь нужно было дать и положительные и отрицательные оценки, произвести свой эстетический суд над многим, впервые назвать вещи и приблизить их к человеку. И всё это хотелось сделать в чрезвычайной широте, какую диктовал передовой гуманизм просыпающегося к жизни господствующего класса, увы, по самому своему положению органически не могшего построить до конца этого «человека».

Тем не менее, положение «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо» было как бы естественным девизом Пушкина в его жизни и творчестве.

Творчество Пушкина есть процесс поисков равновесия в высших формах исканий. Задача сводится всегда к активному превращению переживаний в художественное произведение. Мы имеем перед собой постоянный процесс сублимации, то есть поднятия личного до общественного через художественное оформление. Ведь художественное оформление и есть в конце концов именно такая обработка известного жизненного материала, которая делает его доступным и особенно поразительным для «общества». Под словом «общество» здесь, конечно, сознательно или бессознательно сам поэт разумеет читателей своего собственного круга, а иногда и воспитательное воздействие на классы, подчиненные или социально нужные тому классу, интересы которого данный писатель выражает.

При этом надо сказать, как это уже отчасти видно из первых глав настоящей статьи, что личные переживания Пушкина были крепчай-

шим образом связаны с социальными переживаниями его группы, а с ней всего хозяйственно-политического и культурного уклада страны.

Пушкин был великим мастером этих сублимаций как в области лирики, так и в области эпоса. С общественной точки зрения задача лирика заключается в том, чтобы остаться до конца личным, говорить о себе и о своих переживаниях как собственных и в то же время сделать эти переживания общественно значимыми. Лирик, переживания которого не имеют никакой общественной значимости, вообще сбрасывается со счетов литературы. Лирик, который явным образом не вкладывает никакой собственной горячности в свою лирику, рискует оказаться безжизненным и потерять как раз ту силу, которая присуща именно лирике.

Пушкин в замечательном равновесии обладал способностью личной страстью озарять свои лирические произведения, — всякие попытки, на основании отдельных его выражений, утверждать, будто бы его лирика вовсе не искренна, а только декоративна (старания формалистов), лишены всякой убедительности. Но Пушкин обладал также и способностью превращать свою кровь в рубины и свои слезы в жемчуга, то есть работать над своими часто очень мучительными переживаниями с выдержанностью и методичностью художника-ювелира.

С другой стороны, эпос (отчасти и драма) требуют по крайней мере внешнего объективизма. События здесь должны говорить сами за себя, автор не должен «вмешиваться».

Однако законченный в таком роде эпос отчуждает читателя своими ледяными гранями,

в то время как эпос, распущенный во внутреннем лиризме, теряет контуры.

Эпос Пушкина подчас (например, в «Онегине») с необычайным искусством включает в себя непосредственные речи автора и непосредственные всплески лиризма, но вместе с тем палицо и великое пристрастие Пушкина к объективности. Мы уже говорили об этом в других местах. Оно происходит от уверенности Пушкина в том, что убедительность произведения выигрывает, когда читателю кажется, что действительность здесь равна себе и что никто и никак, ни в какой степени не прикрасил или не подтасовал ее ликов и голосов.

Этой способности Пушкина родственна и другая. Его поэзия эмоциональна и богата мыслями; но и эмоции и мысли почти всегда заключены в пленяющий своей конкретностью и пластичностью образ.

Наконец, Пушкин довел до высшего совершенства свое основное орудие — слово, слово как средство изображения, и слово как элемент музыкальный, причем образительность и музыкальность приводились Пушкиным к единству, какого редко достигало искусство человека на земле.

Нам известны не только в литературе, но и в других искусствах явления кульминации в определенную эпоху. Им предшествуют явно подготовительные процессы, когда чувствуется тенденция к какому-то соединению свободы и закономерности. То преобладает связанность, то разнузданность, то раннее мастерство сковывает жизнь, то жизнь рассыпается за неумением этого раннего мастерства подчинить ее себе.

Если мы имеем перед собой более или менее органическую эпоху, то есть некоторое единство культурной преемственности, то мы будем видеть более или менее быстрое приближение к кульминации, когда создается своего рода классический канон (как, например, для музыки в конце XVIII, начале XIX века), объединяющий в себе с особенной грацией определенность правил и возможность свободного движения в них. Наступает относительное равновесие. Внутри этих рамок идет дальше развитие содержания, пока не изменятся в корне окружающие культурные условия.

Но чем дальше от кульминационного пункта, тем более устаревают, приедаются канонические формы. Если к этому присоединяется (а это всегда так бывает) и обновление и усложнение содержания жизни, ищущей себе отражения в искусстве, то начинается борьба с канонами, их ломка, появляется вновь чувство напряжения, и вновь мы входим в период смятения, который может обозначать собой смерть данной культуры или, наоборот, подготовительный период к новой, иной кульминации.

Это — естественный закон развития художественной формы.

Нельзя, конечно, игнорировать, что всякому «организму», в том числе и классу и его культуре, присуще при прочих равных условиях развитие, то есть усовершенствование. Зависимость от экономических судеб данного класса ломает, искажает, видоизменяет это развитие, определяя в то же время всё его социальное содержание и все изменения этого содержания. Но всё же, в целом, мы будем иметь картину развития.

Так и в отношении литературы. Время Пушкина и творчество самого Пушкина было классическим и каноническим в отношении языка. Нет никакого сомнения, что в дальнейшем и наша поэзия и в особенности наша проза вышли за пушкинские рамки. Но они тем самым перестали быть такими законченными, какими были в момент своей кульминации.

Нет также никакого сомнения, что мы в нашем творчестве непременно пройдем через довольно длительную эпоху исканий, сдвигов, через подготовительное время, отличающееся теми чертами, которые мы характеризовали выше, и что за ними последует небывалая по своей высоте кульминация социалистической культуры. С высоты этой новой кульминации, быть может, дворянско-пушкинская вершина будет казаться лишь ступенью, лишь предгорьем. Но до тех пор, пока это случится, мы будем смотреть на достигнутое Пушкиным словесное мастерство если не как на образец, потому что этот образец полностью уже не годен для более «взрослой» жизни (согласно смыслу приведенного выше суждения Маркса об античном искусстве), то как на нечто чрезвычайно высокое в смысле необыкновенных пропорций, необыкновенной соразмерности этого лежащего за нами лучезарного, отрочески-юношеского языкового и стилевого равновесия.

Пушкин навек вошел в культуру человечества, и социалистическое освобождение человечества отнюдь не нанесет ему удара. Вспомните, что говорил Ленин о Толстом:

«Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сде-

лать его великие произведения действительным достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот.

Толстой дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов».

Эти слова Ленина еще больше относятся к Пушкину, чем к Толстому.

Вот уже воздвигаются новые города и новые деревни строяемого нами нашего быта. Мы будем строить вечное окружение, мы будем строить свой внутренний мир.

О, конечно, этот внутренний мир не будет индивидуалистическим, не будет внутренне замкнутым миром. Он будет гармонизирован с «внутренним миром» других людей. Те препоны между людьми, которые заставляли в ужасе кричать об одиночестве (Мопассана, например) и говорить о том, что «чужая душа потемки», — падают. Но тем не менее каждая личность будет личностью, и на этом Маркс умел настаивать с большой энергией. Не уничтожение личности и не стадность несет с собой социализм, а необыкновенно богатое сочетание личных моментов в общественной связи.

Так вот мы будем строить наш внутренний мир, и у нас он будет ничуть не глуше, не бледней, не монотонней, чем у каких бы то ни было бар прошлых эпох. Наоборот, он будет

несравненно и шире и ярче в свое время, когда у нас будет достаточно возможности позаботиться о всемерном его украшении. К этому, однако, мы не можем не идти уже сейчас. Мы уже занесли ногу и уже готовимся перешагнуть порог, отделяющий нищету и разорение первых боевых годов завоевавшего себе великую страну социализма от первых даров социалистического богатства. Мы довольно реально «мечтаем» о том времени, когда каждый средний человек окажется более богатым в смысле умения переживать мир и творить, чем люди прошлого. Но пока нам нужны помощники, нам нужны уроки, и нашим учителем в строительстве внутреннего мира, учителем пролетариев и крестьян может и должен стать между другими Пушкин. Мертвое, дворянское от него отметется, сделается предметом исторического исследования, но живое процветет. Каждое зерно, имеющееся в пушкинской сокровищнице, даст социалистическую розу или социалистическую гроздь винограда в жизни каждого гражданина.

Люди времен Пушкина, Белинский прежде всего, оценивали его так:

«Чрезмерное влияние Пушкина происходило оттого, что в отношении к России он был сыном своего времени в полном смысле этого слова, что он шел наравне со своим отечеством, был представителем развития его умственной жизни».

Мы теперь чувствуем, что, выражая «развитие» своего времени, он оказался ценным и

для нас, через сто лет и после грандиознейшей мировой революции.

Года три-четыре назад я гулял по парку в Остафьеве — бывшем имении Вяземских, где Пушкин часто бывал. Превосходный старый парк Вяземских украшен рядом памятников — Жуковскому, Карамзину, самому Вяземскому. Среди этих памятников есть небольшой памятник Пушкину, сделанный тем же скульптором, которому принадлежит монумент на Тверском бульваре.

В порядке экскурсии парк посетила небольшая группа комсомольцев: три-четыре парня, три-четыре девушки. Они с интересом ходили по музею, в который превращено жилище Вяземских, по парку и остановились перед памятником Пушкину.

Один из них наклонился (надпись стала несколько неразборчивой) и прочитал:

«Здравствуй, племя младое, незнакомое».

Я стоял совсем неподалеку и был поражен необыкновенной уместностью, которую в этой обстановке приобрела надпись. Повидимому, поражены были и комсомольцы. Они как-то затихли и переглянулись между собой. Прямо к ним обратился великий голос из-за гроба. Маленькая комсомолка в красном платочке подняла к Пушкину глаза, полные некоторой робости, удивления, но и дружелюбия, и негромко сказала:

«Здравствуй, Пушкин».

А. Луначарский

1930 г.

1813 ---1825

СТИХОТВОРЕНИЯ





1813

ПОСЛАНИЕ К НАТАЛЬЕ

Pourquoi craindrais-je de le dire?
C'est Margot qui fixe mon goût.¹

Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное забилося;
Признаюсь, и я влюблен.
Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гулянья иль в воксалах
Легким зефиром летал;
Как, смеясь во зло Амуру,
Я писал карикатуру
На любезный женский пол.
Но напрасно я смеялся,
Наконец и сам попался,
Сам, увы, с ума сошел.

¹ Почему мне бояться сказать это?
Марго пленила мой вкус.

Смехи, вольность — всё под лавку,
Из Катонов я в отставку,
И теперь я — Целадон.
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце — Купидон!

Так, Наталья, признаюсь,
Я тобою полонен,
В первый раз еще (стыжуся)
В женски прелести влюблен.
Целый день, как ни верчуся.
Лишь тобою занят я;
Ночь придет, и лишь тебя
Вижу я в пустом мечтаньи,
Вижу — в легком одеяньи
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной,
И полуотверсты очи...
Скромный мрак безмолвной ночи..
Дух в восторг приводят мой —
Я один в беседке с нею...
Вижу... девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею... —
И проснулся... вижу мрак
Вкруг постели; одинокий
Ипускаю вздох глубокий!
Сон ленивый, томноокий
Отлетает на крылах.
Страсть сильнее становится,
А любовью утомясь,
Я слабею всякий час.
Всё к чему-то ум стремится...
А к чему? — никто из нас

Дамам вслух того не скажет,
А уж так и сяк размажет —
Я — по-свойски объяснюсь.

Все любовники желают
И того, чего не знают;
Это свойство их — дивлюсь.
Завернувшись балахоном,
С хватской шапкой набекрень
Я желал бы Филимоном
Под вечер, как всюду тень,
Взяв Анюты нежну руку,
Изъяснять любовну муку,
Говорить: она моя.
Я желал бы, чтоб Назорой
Ты старалася меня
Удержать умильным взором.
Иль седым Опекуном
Легкой, миленькой Розины,
Старым пасынком судьбины,
В епанче и с париком,
Дерзкой пламенной рукою
Белоснежну, полную грудь...
Я желал... да ведь ногою
Моря не перешагнуть,
И, хоть по уши влюбленный,
Но с тобою разлученный,
Всею надежды я лишен.

Но, Наталья, ты не знаешь,
Кто твой нежный Целадон?
Ты еще не понимаешь,
Отчего не смеет он
И надеяться? Наталья,
Выслушай еще меня!

Ни владетель я сераля,
Ни араб, ни турок я.
За учтвого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя.
Не представь и немчурою,
С колпаком на волосах,
С кружкой, пивом налитю,
И с цыгаркою в зубах.
Не представь кавалергарда,
В каске, с длинным палашом;
Не люблю я бранный гром;
Шпага, сабля, галебарда
Не тягчат моей руки
За Адамовы грехи.

«Да кто ж ты, болтун влюбленный?»
Взглянь на стены возвышенны,
Где безмолвья вечный мрак;
Взглянь на окна загражденны,
На лампы там зажженны;
Знай, Наталья — я... монах!

МОНАХ

П е с н ь п е р в а я

СВЯТОЙ МОНАХ, ГРЕХОПАДЕНИЕ, ЮБКА

Хочу воспеть, как дух нечистый ада
Оседлан был брадатым стариком;
Как овладел он черным клобуком,
Как он втолкнул монаха грешных в стадо.

Певец любви, фернейский старичок,
К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь.

Куда, скажи, девался твой смычок,
Которым я в Жан д'Арке восхищаюсь,
Где кисть твоя, скажи, ужели ввек
Их ни один не найдет человек?
Вольтер! Султан французского Парнаса,
Я не хочу седлать коня Пегаса,
Я не хочу из муз наделать дам,
Но дай лишь мне твою золотую лиру,
Я буду с ней всему известен миру.
Ты хмуришься и говоришь: не дам.
А ты, поэт, проклятый Аполлоном,
Испачкавший простенки кабаков,
Под Геликон упавший в грязь с Вильоном,
Не можешь ли ты мне помочь, Барков?
С усмешкою даешь ты мне скрипицу,
Сулишь вино, и музу пол-девицу:
«Последуй лишь примеру моему».
Нет, нет, Барков! скрипицы не возьму,
Я стану петь, что в голову придется,
Пусть как-нибудь стих за стихом польется.

Невдалеке от тех прекрасных мест,
Где дерзостный восстал Иван-великий,
На голове золотой носящий крест,
В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой,
Был монастырь; в глухих его стенах
Под старость лет один седой монах
Святым житьем, молитвами спасался
И дней к концу спокойно приближался.
Наш труженик не слишком был богат,
За пышность он не мог попасться в ад;
Имел кота, имел псалтырь и чотки,
Клубук, стихарь да штоф зеленой водки.
Взошедши в дом, где мирно жил монах,
Не золота увидели б вы горы,
Не мрамор там прельстил бы ваши взоры,

Там не висел Рафаэль на стенах,
Увидели б вы стул об трех ногах
Да в уголку скамейку в пол-аршина,
На коей спал и завтракал монах.
Там пуховик над лавкой не вздувался.
Хотя монах, он в пухе не валялся
Меж двух простынь на мягких тюфяках.
Весь круглый год святой отец постился,
Весь божий день он в келье провождал,
«Помилуй мя» вполголоса читал,
Ел плотно, спал и всякий час молился.
А ты, монах, мятежный езуит!
Красней теперь, коль ты краснеть умеешь,
Коль совести хоть капельку имеешь;
Красней и ты, богатый кармелит,
И ты стыдись, Печерской лавры житель,
Сердец и душ смиренный повелитель...
Но, лира, стой! — Далеко занесло
Уже меня противу рясок рвенье;
Бесить попов не наше ремесло.

Панкратий жил счастлив в уединенье,
Надеялся увидеть вскоре рай,
Но ни один земли безвестный край
Защитить нас от дьявола не может,
И в тех местах, где черный сатана
Под стражею от злости когти гложет,
Узнали вдруг, что разгорожена
К монастырям свободная дорога.
И вдруг толпой все черти поднялись,
По воздуху на крыльях понеслись —
Иной в Париж к плешивым картезианцам
С копейками, с червонцами полез,
Тот в Ватикан к брюхатым итальянцам
Бургонского и макарони нес.
Тот девкою с прелатом повалился,

Тот молодцом к монашенкам пустился.
И слышал я, что будто старый поп,
Одной ногой уже вступивший в гроб,
Двух молодых венчал перед налоем.
Чорт прибежал амуров с целым роем,
И вдруг дьячок на крылосе всхрапел,
Поп замолчал — на девицу глядел,
А девица на дьякона глядела.
У жениха кровь сильно закипела,
А бес всех их к себе же в ад повел.

Уж темна ночь на небеса всходила,
Уж в городах утих вседневный шум,
Луна в окно монаха осветила.
В молитвенник весь устремивши ум,
Панкратий наш Николы пред иконой
Со вздохами земные клал поклоны,
Пришел Молок (так дьявола зовут),
Панкратия под черной ряской скрылся.
Святой монах молился уж, молился,
Вздыхал, вздыхал, а дьявол тут как тут.
Бьет час, Молок не хочет отцепиться,
Бьет два, бьет три — нечистый всё сидит.
«Уж будешь мой», — он сам с собой ворчит.
А наш старик уж перестал креститься,
На лавку сел, потер глаза, зевнул,
С молитвою три раза протянулся,
Зевнул опять, и... чуть-чуть не заснул.
Однако ж нет! Панкратий вдруг проснулся,
И снова бес монаха соблазнять,
Чтоб усыпить, Боброва стал читать.
Монах скучал, монах тому дивился, —
Век не зевал, как богу он молился.
Но — нет уж сил, кресты, псалтырь, слова,
Всё позабыл; седая голова,
Как яблоко, по груди покатилась,

Со лбу рука в колени опустилась,
Молитвенник упал из рук под стол,
Святой вздремал, всхрапел, как старый вол.

Несчастный! спи... Панкратий вдруг проснулся,
Взад и вперед со страхом оглянулся,
Перекрестясь с постели он встает,
Глядит вокруг — светильня нагорела;
Чуть слабый свет вокруг себя лиет;
Что-то в углу как будто забелело.
Монах идет — что ж? юбку видит он.

«Что вижу я!.. иль это только сон? —
Вскричал монах, остолбенев, бледнея. —
Как! это что!..» и, продолжать не смея,
Как вкопанный, пред белой юбкой стал,
Молчал, краснел, смущался. трепетал.

Огню любви единственна преграда,
Любовника сладчайшая награда,
И прелестей единственный покров,
О юбка! речь к тебе я обращаю,
Строки сии тебе я посвящаю,
Одушеви перо мое, любовь!

Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, вясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.

Иль, как Филон, за Хлоей побежав,
Прижать ее в объятия стремится,
Зеленый куст тебя вдруг удержав...

Она должна, стыдясь, остановиться.
Но поздно всё, Филон, ее догнав,
С ней на траву душистую валится.
И пламенна, дрожащая рука
Счастливого любовью пастуха
Тебя за край тихонько поднимает...
Она ему взор томный осклабляет,
И он... но нет; не смею продолжать.
Я трепещу, и сердце сильно бьется,
И может быть, читатели, как знать?
И ваша кровь с стремленьем страсти льется.
Но наш монах о юбке рассуждал
Не так, как я (я молод, не пострижен
И счастьем нимало не обижен).
Он не был рад, что юбку увидал,
И в тот же час смекнул и догадался,
Что в когти он нечистого попался.

Песнь вторая

ГОРЬКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ, СОН, СПАСИТЕЛЬ- НАЯ МЫСЛЬ

Покамест ночь еще не удалилась,
Покамест свет лила еще луна,
То юбка всё еще была видна.
Как скоро ж твердь зарею осветилась,
От взоров вдруг сокрылася она.

А наш монах, увы, лишен покоя.
Уж он не спит, не гладит он кота,
Не помнит он церковного наоя,
Со всех сторон Панкратию беда.
«Как, — мыслит он, — когда и собачонки
В монастыре и духа нет моем,
Когда здесь ввек не видывал юбчонки,
Кто мог ее принести ко мне же в дом?»

Уж мнится мне... прости, владыко, в том!
Уж нет ли здесь... страшусь сказать... девчонки».
Монах краснел и делать что не знал.
Во всех углах, под лавками искал.
Всё тщетно, нет, ни с чем старик остался.
Зато весь день, как бледна тень, таскался,
Не ел, не пил, покойно и не спал.

Проходит день, и вечер наступая
Зажег везде лампы и свечи.
Уже монах, с главы клубок снимая,
Ложился спать.— Но только что лучи
Луна с небес в окно его пустила
И юбку вдруг на лавке осветила,
Зажмурился встревоженный монах
И, чтоб не впасть кой-как во искушенье,
Хотел уже навек лишиться зренья,
Лишь только бы на юбку не смотреть.
Старик кряхтя на бок перевернулся
И в простыню тепленько завернулся,
Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть.

Тотчас Молок вдруг в муху превратился
И полетел жужжать вокруг него.
Летал, летал, по комнате кружился
И на нос сел монаха моего.
Панкратья вновь он соблазнять пустился.
Монах храпит и чудный видит сон.

Казалось ему, что средь долины,
Между цветов, стоит под миртом он,
Вокруг него сатиров, фавнов сонм.
Иной смеясь льет в кубок пенны вины;
Зеленый плющ на черных волосах,
И виноград на голове висящий,
И легкий фирз, у ног его лежащий,—

Всё говорит, что вечно юный Вакх,
Веселья бог, сатира покровитель
Другой, надув пастушечью свирель,
Поет любовь, и сердца повелитель
Одушевлял его веселу трель.
Под липами там пляшут хороводом
Толпы детей и юношей, и дев.
А далее, ветвей под темным сводом,
В густой тени развесистых дерев,
На ложе роз, любовью распаленны,
Чуть-чуть дыша, весельем истощенны,
Средь радостей и сладостных прохлад
Обнявшись любовники лежат.

Монах на всё взирал смятенным оком.
То на стакан он взоры обращал,
То на девиц глядел чернец со вздохом,
Плешивый лоб с досадою чесал,
Стоя, как пень, и рот в сажень разинув.
И вдруг, в душе почувствовав кураж
И набекрень взъярясь клобук надвинув,
В зеленый лес, как белоусый паж,
Как легкий конь, за девкою погнался.

Быстрее орла, быстрее звука лир
Прелестница летела, как зефир.
Но наш монах Эол пред ней казался,
Без отдыха за новой Дафной гнался.
«Не дам, — ворчал, — я промаха в кольцо».
Но леший вдруг, мелькнув из-за кусточка,
Панкратья хватъ юбчонкою в лицо.
И вдруг исчез приятный вид лесочка.
Ручья, холмов и нимф не видит он;
Уж фавнов нет, вспорхнул и Купидон,
И нет следа красоточки прелестной.
Монах один в степи глухой, безвестной,

Нахмуря взор; темнеет небосклон;
Вдруг грянул гром, монаха поражает —
Панкратий: «Ах!..» — и вдруг проснулся он.

Смущенный взор он всюду обращает:
На небесах, как яхонты, горя,
Уже восток румянила заря.
И юбки нет. — Панкратий встал, умылся
И, помолясь, он плакать сильно стал,
Сел под окно и горько горевал.
«Ах! — думал он, — почто ты прогневился?
Чем виноват, владыко, пред тобой?
Как грешником, вертит нечистый мной.
Хочу не спать, хочу тебе молиться,
Возьму псалтырь, а тут и юбку вдруг.
Хочу вздремать и ночью сном забыться,
Что ж снится мне? смущается мой дух.
Услышь мое усердное моление,
Не дай мне впасть, господь, во искушенья!»
Услышал бог молитвы старика,
И ум его в минуту просветился.
Из бедного седого простяка
Панкратий вдруг в Невтоны претворился.
Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул
И в радости свой опрокинул стул.
И, как мудрец, кем Сиракуз спасался,
По улице бежавший бос и гол,
Открытием своим он восхищался
И громко всем кричал: «Нашел! нашел!»
«Ну! — думал он, — от бесов и юбочки
Избавлюсь я — и милые девчонки
Уже меня во сне не соблазнят.
Я заживу опять монах монахом,
Я стану ждать последний час со страхом
И с верою, и всё пойдет на лад».
Так мыслил он — и очень ошибался.

Могущий рок, вселенной господин,
Панкратием, как куклой, забавлялся.

Монах водой наполнил свой кувшин,
Забормотал над ним слова молитвы
И был готов на грозны ада битвы.
Ждет юбки он — с своей же стороны
Нечистый дух весь день был на работе
И весь в жару, в грязи, в пыли и поте
Предупредить спешил восход луны.

П е с н ь т р е т ь я ПОЙМАННЫЙ БЕС

Ах, отчего мне дивная природа
Корреджио искусства не дала?
Тогда б в число парнасского народа
Лихая страсть меня не занесла.
Чернилами я не марал бы пальцы,
Не засорял бумагою чердак,
И за бюро, как девица за пядьцы,
Стихи писать не сел бы я никак.
Я кисти б взял бестрепетной рукою
И, выпив вмиг шампанского стакан,
Трудиться б стал я жаркой головою,
Как Цициан иль пламенный Альбан.
Представил бы все прелести Натальи,
На полную грудь спустил бы прядь волос,
Вкруг головы венок душистых роз,
Вкруг милых ног одежду резвой Тальи,
Стан обхватил Киприды б пояс злат.
И кистью б был счастливей я стократ!

Иль краски б взял Вернета иль Пуссина:
Волной реки струилась бы холстина;
На небосклон палящих, южных стран
Возведши ночь с задумчивой луною,
Представил бы над серою скалою,

Вкруг коей бьет шумящий океан,
Высокие, покрыты мохом стены;
И там в волнах, где дышит ветерок,
На серебре, вкруг скал блестящей пены,
Зефирами колеблемый челнок.
Нарисовал бы в нем я Кантемиру,
Ее красы... И рад бы бросить лиру,
От чистых муз навеки удалясь.
Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плетсть пустился.
М<артынов> пусть пленяет кистью нас,
А я — я вновь взмогнул на Парнас.
Исполнившись иройскою отвагой,
Опять беру чернильницу с бумагой
И стану вновь я песни продолжать.

Что делает теперь седой Панкратий?
Что делает и враг его косматый?
Уж перестал Феб землю освещать;
Со всех сторон уж тени налетают;
Туман сокрыл вид рощиц и лесов;
Уж кое-где и звездочки блистают.
Уж и луна мелькнула сквозь лесов...
Ни жив, ни мертв сидит под образами
Чернец, молясь обеими руками.
И вдруг бела, как вновь напавший снег
Москвы-реки на каменистый брег,
Как легка тень, в глазах явилась юбка...
Монах встает, как пламень покраснев,
Как модинки прелестной ала губка,
Схватил кувшин, весь гневом возгорев,
И всей водой он юбку обливает.
О чудо!.. вмиг сей призрак исчезает —
И вот пред ним с рогами и с хвостом,
Как серый волк, щетиной весь покрытый,
Как добрый конь с подкованным копытом,

Предстал Молок, дрожащий под столом,
С главы до ног облитый весь водою,
Закрыв себя подолом епанчи,
Вращал глаза, как фонари в ночи.
«Ура! — вскричал монах с усмешкой злою, —
Поймал тебя, подземный чародей.
Ты мой теперь, не вырвешься, злодей.
Все шалости заплатишь головою.
Иди в бутылъ, закупорю тебя,
Сейчас ее в колодезь брошу я.
Ага, Мамон! дрожишь передо мною». —
«Ты победил, почтенный старичок, —
Так отвечал смиренхонько Молок. —
Ты победил, но будь великодушен,
В гнилой воде меня не потоши.
Я буду ввек за то тебе послушен,
Спокойно ешь, спокойно ночью спи,
Уж соблазнять тебя никак не стану». —
«Всё так, всё так, да полезай в бутылъ,
Уж от тебя, мой друг, я не отстану,
Ведь плутни все твои я не забыл». —
«Прости меня, доволен будешь мною,
Богатства все польют к тебе рекою,
Как Банкова, я в знать тебя пущу,
Достану дом, куплю тебе кареты,
Придут к тебе в переднюю поэты;
Всех кланяться заставлю богачу.
Сниму клубук, по моде причешу.
Всё променяв на длинный фрак с штанами,
Поскачешь ты гордиться жеребцами,
Народ, смеясь, колесами давить
И аглинской каретой всех дивить.
Поедешь ты потеть у Шиловского,
За ужином дремать у Горчакова,
К Нарышкиной подправлять жилет.
Потом всю знать (с министрами, с князьями

Ведь будешь жить, как с кровными друзьями)
Ты позовешь на пышный свой обед». —
«Не соблазнишь! тебя я не оставлю,
Без дальних слов сейчас в бутылку иди». —
«Постой, постой, голубчик, погоди!
Я жен тебе и красных дев доставлю». —
«Проклятый бес! как? и в моих руках
Осмелился ты думать о женах!
Смотри какой! но нет, работник ада, —
Ты не прельстишь Панкратья суетой.
За всё, про всё готова уж награда,
Раскаешься, служитель беса злой!» —
«Минуту дай с тобою изъясниться,
Оставь меня, не будь врагом моим.
Поступок сей наверно наградится.
А я тебя свезу в Иерусалим».
При сих словах монах себя не вспомнил.
«В Иерусалим!» — дивясь он бесу молвил.
«В Иерусалим! — да, да, свезу тебя». —
«Ну, если так, тебя избавлю я».

Старик, старик, не слушай ты Молока,
Оставь его, оставь Иерусалим.
Лишь ищет бес поддеть святого с бока,
Не связывай ты тесной дружбы с ним.
Но ты меня не слушаешь, Панкратий.
Берешь седло, берешь чепрак, узду,
Уж под тобой бодрится чорт проклятый,
Готовится на адскую езду.
Лети, старик, сев на плеча Молока,
Толкай его и в зад и под бока,
Лети, спешి в священный град Востока.
Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка!



1814

К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей,
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!

Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь ручки, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Довольно без тебя поэтов есть и будет;
Их напечатают — и целый свет забудет.
Быть может, и теперь, от шума удалясь
И с глупой музою навек соединишь,
Под сенью мирною Минервиной эгиды *
Сокрыт другой отец второй «Телемахиды».
Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!
Потомков поздних дань поэтам справедлива:
На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.

* Т. е. в школе.

Страшись беславия! — Что, если Аполлон,
Услышав, что и ты полез на Геликон,
С презреньем покачав кудрявой головою,
Твой гений наградит спасительной лозою?

Но что? Ты хмуришься и отвечать готов:
«Пожалуй, — скажешь мне, — не трать излишних
слов;

Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я лиру избираю.
Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт».

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет:
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштейну французов побеждать.
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь, и слава россов,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
И Фебова на них проклятия печать!

Положим, что, на Шинд взобравшись счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо:
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
За то, что ты поэт, несметные богатства,
Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,

Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камюэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он.
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же, — говоришь, — судя о всех так строго,
Перебирая всё, как новый Ювенал,
Ты о поэзии со мною толковал;
А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,
Мне проповедывать пришел сюда стихами?
Что сделалось с тобой? В уме ли ты, иль нет?»
Арист, без дальних слов, вот мой тебе ответ:

В деревне, помнится, с мирянами простыми,
Священник пожилой и с кудрями седыми
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка, — сказали простяки, —
Настави грешных нас — ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...»
— «Послушайте, — сказал священник мужикам, —
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте».

И мне то самое пришлось отвечать;
Я не хочу себя нисколько оправдать:

Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
Проводит тихий век без горя, без заботы,
Своими одами журналы не тягчит
И над экспромптами недели не сидит!
Не любит он гулять по высотам Парнаса,
Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;
Его с пером в руке Рамаков не страшит;
Спокоен, весел он. Арист, он — не пиит.

Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить
И сатирическим пером тебя замучить.
Теперь, любезный друг, я дал тебе совет;
Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое.

НЕСЧАСТИЕ КЛИТА

Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песен-
ки пишет,
Противу ямба, хорей злобой ужасною дышит;
Мера простая сия всё портит по мнению Клита,
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита.
Спорить о том я не смею; пусть он безвинных
поносит,
Ямб охладил рифмача, гекзаметры ж он заморозит.

КОЛЬНА

Подражание Оссиану

(Фингал послал Тоскара воздвигнуть на берегах источника Кроны памятник победы, одержанной им некогда на сем месте. Между тем как он занимался сим трудом, Карул, соседственный государь, пригласил его к пиршеству; Тоскар влюбился в дочь

его, Кольну; нечаянный случай открыл взаимные их чувства и ошастливил Тоскара.)

Источник быстрый Каломоны,
Бегущий к дальним берегам,
Я зрю, твои взмущенны волны
Потоком мутным по скалам
При блеске звезд ночных сверкают
Сквозь дремлющий пустынный лес,
Шумят и корни орошают
Сплетенных в темный кров древес.
Твой мшистый брег любила Кольна,
Когда по небу тень лилась;
Ты зрел, когда, в любви невольна,
Здесь другу Кольна отдалась.

В чертогах Сельмы царь могущих
Тоскару юному вещал:
«Гряди во мрак лесов дремучих,
Где Крона катит черный вал,
Шумящей прохлажден осиной. —
Там ряд является могил;
Там с верной, храброю дружиной
Полки врагов я расточил,
И много, много сильных пало;
Их гробы черный враг стрежет.
Гряди — и там, где их не стало,
Воздвигни памятник побед!»
Он рек, и в путь безвестный, дальний
Пустился с бардеми Тоскар.
Идет во мгле ночи печальной,
В вечерний хлад, в полдневный жар.
Денница красная выводит
Златое утро в небеса,
И вот уже Тоскар подходит
К местам, где в темные леса

Бежит седой источник Кроны
И кроется в долины сонны.
Воспели барды гимн святой;
Тоскар обломок гор кремнистых
Усильно мощною рукой
Влечет из бездны волн сребристых,
И с шумом на высокий брег
В густой и дикий злак поверг;
На нем повесил черны латы,
Покрытый кровью предков меч,
И круглый щит, и шлем пернатый.
И обратил он к камню речь:

«Вещай, сын шумного потока,
О храбрых поздним временам!
Да в страшный час, как ночь глубока
В туманах ляжет по лесам,
Пришлец, дорогой утомленный,
Возлегли под надежный кров,
Вспомнит веки отдаленны
В мечтанье сладком легких снов!
С рассветом алыя денницы,
Лучами солнца пробужден,
Он узрит мрачные гробницы...
И грозным видом поражен,
Вопросит сын иноплеменный:
„Кто памятник воздвиг надменный?“
И старец, летами согбен,
Речет: „Тоскар наш незабвенный,
Герой умчавшихся времен!“»

Небес сокрылся вечный житель,
Заря потухла в небесах;
Луна в воздушную обитель
Спешит на темных облаках;
Уж ночь на холме — берег Кроны

С окрестной рощею заснул.
Владыко сильный Каломоны,
Иноплеменных друг, Карул
Призвал Морвенского героя
В жилище Кольны молодой
Вкусить приятности покоя
И пить из чаши круговой.

.
.
Близ пепелища все воссели;
Веселья барды песнь воспели;
И в пене кубок золотой
Кругом несется чередой.
Печален лишь пришелец Лоры,
Главу ко груди преклонил:
Задумчиво он страстны взоры
На нежну Кольну устремил —
И тяжко грудь его вздыхает,
В очах веселья блеск потух;
То огонь по членам пробегает,
То негою томится дух;
Тоскует, втайне ощущая
Волненье сильное в крови,
На юны прелести взирая,
Он полную чашу пьет любви.

Но вот уж дуб престал дымиться,
И тень мрачнее становится,
Чернеет тусклый небосклон,
И царствует в чертогах сон.

.
.
Редает ночь; заря багряна
Лучами солнца возжена;
Пред ней златится твердь румяна.
Тоскар покинул ложе сна;

Быстротекушей Каломоны
Идет по влажным берегам,
Спешит узреть долины Кроны
И внемлет плещущим волнам.
И вдруг из сени темной роци,
Как в час весенней полунощи
Из облак месяц золотой,
Выходит ратник молодой.
Меч острый на бедре сияет,
Копье десницу вооружает;
Надвинут на чело шелом,
И гибкий стан покрыт щитом;
Зарю латы серебруются
Сквозь утренний в долине пар.

«О юный ратник! — рек Тоскар, —
С каким врагом тебе сражаться?
Ужель и в сей стране война
Багрит ручьев струисты волны?
Но всё спокойно — тишина
Окрест жилища нежной Кольны». —
«Спокойны дебри Каломоны,
Цветет отчизны край златой;
Но Кольна там не обитает
И ныне по стезе глухой
Пустыню с милым протекает,
Пленившим сердце красотой». —
«Что рек ты мне, молодой воитель?
Куда сокрылся похититель?
Подай мне щит твой!» И Тоскар
Приемлет щит, пылая мщеньем.
Но вдруг исчез геройства жар;
Что зрит он с сладким восхищеньем?
Не в силах в страсти воздохнуть.
Пылая вдруг восторгом новым...
Лилейна обнажилась грудь.

Под грозным дышуща покровом...
«Ты ль это?..» — возопил герой
И трепетно рукой дрожащей
С главы снимает шлем блестящий —
И Кольну видит пред собой.

ЭВЛЕГА

Вдали ты зришь утес уединенный;
Пещеры в нем изрылась глубина;
Темнеет вход, кустами окруженный,
Вблизи шумит и пенится волна.
Вечор, когда туманилась луна,
Здесь милого Эвлега призывала;
Здесь тихий глас горам передавала
Во тьме ночной печальна и одна:

«Приди, Одульф! уж роща побледнела.
На дикий мох Одульфа ждать я села,
Пылает грудь, за вздохом вздох летит...
О, сладко жить, мой друг, душа с душою.
Приди, Одульф, забудусь я с тобою,
И поцелуй любовью возгорит.

Беги, Осгар, твои мне страшны взоры,
Твой грозен вид, и хладны разговоры.
Оставь меня, не мною торжествуй!
Уже другой в ночи со мною дремлет,
Уж на заре другой меня объемлет,
И сладостен его мне поцелуй.

Что ж медлит он свершить мои надежды?
Для милого я сбросила одежды!
Завистливый покров у ног лежит.
Но чу! идут — так! это друг мой нежный.
Уж начались восторги страсти нежной,
И поцелуй любовью возгорит».

Идет Одульф: во взорах — упоенье,
В груди — любовь, и прочь бежит печаль;
Но близ его во тьме сверкнула сталь,
И вздрогнул он — родилось подозренье:
«Кто ты? — спросил, — почто ты здесь? Вещай,
Ответствуй мне, о сын угрюмой ночи!»

«Бессильный враг! Осгара убегай!
В пустынной тьме что ищут робки очи?
Страшись меня, я страстью воспален:
В пещере здесь Эвлега ждет Осгара!»
Булатный меч в минуту обнажен,
Огонь летит струями от удара...

Услышала Эвлега стук мечей
И бросила со страхом клад пещерный.
«Приди узреть предмет любви твоей! —
Вскричал Одульф подруге нежной, верной. —
Изменница! ты здесь его зовешь?
Во тьме ночной вас улаждает нега,
Но дерзкого в Валгалле ты найдешь».

Он поднял меч... и с трепетом Эвлега
Падет на дерн, как клоч летучий снега,
Мятелицей отторженный со скал!
Друг на друга соперники стремятся,
Кровавый ток по камням побежал:
В кустарники с отчаяньем катятся.
Последний глас Эвлегу призывал,
И смерти клад их ярость оковал.

ОСГАР

По камням гробовым, в туманах полуночи,
Ступая трепетно усталую ногой,
По Лоре путник шел; напрасно томны очи
Ночлега мирного искали в тьме густой.

Пещеры нет пред ним, на берегу угрюмом
Не видит хижины, наследья рыбаля;
Вдали дремучий бор качают ветры с шумом,
Луна за тучами, и в море спит заря.

Идет, и на скале, обросшей влажным мохом,
Зрит барда старого — веселье прошлых лет:
Склонясь седым челом над воющим потоком,
В безмолвии времен он созерцал полет.
Зубчатый меч висел на ветви мрачной ивы.
Задумчивый певец взор тихий обратил
На сына чуждых стран, и путник боязливый
Содрогся в ужасе и мимо поспешил.

«Стой, путник! стой! — вещал певец веков
минувших: —
Здесь пали храбрые, почти их бранный прах,
Почти геройства чад, могилы сном уснувших!»
Пришлец главой поник — и, мнилось, на холмах
Восставший ряд теней главы окровавленны
С улыбкой гордою на странника склонял.
«Чей гроб я вижу там?» — вещал иноплеменный
И барду посохом на берег указал.

Колчан и шлем стальной, к утесу
пригвожденный,
Бросали тусклый луч, луною озлатясь.
«Увы, здесь пал Осгар! — рек старец
вдохновенный. —
О, рано юноше настал последний час!
Но он искал его: я зрел, как в ратном строе
Он первая стрелы с весельем ожидал
И рвался из рядов, и пал в кипящем бое.
Покойся, юноша! ты в брани славной пал!

Во цвете нежных лет любил Осгар Мальвину;
Не раз он в радости с подругою встречал
Вечерний свет луны, скользкий на долину,
И тень, упавшую с приморских грозных скал.
Казалось, их сердца друг к другу пламенели.
Одной, одной Осгар Мальвиною дышал.
Но быстро дни любви и счастья пролетели,
И вечер горести для юноши настал.

Однажды, в темну ночь зимы порой унылой,
Осгар стучится в дверь красавицы младой
И шепчет: «Юный друг, не медли, здесь твой
милый!»

Но тихо в хижине. Вновь робкою рукой
Стучит и слушает: лишь ветры с свистом веют.
«Ужели спишь теперь, Мальвина? — Мгла вокруг,
Валится снег, власы в тумане леденеют.
«Услышь, услышь меня, Мальвина, милый друг!»

Он в третий раз стучит. Со скрипом дверь
шатнулась.
Он входит с трепетом. Несчастный! что узрел?
Темнеет взор его; Мальвина содрогнулась;
Он зрит — в объятиях изменницы Звигнел!
И ярость дикая во взорах закипела,
Немеет и дрожит любовник молодой;
Он грозный меч извлек — и нет уже Звигнела,
И бледный дух его сокрылся в тьме ночной!

Мальвина обняла несчастного колена,
Но взоры отвратив: «Живи, — вещал Осгар, —
Живи, уж я не твой: презренна мной измена,
Забуду, потушу к неверной страсти жар».
И тихо за порог выходит он в молчанье,
Окован мрачною, безмолвною тоской —
Исчезло сладкое навек очарованье!
Он в мире одинок, уж нет души родной.

Я видел юношу: поникнув головою,
Мальвины имя он в отчаянье шептал;
Как сумрак, дремлющий над бездною морскою,
На сердце горестном унынья мрак лежал.
На друга детских лет взглянул он торопливо:
Уже недвижимый взор друзей не узнавал.
От пиршеств удален, в пустыне молчаливой
Он одиночеством печаль свою питал.

И длинный год провел Осгар среди мучений.
Вдруг грянул трубный глас: Оденев сын, Фингал,
Вел грозных на мечи, в кровавый пыл сражений.
Осгар слышал весть и бранью воспылал.
Здесь меч его сверкнул, и смерть пред ним бежала;
Покрытый ранами, здесь пал на груди тел.
Он пал — еще рука меча кругом искала,
И крепкий сон веков на сильного слетел.

Побегли вспять враги — и тихий мир герою!
И тихо всё вокруг могильного холма.
Лишь в осень хладную, безмесячной порою,
Когда вершины гор тягчит сырая тьма,
В багровом облаке, одеянна туманом,
Над камнем гробовым уныла тень сидит,
И стрелы дребезжат, стучит броня с колчаном,
И клен, зашевелиясь, таинственно шумит».

РАССУДОК И ЛЮБОВЬ

Младой Дафнис, гоняясь за Доридой,
«Постой, — кричал, — прелестная, постой,
Скажи: «Люблю» — и бегать за тобой
Не стану я — клянуся в том Кипридой!»
«Молчи, молчи!» — Рассудок говорил;
А плут Эрот: «Скажи: ты сердцу мил».

«Ты сердцу мил!» — пастушка повторила,
И их сердца огнем любви зажглись,
И пал к ногам красавицы Дафнис,
И страстный взор Дорида потупила.
«Беги, беги!» — Рассудок ей твердил,
А плут Эрот: «Останься!» говорил.

Осталася — и трепетной рукою
Взял руку ей счастливый пастушок.
«Взгляни, — сказал, — с подругой голубок
Там обнялись под тенью лип густою». —
«Беги, беги!» — Рассудок повторил,
«У них учись!» — Эрот ей говорил.

И нежная улыбка пробежала
Красавицы на пламенных устах,
И вот она с томлением в глазах
К любовнику в объятия упала.
«Будь счастлива!» — Эрот ей прошептал.
Рассудок что ж? Рассудок уж молчал.

К СЕСТРЕ

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой
И с лирою забвенной,
Мечтами окриленный,
Оставил монастырь
И край уединенный,
Где непрерывный мир
Во мраке опустился
И в пустыни глухой
Безмолвно воцарился

С угрюмой тишиной.¹
И быстрою стрелой
На невский брег примчуся,
С подругой обнимуся
Весны моей златой.
И, как певец Людмилы,
Мечты невольник милый,
Взошел под отчий кров,
Несу тебе не злато
(Чернец я не богатый),
В подарок пук стихов.
Тайком взошел в диванну,
Хоть помощью пера,
О, как тебя застану,
Любезная сестра!
Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан-Жака ли читаешь,
Жанлис ли пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
Смеешься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
В дол веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?
Иль моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея?
Иль смотришь в темну даль

¹ После этого стиха несколько стихов не сохранилось.

Задумчивой Светланой
Над шумною Невой?
Иль звучным фортепьяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?

Но вот уж я с тобою,
И в радости немой
Твой друг расцвел душою,
Как ясный вешний день.
Забыты дни разлуки,
Дни горести и скуки,
Исчезла грусти тень.

Но это лишь мечтанье!
Увы, в монастыре,
При бледном свеч сиянье,
Один пишу к сестре.
Всё тихо в мрачной келье:
Защелка на дверях,
Молчанье, враг веселий,
И скука — на часах!
Стул ветхий, необитый,
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель —
Вот всё, что пред собою
Я вижу, пробужден.
Фантазия, тобою
Одной я награжден,
Тобою пренесенный
К волшебной Иппокрене,
И в келье я блажен!

Что было бы со мною,
Богиня, без тебя?
Знакомый с суетою,
Приятной для меня,
Увлечен в даль судьбою,
Я вдруг в глухих стенах,
Как Леты на брегах,
Явился заключенным,
На веки погребенным,
И скрыгнули врата,
Сомкнувшись за мною,
И мира красота
Оделась черной мглою!..
С тех пор гляжу на свет.
Как узник из темницы
На яркий блеск денницы.
Светило ль дня взойдет,
Луч кинув позлащенный
Сквозь узкое окно,
Но сердце помраченно
Не радуется оно.
Иль позднею порою,
Как луч на небесах,
Покрытых чернотою,
Темнеет в облаках, —
С унынием встречаю.
Я сумрачную тень
И с вздохом провожаю
Скрывающийся день!..
Сквозь слез смотрю в решотки,
Перебирая чотки.

Но время протечет,
И с каменных ворот
Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград

Время тягостных оков
Ей на крылья не возложит.
Пусть не смейся, не резвись,
С строгой мудростью дружись;
Но с рассудком вновь заступишь,
Хоть не рад, но дверь отворишь,
Как проказливый Эрот
Постучится у ворот.

Испытал я сам собою
Истину сих правых слов.
«Добрый путь! прости, любовь!
За богинею слепую,
Не за Хлоей полечу,
Счастье, счастье ухвачу!» —
Мнил я в гордости безумной.
Вдруг услышал хохот шумный,
Оглянулся... и Эрот
Постучался у ворот.

Нет! мне, видно, не придется
С богом сим в размолвке жить.
И покамест жизни нить
Старой Паркой там прядется,
Пусть владеет мною он!
Веселиться — мой закон.
Смерть откроет гроб ужасный,
Потемнеют взоры ясны,
И не стукнется Эрот
У могильных уж ворот!

БЛАЖЕНСТВО

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве души той,
Светлый бродит ручеек.

Ночью на простой свирели
Пел влюбленный пастушок;
Томный гул унылы трели
Повторял в глуши долин...

Вдруг из глубины пещеры
Чититель Вакха и Венеры,
Резвых фавнов господин,
Выбежал Эрмиев сын.
Розами рога обвиты,
Плющ на черных волосах,
Козий мех, вином налитый,
У Сатира на плечах.
Бог лесов, в дугу склонившись
Над искривленной клюкой,
За кустами притаившись,
Слушал песенки ночной,
В лад качая головой.

«Дни протекшие в весельи!
(Пел в тоске пастух молодой)
Отчего, явись мечтой,
Вы, как тень, от глаз исчезли
И покрылись вечной тьмой?»

Ах! когда во мраке ночи,
При таинственной луне,
В темну сень прохладной роши,
Сладко спящей в тишине,
Медленно, рука с рукою,
С вежной Хлоей приходил,
Кто сравниться мог со мною?
Хлое был тогда я мил!

А теперь мне жизнь — могила,
Белый свет душе постыл,
Грустен лес, поток уныл...

Хлоя — другу изменила!..
Я для милой... уж не мил!..»

Звук исчез свирели тихой;
Смолк певец — и тишина
Воцарилась в роще дикой;
Слышно, плещет лишь волна,
И колышет повиликой
Тихо-веющий зефир.
Древ оставя сень густую,
Вдруг является Сатир.
Чашу дружбы круговую
Пенистым сребра вином,
Рек с ослабленным лицом:
«Ты уныл, ты сердцем мрачен;
Посмотри ж, как сок прозрачен
Блещет, осветясь луной!
Выпей чашу — и душой
Будешь так же чист и ясен.
Верь мне: стон в бедах напрасен.
Лучше, лучше веселись,
В горе с Бахусом дружись!»
И пастух, взяв чашу в руки,
Скоро выпил всё до дна.
О могущество вина!
Вдруг сокрылись скорби, муки,
Мрак душевный вмиг исчез!
Лишь фиал к устам поднес,
Всё мгновенно пременялось,
Вся природа оживилась,
Счастлив юноша в мечтах!
Выпив чашу золотую,
Наливает он другую;
Пьет уж третью... но в глазах
Вид окрестный потемнелся —
И несчастный... утомился.

Томну голову склоня,
«Научи, Сатир, меня, —
Говорит пастух со вздохом, —
Как могу бороться с роком?
Как могу счастливым быть?
Я не в силах вечно пить». —
«Слушай, юноша любезный,
Вот тебе совет полезный:
Миг блаженства век лови;
Помни дружбы наставленья:
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без любви;
Так поди ж теперь с похмелья,
С Купидоном помирись;
Позабудь его обиды
И в объятиях Дориды
Снова счастьем насладись!»

КАЗАК

Раз, полунощной порою,
Сквозь туман и мрак,
Ехал тихо над рекою
Удалой казак.

Черна шапка набекрене,
Весь жупан в пыли,
Пистолеты при колене,
Сабля до земли.

Верный конь, узды не чуя,
Шагом выступал;
Гриву долгую волнуя,
Углублялся вдаль.

Вот пред ним две, три избушки,
Выломан забор;
Здесь — дорога к деревушке,
Там — в дремучий бор.

«Не найду в лесу девицы, —
Думал хват Денис: —
Уж красавицы в светлицы
На ночь убрались».

Шевельнул донец уздою,
Шпорой прикольнул,
И помчался конь стрелою,
К избам завернул.

В облаках луна сребрила
Дальни небеса;
Под окном сидит уныла
Девушка-краса.

Храбрый видит красну деву;
Сердце бьется в нем,
Конь тихонько к леву, к леву —
Вот уж под окном.

«Ночь становится темнее,
Скрылася луна.
Видь, коханечка, скорее,
Напой коня».—

«Нет! к мужчине молодому
Страшно подойти,
Страшно выйти мне из дому,
Коню дать воды». —

«Ах, небось, девица красна,
С милым подружись!» —
«Ночь красавицам опасна». —
«Радость! не страшись!

Верь, коханечка, пустое!
Ложный страх отбрось!
Тратишь время золотое;
Милая, небось!

Сядь на борзого; с тобою
В дальний еду край;
Будешь счастлива со мною:
С другом всюду рай!»

Что же девица? Склонилась,
Победила страх,
Робко ехать согласилась.
Счастлив стал казак.

Поскакали, полетели;
Дружку друг любил;
Был ей верен две недели,
В третью изменил.

КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф;
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею

Высоко, тонко и хитро,
И в лиру превращать не смею
Мое гусиное перо!
Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.
Что должен я, скажи, в сей час
Желать от чиста сердца другу!
Глубоку ль старость, милый князь,
Детей, любезную супругу,
Или богатства, громких дней,
Крестов, алмазных звезд, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты был увлечен в путь кровавый.
Чтоб в лаврах и венцах сиял,
Чтоб в битвах гром из рук метал,
И чтоб победа за тобою,
Как древле невскому герою,
Всегда, везде летела вслед?
Не сладострастия поэт
Такою песенкой поздравит,
Он лучше муз навек оставит!
Дай бог любви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!
А там — когда стигийский брег
Мелькнет в туманном отдаленьи,
Дай бог, чтоб в страстном упоеньи,
Ты с томной сладостью в очах.
Из рук младого Купидона,
Вступая в мрачный челн Харона,
Уснул... Ершовой на грудях!

К НАТАШЕ

Вянет, вянет лето красно,
Улетают ясны дни;
Стелется туман ненастный
Бора в дремлющей тени;
Опустели злачны нивы;
Хладен ручеек игривый,
Лес кудрявый поседел;
Свод небесный побледнел.

Свет-Наташа! где ты ныне?
Как мне горьких слез не лить?
Иль не хочешь час единый
С другом сердца поделить?
Ни над озером волнистым,
Ни под кровом лип душистым
Ранней, утренней порой
Не встречаюсь я с тобой.

Скоро, скоро холод зимний
Рощу, поле посетит;
Огонек в лачужке дымной
Скоро ярко заблестит.
Не увижу я прелестной!
И, как чижик в клетке тесной,
Стану дома горевать
И Наташу вспоминать!

ПИРУЮЩИЕ СТУДЕНТЫ

Друзья, досужный час настал,
Всё тихо, всё в покое,
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!

Шипи, шампанское, в стекле,
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем,
Под стол ученых дураков,
Без них мы пить умеем.

Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?
На всякий случай изберем
Скорее президента.
В награду пьяным он нальет
И пунш, и грог душистый,
А вам, спартанцы, поднесет
Воды в стакане чистой.
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!¹
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам.

Дай руку, Дельвиг, что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный,
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни, здесь круг твоих друзей,
Бутыль вином налита,
За здравье нашей Музы пей,
Парнасский волокита.

¹ Будь здоров!

Остряк любезный, по рукам!
 Полней бокал досуга,
И вылей сотню эпиграмм
 На недруга и друга!

А ты, красавец молодой,
 Сиятельный повеса,
Ты будешь Вакха жрец лихой,
 На прочее — завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
 Но скромность почитаю.
Придвинь же пенистый стакан,
 На брань благословляю.

Товарищ милый, друг прямой,
 Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
 Педантам сродну скуку,
Не в первый раз мы вместе пьем,
 Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
 И тотчас помиримся.

А ты, который с детских лет
 Одним весельем дышишь,
Забавный, право, ты поэт,
 Хоть плохо басни пишешь.
С тобой тасуюсь без чинов,
 Люблю тебя душою,
Наполни кружку до краев, —
 Рассудок, бог с тобою!

А ты, повеса из повес,
 На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
 Приятель задушевный,

Бутылки, рюмки разобьем
За здоровье Платова,
В казачью шапку пунш нальем,
И пить давайте снова.

Приблизься, милый наш певец,
Любимый Аполлоном,
Воспой властителя сердец
Гитары тихим звоном.
Как сладостно в стесненну грудь
Томленье звуков льется,
Но мне ли страстью воздохнуть?
Нет! пьяный лишь смеется.

Не лучше ль, Роде записной,
В честь Вакховой станицы
Теперь скрипеть тебе струной
Расстроенной скрипицы?
Запойте хором, господа,
Нет нужды, что нескладно.
Охрипли?.. это не беда,
Для пьяных всё ведь ладно.

Но что я вижу всё вдвоем?
Двоится штоф с араком,
Вся комната пошла кругом,
Покрылись очи мраком.
Где вы, товарищи, где я?
Скажите, Вакха ради.
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее.
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

ЭПИГРАММА

Подражание французскому

Супругою твоей я так пленился,
Что если б три в удел достались мне,
Подобные во всем твоей жене,
То даром двух я б отдал сатане,
Чтоб третью лишь принять он согласился.

К Н. Г. ЛОМОНОСОВУ

И ты, любезный друг, оставил
Надежду пристань тишины,
Челнок свой весело направил
По влаге бурной глубины;
Судьба на руль уже склонилась,
Спокойно светят небеса,
Ладья крылатая пустилась —
Расправит *счастье* паруса.
Дай бог, чтоб грозной непогоды
Вблизи ты ужас не видал,
Чтоб бурный вихорь не вздувал
Пред челноком шумящи воды!
Дай бог, под вечер к берегам
Тебе пристать благополучно
И отдохнуть спокойно там
С *любовью, дружбой* неразлучно!
Нет! ты не можешь их забыть!
Но что! Не скоро, может быть,
Увижусь я, мой друг, с тобою
Укромной хаты в тишине;
За чашей пунша круговую
Подчас вспомнишь обо мне;
Когда ж пойду на новоселье
(Заснуть ведь общий всем удел),

Скажи: «Дай бог ему веселье!
Он в жизни хоть любить умел».

К БАТЮШКОВУ

Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид!
Почто на арфе златострунной
Умолкнул радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец?

Уже с венком из роз душистых
Меж кудрей вьющихся, златых,
Под тенью тополов ветвистых,
В кругу красавиц молодых,
Заздравным не стучишь фиалом,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный счастливым началом,
Цветов парнасских вновь не рвешь;
Не слышен наш Парни российский.
Пой, юноша! Певец тиисский
В тебя влиял свой нежный дух.
С тобою твой прелестный друг,
Лилета, красных дней отрада;
Певцу любви — любовь награда.
Настрой же лиру; по струнам
Летай игривыми перстами,
Как вешний зефир по цветам,
И сладострастными стихами,
И тихим шопотом любви
Лилету в свой шалаш зови;
И звезд ночных при бледном свете,

Плывущих в дальней вышине,
В уединенном кабинете,
Волшебной внемля тишине,
Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливец милый, орошай;
Но, упоен любовью страстной,
И нежных муз не забывай!
Любви нет боле счастья в мире:
Люби — и пой ее на лире.

Когда ж к тебе в досужный час
Друзья, знакомые сберутся,
И вины пенные польются,
От плена с треском свободясь,
Описывай в стихах игривых
Веселье, шум гостей болтливых
Вокруг накрытого стола,
Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла;
И гости дружно стих веселый,
Бокал в бокал удара в лад,
Нестройным хором повторят.

Поэт! в твоей предметы воле!
Во звучны струны смело грядь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.
И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как роса, питомцем славы пал!
Ты пал и хладною косою
Едва скошенный не увял!..*

Иль, вдохновенный Ювеналом,
Вооружись сатиры жалом;

* Кому неизвестны *Воспоминания на 1807 год?*

Подчас прими ее свисток,
Рази, осмеивай порок;
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь,
Но Тредьяковского оставь
В столь часто рушимом покое.
Увы! довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов,
Довольно в мире есть предметов,
Пера достойных твоего!

Но что? Цевницею моею,
Безвестный в мире сем поэт,
Я песни продолжать не смею.
Прости — но помни мой совет:
Доколе музами любимый,
Ты пизэрид горишь огнем,
Доколь сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,
Мирские забывай печали,
Играй: тебя молодой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

ЭПИГРАММА

Бывало, прежних лет герой,
Окончив славну брань с противной стороной,
Повесит меч войны средь отческия кущи;
А трагик наш Бурун, скончав чернильный бой,
Повесил уши.

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;

В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в серебристых облаках.

Плывет — и бледными лучами
Предметы осветила вкруг.

Аллеи древних лип открылись пред очами.

Проглянули и холм и луг;
Здесь, вижу, с тополлом сплелась молодая ива
И отразилась в кристалле зыбких вод.
Царицей средь полей лилея горделива
В роскошной красоте цветет.

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой,
Там в тихом озере плескаются няды
Его ленивою волной;
А там, в безмолвии, огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы русской храм?

Не се ль Элизиум полночный,
Прекрасный царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Увы! промчались те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;

Возрев вокруг себя, со вздохом росс вешает:

«Исчезло всё, великой нет!»

И в думу углублен, над злачными берегами

Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух;

Протекшие лета мелькают пред очами,

И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,

Над твердой мшистою скалой

Вознесся памятник. Ширяся крылами,

Над ним сидит орел молодой.

И цепи тяжкие, и стрелы громовые

Вкруг грозного столпа трикраты обвились;

Кругом подножия, шума, валы седые

В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен

Воздвигся памятник простой.

О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен

И славен родине драгой!

Бессмертны вы вовек, о росски исполины,

В боях воспитанны средь бранных непогод;

О вас, сподвижники, друзья Екатерины,

Пройдет молва из рода в род.

О громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу пахищали.

Их смелым подвигам страшась дивился мир;

Державин и Петров героям песнь брядали

Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!
И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военные;
Страдать — есть смертного удел.
Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
Коварством, дерзостью венчанного царя.
Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани
Зарделась грозная заря.

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И селы мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделось вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.

Идут — их силе нет препоны,
Всё рушат, всё свергают в прах,
И тени бледные погибших чад Беллоны,
В воздушных соединясь полках,
В могилу мрачную нисходят непрестанно,
Иль бродят по лесам в безмолвии ночи...
Но клики раздались!.. Идут в дали туманной...
Звучат кольчуги и мечи!

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад: летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены. —
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя.

Ретивы кони бранью пышат,
Усеян ратниками дол,
За строем строй течет; все местью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.
Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
И се — пылает брань; на холмах гром гремит,
В сгушенном воздухе с мечами стрелы свищут,
И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский — победитель!
И вспять бежит надменный галл,
Но сильного в боях небесный вседержитель
Лучом последним увенчал;
Не здесь его сразил воитель поседельный.
О бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы.
Увы! на башнях галл Кремля!..

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчины,
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни...
Вотще лишь гневом дух пылал!

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни.
Москва! сколь русскому твой зрак унылый страшен,
Исчезли зданья вельможей и царей,
Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала,
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал, и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней ночи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи;
Всё мертво, всё молчит.

Утешься, мать градов России,
Возри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая творца.
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит россов меч.

О вы, которых трепетали
Европы сильны племена,
О галлы хищные! и вы в могилы пали.
О страх, о грозны времена!
Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! Где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой!
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несёт врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

Достойный внук Екатерины!
Почто небесных аонид,
Как наших дней певец, славянской бард дружины,
Мой дух восторгом не горит!
О, если б Аполлон пиитов дар чудесный
Влиял мне ныне в груди! тобою восхищен,
На лире б возгремел гармонией небесной
И воссиял во тьме времен!

О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй!
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,
Взгреми на арфе золотой.
Да снова стройный глас герою в честь прольется,
И струны трепетны посыпят огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

КРАСАВИЦЕ, КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАБАК

Возможно ль? Вместо роз, Амуром насажденных,
Тюльпанов гордо наклоненных,
Душистых ландышей, ясминов и лилей,
Которых ты всегда любила
И прежде всякий день носила
На мраморной груди твоей, —
Возможно ль, милая Климена?
Какая странная во вкусе перемена!..
Ты любишь обонять не утренний цветок,
А вредную траву зеленую,
Искусством превращенну
В пушистый порошок!
Пускай уже седой профессор Геттингена,
На старой кафедре согнувшись дугой,
Вперив в латинщину глубокий разум свой,

Раскашлявшись, табак толченый
Пихает в длинный нос иссохшею рукой.
Пускай молодой драгун усатый
Поутру, сидя у окна,
С остатком утреннего сна,
Из трубки пенковой дым гонит сероватый.
Пускай красавица шестидесяти лет,
У граций в отпуску и у любви в отставке,
Которой держится вся прелесть на подставке,
Которой без морщин на теле места нет,
Злословит, молится, зевает
И с верным табаком печали забывает.
А ты, прелестная!.. но если уж табак
Так нравится тебе — о пыл воображенья! —
Ах! если б, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточеньи,
Я в персты нежные твои попасться мог,
Тогда б в сердечном восхищеньи
Рассыпался на грудь под шалевый платок
И даже... может быть...
Но что! мечта пустая.
Не будет этого никак.
Судьба завистливая, злая!
Ах, отчего я не табак!..

РОМАНС

Под вечер, осенью ненастной,
В далеких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Всё было тихо — лес и горы,
Всё спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

И на невинное творенье,
Вздыхнув, остановила их...
«Ты спишь, дитя, мое мученье,
Не знаешь горестей моих —
Откроешь очи и тоскуя
Кю груди не прильнешь моей,
Не встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери твоей.

Ее манить напрасно будешь!
Стыд вечный мне вина моя —
Меня навеки ты забудешь...
Тебя не позабуду я;
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!»
Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
И не найдешь семьи родной!

Мой ангел будет грустной думой
Томиться меж других детей! —
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей;
Повсюду странник одинокий,
Предел неправедный кляня,
Услышит он упрек жестокий...
Прости, прости тогда меня...

Быть может, сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь отца.
Увы, где он, предатель милый,
Мой незабвенный до конца? —
Утешь тогда страдальца муки.
Скажи: ее на свете нет—
Лаура не снесла разлуки
И бросила пустынный свет.

Но что сказала я?.. быть может
Виновную ты встретишь мать —
Твой скорбный взор меня встревожит!
Возможно ль сына не узнать?
Ах, если б рок неумолимый
Моею тронулся мольбой...
Но может быть пройдешь ты мимо —
Навек рассталась я с тобой.

Ты спишь — позволь себя, несчастный,
К груди прижать в последний раз.
Закон несправедливый, ужасный
К страданью присуждает нас.
Пока лета не отогнали
Беспечной радости твоей —
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней!»

Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна...
С волненьем сына ухватила
И к ней приблизилась она;
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила
И скрылась в темноте ночной.

ЛЕДА

КАНТАТА

Средь темной рощицы, под тенью лип душистых,
В высоком тростнике, где частым жемчугом
Вздучалась пена вод серебристых,
Колеблюсь тихим ветерком,
Покров красавицы стыдливой,

Небрежно кинутый, у берега лежал,
И прелести се поток волной игривой
С весельем орошал.

Житель рощи торопливый,
Будь же скромн, о ручей!
Тише, струйки говорливы,
Изменить страшитесь ей!

Леда робостью трепещет,
Тихо дышит снежна грудь,
Ни волна вокруг не плещет,
Ни зефир не смеет дуть.

В роще шорох утихает,
Всё в прелестной тишине;
Нимфа далее ступает,
Робкой вверившись волне.

Но что-то меж кустов прибрежных восшумело,
И чувство робости прекрасной овладело;
Невольнo вздрогнула, не в силах воздохнуть.
И вот чернатых царь из-под склоненной ивы.
Расправя крылья горделивы,
К красавице плывет — веселья полна грудь.
С шумящей пеною отважно волны гонит,
Крылами воздух бьет,
То в кольца шею вьет,
То гордую главу, смирясь пред Ледой, клонит.

Леда смеется —
Вдруг раздается
Радости клик...
Вид сладострастный!
К Леде прекрасной
Лебедь приник.

Слышно стенанье,
Снова молчанье.
Нимфа лесов
С негою сладкой
Видит украдкой
Тайну богов.

Опомнись наконец красавица младая
Открыла тихий взор, в томленьях воздыхая,
И что ж увидела? — На ложе из цветов
Она покоится в объятиях Зевеса;
Меж ними юная любовь,
И пала таинства прелестного завеса.

Сим примером научитесь,
Розы, девы красоты;
Летним вечером страшитесь
В темной рощице воды:

В темной рощице таится
Часто пламенный Эрот,
С хладной струйкою катится,
Стрелы прячет в пене вод.

Сим примером научитесь,
Розы, девы красоты;
Летним вечером страшитесь
В темной рощице воды.

STANCES

Avez-vous vu la tendre rose,
L'aimable fille d'un beau jour,
Quand au printemps à peine éclore,
Elle est l'image de l'amour?

Telle à nos yeux, plus belle encore,
Parut Eudoxie aujourd'hui,
Plus d'un printemps la vit éclore,
Charmante et jeune comme lui.

Mais, hélas! Les vents, les tempêtes,
Ces fougueux enfants de l'hiver,
Bientôt vont gronder sur nos têtes,
Enchaîner l'eau, la terre et l'air.

Et plus de fleurs, et plus de rose,
L'aimable fille des amours
Tombe fanée, à peine éclore;
Il a fui, le temps des beaux jours!

Eudoxie! aimez! Le temps presse:
Profitez de vos jours heureux!
Est-ce dans la froide vieillesse
Que de l'amour on sent les feux?¹

1 С т а н с ы

Видали ль вы нежную розу,
Любезную дочь ясного дня,
Когда весной, едва расцветши,
Она являет образ любви?

Такою глазам нашим, еще прекраснее,
Ныне явилась Евдокия.
Не раз видела весна, как она расцветала,
Прелестная и юная, подобная ей самой.

Но — увы! — ветры и бури,
Эти лютые дети зимы,
Скоро заревут над нашими головами.
Окуют воду, землю и воздух.

И нет более цветов, и нет более розы.
Любезная дочь любви,
Завянув, падает, едва расцветшая:
Миновала пора ясных дней!

MON PORTRAIT ¹

Vous me demandez mon portrait;
Mais peint d'après nature;
Mon cher, il sera bientôt fait,
Quoique en miniature.

Je suis un jeune polisson,
Encore dans les classes;
Point sot, je le dis sans façon
Et sans fades grimaces.

Onc il ne fut de babillard,
Ni docteur en Sorboune —
Plus ennuyeux et plus braillard,
Que moi-même en personne.

Евдокия! Любите, время не терпит;
Пользуйтесь вашими счастливыми днями!
В хладной ли старости
Дано нам ведать пыл любви?

¹ М о й п о р т р е т

Вы просите, чтоб я написал свой портрет
И притом с натуры,
Дорогой мой, его недолго сделать.
Правда, — в виде миниатюры.

Я — молодой шалуи,
Еще на школьной скамье;
Отнюдь не глуп, скажу без жеманства
И приторных ужимок.

Никогда не бывало болтуна,
Ни доктора Сорбонны

Ma taille, à celles des plus longs
Ne peut être égalée;
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tête bouclée.

J'aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude;
J'abhorre et noises, et débats,
Et tant soit peu l'étude.

Spectacles, bals me plaisent fort,
Et d'après ma pensée,
Je dirais ce que j'aime encore,
Si n'étais au Lycée.

Несносней и крикливей,
Чем моя особа.

Ростом я с самыми долговязыми
Не могу сравняться;
Я свеж лицом, у меня русые волосы
И курчавая голова.

Люблю и свет, и его шум,
Ненавижу одиночество;
Гнушаюсь распрями и ссорами,
А малость и науками.

Спектакли, балы мне весьма по вкусу,
И, если говорить начистоту,
Сказал бы я, что еще люблю,
Когда бы не был в лицее.

По всему этому, дорогой мой друг,
Легко меня узнать.
Да, каким господь меня создал,
Я и хочу всегда казаться.

Суший бес в проказах,
Сушая мартышка лицом,
Много, слишком много ветренности —
Вот вам Пушкин.

Après cela, mon cher ami,
L'on peut me reconnaître:
Oui, tel que le bon dieu me fit,
Je veux toujours paraître.

Vrai démon pour l'espièglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'étourderie —
Ma foi, voilà Pouchkine.





1815

БОВА

(Отрывок из поэмы)

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Эллингския
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера.
Несравненного Вергилия
Я читал и перечитывал,
Не стараясь подражать ему
В нежных чувствах и гармонии.
Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого.
Не хотел я воспевать, как он;
Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого.
За Мильтоном и Камознсом
Опасался я без крил парить;
Не дерзал в стихах бессмысленных
Херувимов жарить пушками,
С сатаною обитать в раю,
Иль святую богородицу

Вместе славить с Афродитою:
Не бывал я греховодником!
Но вчера, в архивах роая,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизис остроумия,
Словом: Жанну Орлеанскую.
Прочитал, — и в восхищении
Про Бову пою царевича.

О Вольтер, о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Почитали богом неким,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии!
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею музою!
Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?

Не запомню, сколько лет спустя
После рождества спасителя,
Царь Дадон со славой царствовал
В Светомире, сильном городе.
Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою,
Но убив царя законного,
Бендокира Слабоумного.
(Так бывало верноподданны
Величали королей своих,
Если короли беспечные,
Не в постеле и не ночью
Почивали с камергерами.)
Царь Дадон не Слабоумного
Был достоин злого прозвища,

Но тирана неусыпного,
Хотя, впрочем, не имел его.
Лень мне все его достоинства
И пороки вам показывать:
Вы слышали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого,
Всюду пролетал с победою,
Мир крещеный потопил в крови,
Не щадил и некрещеного,
И в ничтожество низверженный
Александром, грозным ангелом,
Жизнь проводит в унижении
И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы императором: —
Вот таков-то был и царь Дадон.

Раз, собрав бородачей совет
(Безбородых не любил Дадон),
На престоле пригорюнившись,
Произнес он им такую речь:
«Вы, которые советами
Облегчили тяжесть скипетра,
Усладили участь царскую
(Не горька она была ему),
Мудрые друзья, сподвижники!
К вам прибегнуть я решаюся:
Что мне делать ныне? — слушайте».

Все привстали, важно хмурясь,
Низко, низко поклонилися
И, подправя ус и бороду,
Сели на скамьи дубовые.

«Вам известно, — продолжал Дадон, —
Что искусством и неправдою

Я достиг престола шаткого
Бендокира Слабоумного,
Сочетался с Милитрисою,
С милой женкой Бендокировой,
И в темницу посадил Бову,
Принца крови, сына царского.
Легче, легче захватить было
Слабоумного златой венец,
Чем, надев венец на голову,
За собою удержать его.
Вот уже народ бессмысленный,
Ходя в праздники по улицам,
Меж собой не раз говаривал:
Дай бог помочь королевичу.
Ведь Бова уже не маленький,
Не в отца своей головушкой,
Нужды нет, что за решоткою,
Он опасен моим замыслам.
Что мне делать с ним? скажите мне,
Не оставить ли в тюрьме его?»

Всё собранье призадумалось,
Все в молчанье потупили взор.
То-то, право, золотой совет!
Не болтали здесь, а думали:
Арзамор, муж старый, опытный,
Рот открыл было (советовать
Знать хотелось поседелому),
Громко крякнул, но одумался,
И в молчанье закусил язык.
Ко лбу перст приставя тщательно,
Лекарь, славный Эскулапа внук,
Эзельдорф, обритый шваб, зевал,
Табакеркою поскрыпывал,
Но молчал, — своей премудрости
Он пред всеми не показывал.

Вихромах, Полкан с Дубынею,
Стража трона, славны рыцари,
Все сидели, будто вкопаны.
Громобурь, известный силою,
Но умом непроницательный,
Думал, думал и нечаянно
Задремал и захрапел в углу.
Что примера лучше действует?
Что людьми сильней ворочает?
Вот зевнули под перчаткою
Храбрый Мирозор с Ивашкою,
И Полкан, и Арзамор седой...
И ко груди преклонились
Тихо головами буйными...
Глядь, с Дадонем задремал совет...
Захрапели много-мыслящи!

Долго спать было советникам,
Если б немцу не пришлось из рук
Табакерку на пол выронить.
Табакерка покатила
И о шпору вдруг ударила
Громобуря, крепко спящего,
Загремела, раздвоилась,
Отлетела в разны стороны...
Храбрый воин пробуждается,
Озирает всё собрание...
Между тем табак рассыпался,
К носу рыцаря подъемлется,
И чихнул герой с досадою,
Так что своды потрясаются,
Окны все дрожат и сыплются,
И на петлях двери хлопают...
Пробуждается собрание!

«Что тут думать, — закричал герой: —
Царь, Бова тебе не надобен,

Ну, и к чорту королевича!
Решено: ему в живых не быть.
После, братцы, вы рассудите,
Как с ним надобно разделаться».
Тем и кончил: храбры воины
Речи любят лаконически.
«Ладно, мы тебя послушаем, —
Царь промолвил, потянувшись, —
Завтра, други, мы увидимся,
А теперь ступайте все домой».

Оплошал Дадон отсрочкою.
Не твердил он видно в азбуке:
*Не откладывай до завтраго
Что сегодня можешь выполнить.*
Разошлись все придворные.
Ночь меж тем уже сгущалася,
Царь Дадон в постелю царскую
Вместе с милой лег супругою,
С несравненной Милитрисою,
Но спиной оборотился к ней:
В эту ночь его величеству
Не играть, а спать хотелось.

Милитрисина служаночка,
Зоя, молодая девица,
Ангел станом, взором, личиком,
Белой ручкой, нежной ножкою,
С госпожи сняв платье шелково,
Юбку, чепчик, ленты, кружева,
Всё под ключ в шкатулку спрятала
И пошла тихонько в девичью.
Там она сама разделася,
Подняла с трудом окошечко
И легла в постель пуховую,
Ожидая друга милого,

Светозара, пажка царского:
К темной ночи обещался он
Из окна прыгнуть к ней в комнату.
Ждет, пождет девица красная;
Нет, как нет всё друга милого.
Чу! бьет полночь — что же Зоинька?
Видит — входят к ней в окошечко...
Кто же? друг ли сердца нежного?
Нет! совсем не то, читатели!
Видит тень иль призрак старого
Венценосца, с длинной шапкою,
В балахоне вместо мантии,
Опоясанный мочалкою,
Вид невинный, взор павыкاته,
Рот разинут, зубы скалятся,
Уши длинные, ослиные
Над плечами громко хлопают;
Зоя видит и со трепетом
Узнает она, читатели,
Бендокира Слабоумного.

Трепетно, смятенья полная,
Стала на колени Зоинька,
Съединила ручку с ручкою,
Потушила очи ясные,
Прочитала скорым шопотом
То, что ввек не мог я выучить:
Отче наш и Богородице,
И тихохонько промолвила:
«Что я вижу? Боже! Господи...
О Никола! Савва мученик!
Осените беззащитную.
Ты ли это, царь наш батюшка?
Отчего, скажи, оставил ты
Ныне царствие небесное?»
Глупым смехом осветившись,

Тень рекла прекрасной Зоиньке:
«Зоя, Зоя, не страшись, мой свет,
Не пугать тебя мне хочется,
Не на то сюда явился я
С того света привидением.
Весело пугать живых людей,
Но могу ли веселиться я,
Если сына Бендокирова,
Милого Бова-царевича,
На костре изжарят завтра же?»

Бедный царь заплакал жалобно.
Больно стало доброй девушке.
«Чем могу, скажи, помочь тебе,
Я во всем тебе покорствую». —
«Вот что хочется мне, Зоинька!
Из темницы сына выручи,
И сама в жилище мрачное
Сядь на место королевича,
Пострадай ты за невинного,
Поклонюсь тебе низехонько
И скажу: спасибо, Зоинька!»

Зоинька тут призадумалась
За *спасибо* в темну ему сесты!
Это жестко ей казалось.
Но, имея чувства нежные,
Зоя втайне согласилась
На такое предложение.

Так ты прав, оракул Франции!
Говоря, что жены, слабые
Против стрел Эрота юного,
Все имеют душу добрую,
Сердце нежно непритворное.
«Но скажи, о царь возлюбленный! —

Зоя молвила покойнику: —
Как могу (ну, посуди ты сам)
Пренестись в темницу мрачную,
Где горюет твой любезный сын?
Пятьдесят отборных воинов
Днем и ночью стерегут его.
Мне ли, слабой, робкой женщине,
Обмануть их очи зоркие?» —
«Будь покойна, случай найдется,
Поклянись лишь только, милая,
Не отвергнуть сего случая,
Если сам тебе представится». —
«Я клянусь!» — сказала девица.
Вмиг исчезло привидение,
Из окошка быстро вылетев.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила тут окошечко
И в постеле, успокоившись,
Скоро, скоро сном забылася.

ГОРОДОК

К ***

Прости мне, милый друг,
Двухлетнее молчанье;
Писать тебе посланье
Мне было недосуг.
На тройке пренесенный
Из родины смиренной
В великий град Петра,
От утра до утра
Два года всё кружился
Без дела в хлопотах,
Зевая веселился
В театре, на пирах;

Не ведал я покоя,
Увы! ни на часок,
Как будто у налоя
В великий четверток
Измученный дьячок.
Но слава, слава богу!
На ровную дорогу
Я выехал теперь;
Уж вытолкал за дверь
Заботы и печали,
Которые играли,
Стыжусь, столь долго мной;
И в тишине святой
Философом ленивым.
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливым.
Я нанял светлый дом,
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет.
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиалкой нежной,
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт

Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет
Не слышит стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожную клюкой
В калитку постучится...

Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Никто, никто ему
Лениться одному
В постеле не мешает;
Захочет — аонид
Толпу к себе сзывает;
Захочет — сладко спит,
На *Рифмова* склоняясь
И тихо забываясь.
Так я, мой милый друг,
Теперь расположился;
С толпой бесстыдных слуг
Навеки распростился;
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю

И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Из детства стал пиит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
Соперник Еврипида,
Эраты нежной друг,
Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он всё, везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Вергилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций —
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной

Сердца привлечший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь — и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!
Воспитанны Амуром
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок.
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок.)
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный Аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки,

Лежащие в пыли:
Визгова сочиненья,
Глугона псалмопенья.
Известные творенья
Увы! одним мышам.
Мир вечный и забвенья
И прозе и стихам!
Но ими огражденну
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
От члена русских сил,
Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненьи...
Нетрудно отгадать;
Так, это сочиненьи,
Презревшие печать.
Хвала вам, чады славы,
Враги парнасских уз!
О князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих,
В сатире — знанье света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту.
И ты, насмешник смелый,
В ней место получил,
Чей в аде свист веселый
Поэтов раздражил,
Как в юношески леты

В волнах туманной Леты
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
Буянова певец,
В картинах толь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Талье дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я с *Чернавкой*
Подципа слезы льет;
Здесь князь дрожит под лавкой,
Там дремлет весь совет;
В трагическом смятеньи
Плененные цари,
Забыв войну, сраженьи,
Играют в кубари...
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство чердаков,
Гласят из рода в роды:
Велик, велик — Свистов!
Твой дар ценить умею,
Хоть право не знаток;
Но здесь тебе не смею

Хвалы сплетать венок:
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но, убирайся с богом,
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

О вы, в моей пустыне
Любимые творцы!
Займите же отныне
Беспечности часы.
Мой друг! Весь день я с ними,
То в думу углублен,
То мыслями своими
В Элизий пренесен.
Когда же на закате
Последний луч зари
Потонет в ярком злате,
И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам,
И тихо дремлют рощи,
И шорох по лесам, —
Мой гений невидимкой
Летает надо мной;
И я в тиши ночной
Сливаю голос свой
С пастушьёю волынкой.
Ах! счастлив, счастлив тот,
Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет!
Как смелый житель неба,
Он к солнцу воспарит,
Превыше смертных станет,
И слава громко грянет:
«Бессмертен ввек пиит!»

Но ею мне ль гордиться,
Но мне ль бессмертьем льститься?..
До слез я спорить рад,
Не бьюсь лишь об заклад,
Как знать, и мне, быть может,
Печать свою наложит
Небесный Аполлон;
Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире воздохнет.

Покамест, друг бесценный,
Камином освещенный,
Сижусь я под окном
С бумагой и с пером,
Не слава предо мною,
Но дружбою одною
Я ныне вдохновен.
Мой друг, я счастлив ею.
Почто ж ее сестрой,
Любовию младой
Напрасно пламенею?
Иль юности златой
Вотще даны мне розы,
И лить навеки слезы
В юдоли, где расцвел
Мой горестный удел?..
Певца сопутник милый,

Мечтанье легкокрыло!
О, будь же ты со мной,
Дай руку сладострастью
И с чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвения тропой;
И в час безмолвной ночи,
Когда ленивый мак
Покроет томны очи,
На ветреных крылах
Примчись в мой домик тесный,
Тихонько постучись,
И в тишине прелестной
С любимцем обнимись!
Мечта! в волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви,
И блеск очей небесный,
Лиющих огонь в сердца,
И граций стан прелестный
И снег ее лица;
Представь, что на коленях
Покоясь у меня,
В порывистых томленьях
Склонилася она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устах,
Горит лицо прекрасной,
И слезы на глазах!..
Почто стрелой незримой
Уже летишь ты вдаль?
Обманет — и пропал
Беглец невозвратимый!
Не слышит плач и стон,
И где крылатый сон?

Исчезнет обольститель,
И в сердце грусть-мучитель.

Но всё ли, милый друг,
Быть счастья в упоенье?
И в грусти томный дух
Находит наслажденье:
Люблю я в летний день
Бродить один с тоскою,
Встречать вечерню тень
Над тихою рекою
И с сладостной слезою
В даль сумрачну смотреть;
Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном
Близ озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя злак прибрежный,
Любви и неги полн,
С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывет во злате волн.
Или, для развлеченья,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаек.
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,
Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты собирает
Со всех она сторон,
Всё сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,

Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала,
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку
Играя разломал, —
Старушка всё расскажет;
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает всё свое;
А я сижу смиренно
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
На рифмы удалого
Так некогда *Свистова*
В столице я внимал,
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал.
Ах! видно, бог пытал
Тогда мое терпенье!

Иль добрый мой сосед,
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным,
Зовет меня из дружбы
Хлеб-соль откусать с ним.
Вечернею пирушкой
Старик, развеселясь,
За дедовскою кружкой
В прошедшем углубясь,
С очаковской медалью
На раненой груди,
Вспомнит ту баталью,
Где роты впереди

Летел навстречу славы,
Но встретился с ядром
И пал на дол кровавый
С булатным палашом.
Всегда я рад душою
С ним время провождать.
Но, боже, виноват!
Я каюсь пред тобою,
Служителей твоих,
Попов я городских
Боюсь, боюсь беседы
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских иереев,
Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю,
А с ними крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот.

Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами,
(И слово уж сдержу)
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.

ВОДА И ВИНО

Люблю я в полдень воспаленный
Прохладу черпать из ручья
И в роще тихой, отдаленной

Смотреть, как плещет в брег струя.
Когда ж вино в края поскачет,
Напелясь в чаше круговой,
Друзья, скажите, — кто не плачет,
Заране радуясь душой?

Да будет проклят дерзновенный,
Кто первый грешною рукой,
Нечестьем буйным ослепленный,
О, страх!.. смешил вино с водой!
Да будет проклят род злодея!
Пускай не в силах будет пить,
Или, стаканами владея,
Лафит с цымлянским различить!

ИЗМЕНЫ

«Всё миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
В мраке забвенья
Скрылися вы.
Так я премены
Сладость вкусил;
Гордой Елены
Цепи забыл.
Сердце, ты в воле!
Всё позабуди.
В новой сей доле
Счастливо буди.
Только весною
Зефир младою

Розой пленен;
В юности страстной
Был я прекрасной
В сеть увлечен.
Нет, я не буду
Впредь воздыхать,
Страсть позабуду:
Полно страдать!
Скоро печали
Встречу конец.
Ах! для тебя ли,
Юный певец,
Прелесть Елены
Розой цветет?..
Пусть весь народ,
Ею прельщенный,
Вслед за мечтой
Мчится толпой;
В мирном жилище,
На пепелище,
В чаше простой
Стану в смиренье
Черпать забвенью
И — для друзей
Резвой рукою
Двигать струною
Арфы моей».

В скучной разлуке
Так я мечтал,
В горести, в муке
Себя услаждал;
В сердце возженный
Образ Елены
Мнил истребить.

Прошлой весною
Юную Хлою
Вздумал любить.
Как ветерочек
Ранней порой
Гонит листочек
С резвой волной,
Так непрестанно
Непостоянный
Страстью играл,
Лилу, Темиру,
Всех обожал,
Сердце и лиру
Всем посвящал. —
Что же? — напрасно
С груди прекрасной
Шаль я срывал.
Тщетны измены!
Образ Елены
В сердце пылал!
Ах! возвратися,
Радость очей,
Хладна, тронися
Грустью моей. —
Тщетно взывает
Бедный певец!
Нет! не встречает
Мукам конец...
Так до могилы
Грустен, унылый,
Крова ищи!
Всеми забытый,
Терном увиты
Цепи влачи...

К ЛИЦИНИЮ

С латинского

Лициний! зришь ли ты? на быстрой колеснице,
Увенчан лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой.
Смотри, как все пред ним усердно спину клонят,
Как ликторов полки народ несчастный гонят.
Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
С покорностью ему умильный мешут взгляд,
Ждут в тайном трепете улыбку, глаз движенья,
Как будто дивного богов благословенья;
И дети малые, и старцы с сединой
Стремятся все за ним и взором, и душой,
И даже след колес, в грязи напечатленный,
Как некий памятник им кажется священный.

О Ромулов народ! пред кем ты пал во прах?
Пред кем восчувствовал в душе столь низкий страх?
Квириты гордые под иго преклонились!
Кому ж, о небеса! кому поработились?
Скажу ль — Ветулию!—Отчизне стыд моей,
Развратный юноша воссел в совет мужей,
Любимец деспота Сенатом слабым правит,
На Рим простер ярем, отечество бесславит!
Ветулий — римлян царь!.. О срам! о времена!
Или вселенная на гибель предана?

Но кто под портиком с руками за спиною,
В изорванном плаще и с нищенской клюкою.
Поникнув головой, нахмурившись идет?
Не ошибаюсь я — философ то Дамет.
«Дамет! куда, скажи, в одежде столь убогой
Средь Рима пышного бредешь своей дорогой?» —

«Куда? не знаю сам. Пустыни я ищу,
Среди разврата жить уж боле не хочу;
Япетовых детей пороки, злобу вижу,
Навек оставлю Рим: я людства ненавижу».

Лициний, добрый друг! не лучше ли и нам,
Отдав поклон мечте, Фортуне, суетам,
Седого стойка примером научиться?
Не лучше ль поскорей со градом распроститься,
Где всё на откупе: законы, правота,
И жены, и мужья, и честь, и красота?
Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая,
Других неопытных в любовну ловит сеть, —
Нам стыдно слабости с морщинами иметь.
Летит от старика любовь в толпе веселий!..
Пускай бесстыдный Клит, вельможей раб
Корнелий,

Оставя ложе сна с запевшим петухом,
От знатных к богачам бегут из дома в дом;
Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода,
Во мне не дремлет дух великого народа.
Лициний! поспешим далеко от забот,
Безумных гордецов, обманчивых красот,
Докучных риторов, парнасских Геростратов;
В деревню перенесем отеческих пенатов.
В тенистой рощице, на берегу морском
Найти нетрудно нам красивый, светлый дом,
Где, больше не страшась народного волнения,
Под старость отдохнем в тиши уединенья,
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Вспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом,
В гремющей сатире порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

О Рим! о гордый край разврата, злодеянья,
Придет ужасный день, день миценья, наказанья:
Предвижу грозного величия конец,
Падет, падет во прах вселенный венец!
Народы дикие, сыны свирепой брани,
Войны ужасной меч прияв в кровавы длани,
И горы, и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим—его покроет мрак глубокий,
И путник, обратив на груды камней око,
Речет задумавшись, в мечтаньях углублен:
«Свободой Рим возрос — а рабством погублен!»

БАТЮШКОВУ

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен,
И светлой Ипокреной
С издетства напоенный,
Под кровом вешних роз,
Поэтом я возрос.

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил,
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
Нескладно хоть играл,
Но музам не сучал.

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,

Ты хочешь, чтобы, славы
Стезею полететь,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лар
Войны кровавый пир.

Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних лар,
И, с дерзостным Икаром
Страшась летать, не даром
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

НАПОЛЕОН НА ЭЛЬБЕ

(1815)

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на западе седой, одетый мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня всё мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоят над могилой —

Я здесь один, мятежной думы полн...
О, скоро ли, напелясь под рулями,
Меня помчит покорная волна,
И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами, луна!
Там ждут меня бсстрашные дружины,
Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнет брань! за галльскими орлами
С мечом в руках победа полетит,
Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я громами
И сокрушу Европы дивный щит!..
Но вокруг меня всё мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...

О счастье! злобный оболъститель,
И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымилась громы вокруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?..

Но туча грозная нависла над Москвою,

И грянул мести гром!..

Полночи царь молодой! ты двигнул ополченья,

И гибель вслед пошла кровавым знаменам,

Отозвалось могущего паденье,

И мир земле, и радость небесам,

А мне — позор и заточенье!

И раздроблен мой звонкий щит,

Не блещет шлем на поле браней;

В прибрежном злаке меч забыт

И тускнет на тумане.

И тихо всё кругом. В безмолвии ночей

Напрасно чудится мне смерти завыванье,

И стук блистающих мечей,

И падших ярое стенанье —

Лишь плещущим волнам внимают жадный слух.

Умолк сражений клик знакомый,

Вражды кровавой гаснут громы,

И факел мщенья потух.

Но близок час! грядет минута роковая!

Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;

Кругом простерта мгла густая,

И, взором гибели сверкая,

Бледнеющий мятеж на палубе сидит.

Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!

Рыдай — твой бич восстал — и всё падет во прах,

Всё сгибнет — и тогда, в всеобщем разрушенье,

Царем воссяду на гробах!»

Умолк. На небесах лежали мрачны тени,

И месяц, дальних туч покинув темны сени,

Дрожащий, слабый свет на запад изливал;

Восточная звезда играла в океане,

И зрелася ладья, бегущая в тумане,

Под сводом эльбских грозных скал.

И Галлия тебя, о хищник, осенила;

Побегли с трепетом законные цари.
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма со-
крыла

Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Всё смолкло... Трепещи! погибель над тобою,
И жребий твой еще сокрыт!

К ПУЩИНУ

(4 мая)

Любезный именинник,
О Пущин дорогой!
Прибрел к тебе пустынный
С открытою душой.
С пришельцем обнимися,
Но доброго певца
Встречать не суетися
С парадного крыльца:
Он гость без этикета,
Не требует привета
Лукавый суеты.
Прими ж его лобзанья
И чистые желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час.
Пускай ума светильник
Погаснет ныне в нас,
Пускай старик крылатый

Летит на почтовых!
Нам дорог миг утраты
В забавах лишь одних.

Ты счастлив, друг сердечный;
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный.
Проходит день за днем,
И ты в беседе граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт.
Под кровом небогатым
Ты вовсе не знаком
С зловецим Гипократом,
С нахмуренным попом;
Не видишь у порогу
Толпящихся забот;
Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот;
Ты любишь звон стаканов
И трубки дым густой,
И демон метроманов
Не властвует тобой.
Ты счастлив в этой доле.
Скажи, чего же боле
Мне другу пожелать?
Придется замолчать...

Дай бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок; наливай!
Веселье! будь до гроба

Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!

К ГАЛИЧУ

Пускай угрюмый рифмотвор,
Повитый маком и крапивой,
Холодных од творец ретивый,
На скучный лад сплетая вздор,
Зовет обедать генерала, —
О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливой,
Под отдаленный неги кров.
Давно в моем уединеньи,
В кругу бутылок и друзей,
Не зрели кружки мы твоей,
Подруги долгих наслаждений,
Острот и хохота гостей.
В тебе трудиться нет охоты.
Садись на тройку злых коней,
Оставь Петрополь и заботы,
Лети в счастливый городок,
Зайди к жиду Золотареву,
В его, всем общий, уголок;
Мы там, собравшись в кружок,
Прольем вина струю багрову,
И с громом двери на замок
Запрет веселье молодое.
И хлынет пиво золотое,
И гордый на столе пирог
Друзей стесненными рядами,
Сверкая светлыми ножами,

С тобою храбро осадим
И мигом стены разгромим;
Когда ж, вином отягощенный,
С главой, в колени преклоненной,
Захочешь в мире отдохнуть
И, опускаясь в подушку,
Дабы спокойнее заснуть,
Уронишь налитую кружку
На старый бархатный диван, —
Тогда послания, куплеты,
Баллады, басенки, сонеты
Покинут скромный наш карман,
И крепок сон ленивца будет!..
Но рюмок звон тебя разбудит,
Ты вскочишь с бодрой головой,
Оставишь смятую подушку,
Подымешь милую подружку —
И в келье снова пир горой.

О Галич, время неозвратно,
И близок, близок грозный час,
Когда, послыша славы глас,
Покину кельи кров приятный,
Татарский сброшу свой халат.
Простите, девственные музы!
Прости, приют младых отрад!
Надены узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я, питомец важных муз,
В числе воюющих корнетов!
О Галич, Галич! поспешай!
Тебя зовут и сон ленивый,
И друг ни скромный, ни спесивый,
И кубок полный через край!

МЕЧТАТЕЛЬ

По небу крадется луна,
На холме тьма седеет,
На воды пала тишина
С долины ветер веет,
Молчит певица вешних дней
В пустыне темной рощи,
Стада почили средь полей,
И тих полет полнощи;

И мирный неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела;
Стоит богов домашних лик
В кивоте небогатом,
И бледный теплится ночник
Пред глиняным пенатом.

Главою на руку склонен,
В забвении глубоком,
Я в сладки думы погружен
На ложе одиноком;
С волшебной ночи темнотой,
При месячном сияньи,
Слетают резвою толпой
Крылатые мечтаньи,

И тихий, тихий льется глас;
Дрожат златые струны.
В глухой, безмолвный мрака час
Поет мечтатель юный;
Исполнен тайною тоской,
Молчаньем вдохновенный,
Летает резвою рукой
На лире оживленной.

Блажен, кто в низкий свой шалаш
В мольбах не просит счастья!
Ему Зевес надежный страж
От грозного ненастья;
На маках лени, в тихий час,
Он сладко засыпает,
И бранных труб ужасный глас
Его не пробуждает.

Пускай, ударя в звучный щит
И с видом дерзновенным,
Мне Слава издали грозит
Перстом окровавленным,
И бранны вьются знамена,
И пышет бой кровавый —
Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за Славой.

Нашел в глуши я мирный кров
И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
Поэту дар бесценный;
И Муза верная со мной:
Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей молодой
До самых врат могилы!
Летай с мечтаньем надо мной,
Расправя легки крылы;
Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом!

И тих мой будет поздний час;
И смерти добрый гений
Шепнет, у двери постучась:
«Пора в жилище теней!..»
Так в зимний вечер сладкий сон
Приходит в мирны сени,
Венчаный маком и склонен
На посох томной лени....

ПОСЛАНЬЕ МОЛОДОЙ АКТРИСЕ

Ты не наследница Клероны,
Не для тебя свои законы
Владелец Пинда начертал,
Тебе не много бог послал:
Твой голосок, телодвиженья,
Немые взоров обращенья
Не стоят, признаюсь, похвал
И шумных плесков удивленья.
Жестокой суждено судьбой
Тебе актрисой быть дурной.
Но, Клоя, ты мила собой.
Тебе во след толпятся смехи,
Сулят любовникам утехи —
Итак, венцы перед тобой,
И несомнительны успехи.

Ты пленным зрителя ведешь,
Когда без такта ты поешь,
Недвижно стоя перед нами,
Поешь и часто невпопад.
А мы усердными руками
Все громко хлопаем; кричат:
«Bravo! bravissimo! чудесно!»
Свистки сатириков молчат,
И все покорствуют прелестной.

Когда в неловкости своей,
Ты сложишь руки у груди,
Или подынешь их и снова
На грудь положишь, застыдясь;
Когда Милона молодого,
Лепеча что-то не для нас,
В любви без чувства уверяешь,
Или без памяти в слезах,
Холодный испуская: *ах!*,
Спокойно в креслы упадаешь,
Краснея и чуть-чуть дыша,
Все шепчут: «Ах! как хороша!»
Увы! другую б освистали;
Велико дело красота.
О Клоя, мудрые солгали:
Не всё на свете суета.

Пленяй же, Клоя, красотою!
Стократ блажен любовник тот,
Который нежно пред тобою
Осмелясь, о любви поет;
В стихах и прозою на сцене
Тебя клянется обожать,
Кому ты можешь отвечать,
Не смея молвить об измене;
Блажен, кто может роль забыть
На сцене с миленькой актрисой,

Жать руку ей, надеясь быть
Еще блаженней за кулисой!

ВОСПОМИНАНИЯ

К Пуцину

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом, пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном угелке,
С Вакхом нежились лениво,
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о, сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали...

И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно —
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.

Убегаем торопливо —
Вмиг исчез минутный страх!
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах,

Хохот чистого веселья,
Неподвижный, тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор.

О друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год, в часы беспечны
Поминать его вином.

К НЕЙ

Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку.
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон;
Скажи, увижу ли... на долгую ль разлуку
Любовник осужден?

Ужели никогда на друга друг не взглянет?
Иль вечной темнотой покрыты дни мои?
Ужели никогда нас утро не застанет
В объятиях любви?

Эльвина, почему в часы глубокой ночи
Я не могу тебя с весельем обнимать,
На милую стремить томленья полны очи
И страстью трепетать?

И в радости немой, в восторгах упоенья
Твой шопот сладостный и томный стон внимать
И тихо в скромной тьме для неги пробужденья
Близ милой засыпать?

ПОСЛАНИЕ К ГАЛИЧУ

Где ты, ленивец мой?
Любовник наслажденья!

Ужель уединенья
Не мил тебе покой?
Ужели мне с тобой
Лишь помощью бумаги
Минуты провождать
И больше не видать
Парнасского бродяги?
На Пинде мой сосед,
И ты от муз укрылся;
Минутный домосед,
С пенатами простился!
Уж темный уголок
И садик опустели,
Где мы под вечерок
За рюмками шумели;
Где Ком нас угощал
Форелью, пирогами,
И пенистый бокал
Нам Бахус подавал.
Бегут за днями дни
Без дружеских собраний;
Веселых пирований
Веселые сыны
С тобой разлучены;
И шумные беседы
И долгие обеды
Не столь оживлены.

Один в каморке тесной
Вечерней тишиной
Хочу, мудрец любезный,
Беседовать с тобой.
Уж темна ночь объемлет
Брега спокойных вод;
Мурлыча, в келье дремлет
Спесивый, старый кот.

Покамест сон прелестный,
Под сенью тихих крил,
В обители безвестной
Меня не усыпил,
Морфея в ожиданье
В постеле я лежу
И беглое посланье
Без строгого старанья
Предателю нишу.
Далече той станицы,
Где Фебовы сестрицы
Мне с негой вьют досуг,
Скажи — среди столицы
Чем занят ты, мой друг?
Ужель приют поэта
Теперь средь вихря света,
Вдали родных полей
И ближних, и друзей?
Ужель в театре шумном,
Где дюжий Аполлон
Партером полуумным
Прославлен, оглушен,
Измученный напевом
Бесмысленных стихов,
Ты спишь под страшным ревом
Актеров и смычков?
Или, мудрец придворный,
С улыбкою притворной
Пред лентою цветной
Поникнув головой,
С вертушкою слепой
Знакомиться желаешь?
Иль Креза за столом
В куплете заказном
Трусливо величаешь?..
Нет, добрый Галич мой!

Поклону ты не сроден.
Друг мудрости прямой
Правдив и благороден,
Он любит тишину;
Судьбе своей послушный,
На барскую казну
Взирает равнодушно,
Рублям откупщика
Смеясь веселым часом,
Не снимет колпака
Философ пред Мидасом.
Пускай не дружен он
С Фортуною коварной,
Но Вакхом награжден
Философ благодарный,
Когда сей бог молодой,
Вечернею порой,
Лафит и грог янтарный
С улыбкой на устах
В стекле ему подносит
И каплю выпить просит,
Качаясь на ногах.
Мечтанье обнимая,
Любовь его ведет,
И дружба молодая
Венки ему плетет.
И счастлив он, признаться,
На деле, не в мечтах,
Когда минуты мчатся
Веселья на крылах;
Когда друзья-поэты
С утра до ночи с ним
Шумят, поют куплеты,
Пьют *мозель* разогретый,
Прятелям своим
Послания читают

И трубку разжигают
Безрифминым лихим!..
Оставь же город скучный,
С друзьями съединись
И с ними неразлучно
В пустыне уживись.
Беги, беги столицы,
О Галич мой, сюда!
Здесь розовой денницы
Не видя никогда,
Ленясь под одеялом,
С тибурским мудрецом
Мы часто за бокалом
Проснемся — и заснем.
Смотри: тебе в награду
Наш Дельвиг, наш поэт,
Несет свою балладу,
И стансы винограду,
И к лилии куплет;
И полон становится
Твой малый, тесный дом;
Вот с милым остряком
Наш песельник тащится
По лестнице с гудком,
И все к тебе нагрянем —
И снова каждый день
Стихами, прозой станем
Мы гнать печали тень.
Подруги молодые
Нас будут посещать;
Нам жизни дни златые
Не страшно расточать.
Поделится с забавой
Мы веком остальным,
С волшебницею-славой
И с Вакхом молодым.

МОЯ ЭПИТАФИЯ

Здесь Пушкин погребен; он с Музой молодою,
С любовью, ленью провел веселый век,
Не делал доброго — однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

К ДЕЛЬВИГУ

Послушай, муз невинных
Лукавый духовник!
Жилец полей пустынных,
Поэтов грешный лик
Умножил я собою,
И я главой поник
Пред милою мечтою;
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал.
Сначала я шалил,
Шутя стихи кроил,
А там их напечатал —
И вот теперь я брат
Бестолкову пустому,
Тому, сему, другому,
Да я ж и виноват!

Спасибо за посланье —
Но что мне пользы в том?
На грешника потом
Ведь станут в посмеянье
Указывать перстом!
Изменник! с Аполлоном
Ты, видно, заодно;
А мне прослыть Прадоном

Отныне суждено.
Везде беды застану!
Увы, мне, метроману,
Куда сокроюсь я?
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тиснению предают —
Бумагу убивают!
Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Ах! сударь, — мне сказали —
Вы пишете стишки,
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Иль тихий ветерочек,
И рощи, и цветки...»

О Дельвиг! Начертали
Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
В объятиях Морфея
Беспечный дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться,
Я, право, неги сын!
А там, хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон;
И буду принужден
С журналами сражаться,

С газетой торговаться,
С Графовым восхищаться...
Помилуй, Аполлон!

РОЗА

Где наша роза?
Друзья мои!
Увяла роза,
Дитя зари!
Не говори:
Вот жизни младость,
Не повтори:
Так вянет радость,
В душе скажи:
Прости! жалею...
И на лилею
Нам укажи.

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ИЗ ПАРИЖА В 1815 ГОДУ

Утихла брань племен; в пределах отдаленных
Не слышен битвы шум и голос труб военных;
С небесной высоты, при звуке стройных лир,
На землю мрачную нисходит светлый мир.
Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славной
цели!

Вотще надменные на родину летели;
Вотще, впереди знамен бесчисленных дружин
В могущей дерзости венчанный исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!
Звезда губителя потухла в вечной мгле,

И пламенный венец померкнул на челе!
Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою,
Он землю русскую не взвидел под собою.
Бежит... и мести гром слетел ему вослед;
И с трона гордый пал... и вновь восстал... и нет!
Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки врагов покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,
Колена преклонив пред вышним алтарем,
Ты браней меч извлек и клятву дал святую
От ига оградить страну свою родную.
Мы вняли клятве сей; и гордые сердца
В восторге пламенном летели вслед отца
И смертью роковой горели и дрожали;
И россы пред врагом твердыней грозной стали!..
«К мечам!» раздался клик, и вихрем понеслись;
Знамена, восшумев, по ветру развились;
Обнялся с братом брат; и милым дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились. Воспылал свободы ярый бой,
И смерть хватала их холодною рукой!..
А я.. вдали громов, в сени твоей надежной...
Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..
Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом на утре не почил?
Почто великих дел свидетелем не был?
О, сколь величествен, бессмертный, ты явился,
Когда на сильного с сынами устремился,
И, челы приподняв из мрачности гробов,

Народы, падшие под бременем оков,
Тяжелой цепью с восторгом потрясали
И с робкой радостью друг друга вопрошали:
«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..
Кто смелый? Кто в громах на севере восстал?..»
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобожденною от рабских уз рукой,
И власть мятежная исчезла пред тобой!

И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился.
И край полуночи восторгом озарился!
Склони на свой народ смиренья полный взгляд —
Все лица радостью, любовью блещут.
Внемли — повсюду весть отрадная несется,
Повсюду гордый клик веселья раздается;
По стогам шум, везде сияет торжество,
И ты среди толпы, России божество!
Встречать вождя побед летят твои дружины.
Старик, счастливый век забыв Екатерины,
Взирает на тебя с безмолвною слезой.
Ты наш, о русский царь! оставь же шлем стальной
И грозный меч войны, и щит — ограду нашу.
Излей пред Янусом священну мира чашу,
И, брани сокрушив могущею рукой,
Вселенну осени желанной тишиной!..
И придут времена спокойствия златые,
Покроет племь ржа, и стрелы каленые,
В колчанах скрытые, забудут свой полет;
Счастливый селянин, не зная бурных бед,
По нивам повлечет плуг, миром изощренный;
Суда летучие, торговлей окриленны,
Кормами рассекут свободный океан,
И юные сыны воинственных славян
Спокойной праздности с досадой предадутся,
И молча некогда вокруг старца соберутся,

Преклонят жадный слух, и ветхим костылем
И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом
На прахе начертит он медленно пред ними,
Словами истины, свободными, простыми,
Им славу прошлых лет в рассказах оживит
И доброго царя в слезах благословит.

* * *

Итак я счастлив был, итак я наслаждался,
Отрадой тихую, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вокруг меня угрюмой скуки тень!..

СЛЕЗА

Вчера за чашей пуншевою
С гусаром я сидел,
И молча с мрачною душою
На дальний путь глядел.

«Скажи, что смотришь на дорогу? —
Мой храбрый спросил. —
Еще по ней ты, слава богу,
Друзей не проводил».

К груди поникнув головою,
Я скоро прошептал:
«Гусар! уж нет ее со мною!..» —
Вздохнул — и замолчал.

Слеза повисла на реснице
И канула в бокал.

«Дитя, ты плачешь о девице,
Стыдись!» — он закричал.

«Оставь, гусар! ох! сердцу больно —
Ты, знать, не горевал,
Увы! одной слезы довольно,
Чтоб отравить бокал!..»

* * *

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

К БАР. М. А. ДЕЛЬВИГ

Вам восемь лет, а мне семнадцать било.
И я считал когда-то восемь лет;
Они прошли. — В судьбе своей унылой,
Бог знает как, я ныне стал поэт.
Не возвратить уже того, что было,
Уже я стар, мне незнакома ложь:
Так верьте мне — мы спасены лишь верой.
Послушайте: Амур, как вы, хорош:
Амур дитя, Амур на вас похож —
В мои лета вы будете Венерой.

Но если только буду жив,
Всевышней благостью Зевеса,
И столько же красноречив —
Я напишу вам, баронесса,
В латинском вкусе мадригал,
Чудесный, вовсе без искусства —
Не много истинных похвал,
Но много истинного чувства.

Скажу я: «Ради ваших глаз,
О баронесса! ради балов,
Когда мы все глядим на вас,
Взгляните на меня хоть раз
В награду прежних мадригалов».
Когда ж Амур и Гименей
В прелестной Марии моей
Поздравяг молодую даму,
Удастся ль мне, под старость дней,
Вам посвятить эпиталаму?

МОЕМУ АРИСТАРХУ

Помилуй, трезвый Аристарх,
Моих бахических посланий,
Не осуждай моих мечтаний
И чувства в ветреных стихах.
Плоды веселого дэсуга,
Не для бессмертия они
На свет небрежно рождены,
Но право для меня, для друга,
Или для Хлои молодой.
Помилуй, сжался надо мной!
Я знаю сам свои пороки.
Не нужны мне твои уроки.
Конечно, беден гений мой:
За рифмой часто холостой,
На зло законам сочетанья,
Бегут трестопные толпой
На *аю*, *ает* и на *ой*.
Еще немногие признанья:
Я ставлю (кто же без греха?)
Пустые часто восклицанья
И сряду плоских три стиха.
Нехорошо, но оправданья
Нельзя ли скромно принести?

Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?
Не думай, цензор мой угрюмый,
Что я, беснуясь по ночам,
Окован стихотворной думой,
Покою жертвую стихам,
Что, бегая по всем углам,
Ерошу волосы клоками,
Подобно Фебовым жрецам
Сверкаю грозными очами,
Едва дыша, нахмуря взор,
И засветив потом лампаду,
За шаткий стол кряхтя засяду,
Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу — трестопный вздор...
Так пишет (молвить не в укор)
Конюший дряхлого Пегаса,
Свистов, Хлыстов или Графов,
Служитель отставной Парнаса,
Родитель стареньких стихов
И од не слишком громозвучных,
И сказочек довольно скучных.

Люблю я праздность и покой,
И мне досуг совсем не бремя,
И есть и пить найду я время.
Когда ж нечаянной порой
Стихи кропать найдет охота,
На славу дружбы иль Эрота,
Я мигом труд окончу свой.
Сижу ли с добрыми друзьями,
Лежу ль в постеле пуховой,
Брожу ль над тихими водами
В дубраве темной и глухой,
Задумаюсь — взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю

И никого уж не морю
Моими резвыми стихами...
Но ежели когда-нибудь,
Желая в неге отдохнуть,
Расположась перед камином,
Один, свободным господином,
Поймаю прежню мысль мою,
То не для имени поэта
Мараю два иль три куплета
И их вполголоса пою.

Но знаешь ли, о мой гонитель,
Как я беседую с тобой?
Беспечный Пинда посетитель,
Я с музой нежусь молодой...
Уж утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели петухи;
В полглаза дремля и зевая,
Шапеля в песнях призывая,
Пишу короткие стихи,
Среди приятного забвенья
Склоняясь в подушку головой,
И в простоте, без принужденья,
Мои слагаю извиненья
Немного сонною рукой.
Под сенью лени неизвестной
Так нежился певец прелестный,
Когда Вер-Вера воспевал,
Или с улыбкой рисовал
Веселья в резвом упоеньи
Уединенный свой чердак.
В таком ленивом положеньи
Стихи текут и так и сяк.
Возможно ли в свое творенье
Тогда вперять холодный ум,

Уняв веселых мыслей шум,
Отделкой портить небылицы
И сокращать свои страницы?

Анакреон, Шолье, Парни,
Враги труда, забот, печали,
Не так, бывало, в прежни дни
Своих любовниц воспевали.
О вы, любезные певцы,
Сыны беспечности ленивой!
И мне готовятся венцы
От музы праздности счастливой,
Но не блестящие дары
Поэзии трудолюбивой.
На верх фессальския горы
Вели вас тайные извивы;
И милых граций перст игривый
Младые лиры оживлял,
И ваши челы обвивал
Веселий, смехов рой шутиливый.
И я, неопытный поэт,
Небрежный ваших рифм наследник,
За вами крадуся вослед...

А ты, мой скучный проповедник,
Смири жестокий вкуса гнев!
Поди, кричи, брани другого
И брось ленивца молодого,
Об нем тихонько пожалев.

ТЕНЬ ФОНВИЗИНА

В раю, за грустным Ахероном,
Зевая, в рощице густой,
Творец любимый Аполлоном
Увидеть вздумал мир земной.

То был писатель знаменитый,
Известный русский весельчак,
Насмешник, лаврами повитый,
Денис — невежде бич и страх.
«Позволь на время удалиться, —
Владыке ада молвил он; —
Постыл мне мрачный Флегетоп,
И к людям хочется явиться». —
«Ступай!» — в ответ ему Плутон;
И видит он перед собою:
В ладье с мелькающей толпою
Гребет наморщенный Харон
Челнок ко берегу; с подорожной
Герой поплыл в ладье порожной
И вот — выходит к нам на свет.
Добро пожаловать, поэт!

Мертвец в России очутился,
Он ищет новости какой,
Но свет ни в чем не пременялся,
Всё идет той же чередой;
Всё так же люди лицемерят,
Всё те же песенки поют,
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут
И мучат смертных лекаря,
Спокойно спят архиереи;
Вельможи, знатные злодеи
Смеясь в бокалы льют вино,
Невинных жалобы не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют.
Склоняясь на красное сукно:
Всё столько ж трусов и нахалов,

Рублевых столько же Киприд,
И столько ж глупых генералов,
И столько ж старых волокит.

Вздыхнул Денис: «О боже, боже!
Опять я вижу то ж да то же.
Передних грозный Демосфен.
Ты прав, оратор мой Петрушка:
Весь свет бездельная игрушка,
И нет в игрушке перемен.
Но где же братии-поэты,
Мои парнасские клеветы,
Питомцы граций молодых?
Желал бы очень видеть их».

Небес оставя светлы сени,
С крылатой шапкой набекрене,
Богов посланник молодой
Слетает вдруг к нему стрелой.
«Пойдем, — сказал Эрмий поэту. —
Я здесь твоим проводником,
Сам Феб меня просил о том;
С тобой успеем до рассвету
Певцов российских посетить,
Иных — лозами наградить,
Других — венком увить свирели». —
Сказал, взвились и полетели.

Уже сокрылся ясный день,
Уже густела мрачна тень,
Уж вечер к ночи уклонялся,
Мелькал в окошки лунный свет,
И всяк, кто только не поэт,
Морфею сладко предавался.
Эрмий с веселым мертвецом
Влетели на чердак высокий;

Там Кропов в тишине глубокой
С бумагой, склянкой и пером
Сидел в раздумье за столом
На стуле ветхом и треногом
И площадным, раздутым слогом
На наши смертные грехи
Ковал и прозу и стихи. —
Кто он? — издатель «Демокрита»!
Издатель право пресмешной,
Не жаждет лавров он пиита,
Лишь был бы только пьян порой.
Стихи читать его хоть тяжко,
А проза, ох! горька для всех;
Но что ж? смеяться над бедняжкой —
Ей-богу, братец, страшный грех;
Не лучше ли чердак оставить,
И далее полет направить
К певцам российским записным?
«Быть так, Меркурий, полетим». —
И оба путника пустились,
И в две минуты опустились
Хвостову прямо в кабинет.
Он не спал, добрый наш поэт,
Унизывал на случай оду,
Как божий мученик кряхтел,
Чертил, вычеркивал, потел,
Чтоб стать посмешищем народу.
Сидит; перо в его зубах,
На ленте анненской табак,
Повсюду разлиты чернила,
Сопит себе Хвостов унылый.
«Ба! в полночь кто катит ко мне?
Не брежу, полно ль, я во сне!
Что случилось с бедной головою!
Фонвизин! ты ль передо мною?
Помилуй! ты... конечно он!» —

«Я, точно я, меня Плутон
Из мрачного теней жилища
С почетным членом адских сил
Сюда на время отпустил.
Хвостов! старинный мой дружище!
Скажи, как время ты ведешь?
Здорово ль, весело ль живешь?» —
«Увы! несчастному поэту, —
Нахмурясь отвечал Хвостов, —
Давно ни в чем удачи нету.
Скажу тебе без дальних слов:
По мне с парнасского задору
Хоть удавись — так в ту же пору.
Что я хорош, в том клясться рад,
Пишу, пою на всякий лад;
Хвалили гений мой в газетах,
В «Аспазии» боготворят.
А всё последний я в поэтах,
Меня бранит и стар и млад,
Читать стихов моих не хотят,
Куда ни сунусь, всюду свист —
Мне враг последний журналист,
Мальчишки надо мной хохочут.
Анастасевич лишь один —
Мой верный крестник, чтец и сын —
Своею прозой уверяет,
Что истукан мой увенчает
Потомство лавровым венцом.
Никто не думает о том.
Но я — поставлю на своем.
Пускай мой перукумахер снова
Завьет у бедного Хвостова
Его поэмой заказной
Волос остаток уж седой;
Геройской вооружась отвагой,
И жизнь я кончу над бумагой

И буду в аде век писать
И притчи дьяволам читать».
Денис на то пожал плечами;
Курьер богов захохотал
И, над свечей взмахнув крылами,
Во тьме с Фонвизиним пропал.
Хвостов не слишком изумился,
Спокойно свечку засветил —
Вздыхнул, зевнул, перекрестился,
Свой труд заканчивать пустился.
Поутру оду смастерил
И ею город усыпил.

Меж тем поклон отдав Хвостову,
Творец, списавший Простакову,
Три ночи в мрачных чердаках,
В больших и малых городах,
Пугал российских стиходеев.
В своем *Бюскете* князь Шальной
Краса писателей-Морфеев
Сидел за книжкой записной,
Рисуя в ней цветки, кусточки;
И, движа вздохами листочки,
Мочил их нежною слезой;
Когда же призрак столь чудесный
Очам влюбленного предстал, —
За платье ухватясь любезной,
О страх! он в обморок упал.

И ты, славяно-росс надутый,
О Безглагольник пресловутый,
И ты едва не побледнел,
Как будто от Шишкова взгляда;
Из рук упала *Петриада*,
И дикий взор оцепенел.

И ты, попами воскормленный,
Дьячком псалтыре обученный,
Ужасный критикам старик!
Ты видел тени грозный лик,
Твоя невинная другиня,
Уже поблекший цвет певиц,
Вралих Петрополя богиня
Пред ним со страхом пала ниц.

И ежемесячный вздыхатель,
Что в свет бесстыдно издает
Кокетки старой кабинет,
Безграмотный школяр-писатель
Был строгой тенью посещен;
Не спас ребенка Купидон;
Блюститель чести муз усердный
Его журил немилосердно
И уши выдрал бедняка;
Страшна Фонвизина рука.

«Довольно! нет во мне охоты, —
Сказал он, — у худых писцов
Лишь время тратить: от зевсты
Я снова умереть готов;
Но где певец Екатерины?» —
«На берегах поет Невы». —
«Итак, стигийския долины
Еще не видел он?» — «Увы!» —

«Увы? скажи, что значит это?» —
«Денис! полнощный лавр отцвел,
Прошла весна, прошло и лето,
Огонь поэта охладел;
Ты всё увидишь сам собою;
Слетим к певцу под сединою
На час послушать старика».

Они летят, и в три мига
Среди разубранной светлицы
Увидели певца Фелицы.
Почтенный старец их узнал.
Фонвизин тотчас рассказал
Свои в том мире похождения.
«Так ты здесь в виде привиденья?.. —
Сказал Державин, — очень рад;
Прими мои благословенья... —
Брысь, кошка!.. сядь, усопший брат;
Какая тихая погода!..
Но кстати, вот на славу ода, —
Послушай, братец», — и старик,
Покашляв, почесав парик,
Пустился петь свое творенье,
Статей библейских предложение.
То был из гимнов гимн прямой.
Чета бесплотных в удивленье
Внимала молча песнопенье,
Поникнув долу головой:

«Открылась тайн священных дверь...
Из бездн исходит Луцифер,
Смиренный, но челоперунный.
Наполеон! Наполеон!
Париж, и новый Вавилон,
И кроткий агнец белорунный,
Превосходясь, как дивий Гог,
Упал как дух Сатанаила,
Исчезла демонская сила!..
Благословен господь наш бог!»...

«Ого! — насмешник мой воскликнул, —
Что лучше эдаких стихов?
В них смысла сам бы не проникнул
Покойный господин Бобров;

Что сделалось с тобой, Державин?
И ты судьбой Невтону равен,
Ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь...
Пойдем, Меркурий, сердцу больно;
Пойдем, бешуся я невольню. —
И мигом отлетел он прочь.

«Какое чудное явление!» —
Фонвизин спутнику сказал.
«Оставь пустое удивление, —
Эрмий с усмешкой отвечал. —
На Пинде славный Ломоносов
С досадой некогда узрел,
Что звучной лирой в сонме россов
Татарин бритый возгремел,
И гневом Пиндар Холмогера
И тайной завистью горел,
Но Феб услышал глас укора,
Его покоить захотел,
И спотыкнулся мой Державин,
Апокайпсис предложить —
Денис! он вечно будет славен,
Но, ах, почто так долго жить?» —

«Пора домой, — вещал Эрмию
Ужасный рифмачам мертвец, —
Оставим наскоро Россию,
Бродить устал я наконец».
Но вдруг близ мельницы стучащей
Средь рощи сумрачной, густой,
На берегу реки шумящей
Шалаш является простой:
К калитке узкая дорога;
В окно склонился древний клен
И Фальконетов Купидон
Грозит с усмешкой у порога.

«Конечно здесь живет певец, —
Сказал обрадуясь мертвец. —
Взойдем!» Взошли и что ж узрели?
В приятной неге, на постеле
Певец пенатов молодой
С венчанной розами главой,
Едва прикрытый одеялом,
С прелестной Лилою дремал
И подрумяненный фиалом
В забвенье сладостном шептал. —
Фонвизин смотрит изумленный.
«Знакомый вид; но кто же он?
Уж не Парни ли несравненный,
Иль Клейст? иль сам Анакреон?»
«Он стоит их, — сказал Меркурий. —
Эрата, грации, амуры
Венчали миртами его,
И Феб цевницею златою
Почтил любимца своего;
Но лени связанный уздою,
Он только пьет, смеется, спит
И с Лилой нежится молодою,
Забыв совсем, что он пиит». —
«Так я же разбужу повесу», —
Сказал Фонвизин рассердясь,
И вмиг отдернул занавесу.
Певец, услыша вещий глас,
С досадой, весь в пуху проснулся,
Лениво руку протянул,
На свет насилу проглянул,
Потом в сторонку обернулся
И снова крепким сном заснул.
Что делать нашему герою?
Повесья нос, итти к покою
И только про себя ворчать.
Я слышал будто бы с досады

Бранил он русских без пощалы
И вот изволил что сказать:
«Когда Хвостов трудиться станет,
А Батюшков спокойно спать,
Наш гений долго не восстанет
И дело не пойдет на лад».

ГРОБ АНАКРЕОНА

Всё в таинственном молчаньи,
Холм оделся темнотою,
Ходит в облачном сияньи
Полумесяц молодой.
Темных миртов занавеса
Наклонилася к водам;
В их сени, у входа леса,
Чью гробницу вижу там?
Розы юные алеют
Камня древнего кругом,
И зефиры их не смеют
Свеять трепетным крылом.
Вижу: лира над могилой
Дремлет в сладкой тишине,
Лишь порою звон унылый,
Будто лени голос милый,
В мертвой слышится струне.
Вижу: горлица на лире,
В розах кубок и венец...
Други, други! в вечном мире
Здесь теосский спит мудрец.
Посмотрите: на гробнице
Сын отрад изображен.
Здесь на ветреной цевнице
Резвый наш Анакреон,
Красотой очарованный,
Нежно гимны ей поет,

Виноградом увенчанный,
В чашу сок его льет.
Здесь он в зеркало глядится,
Говоря: «Я сед и стар.
Жизнью дайте ж насладиться —
Жизнь, увы! не вечный дар!..»
Здесь на лиру кинув длани
И нахмуря важно бровь,
Хочет петь он бога брани,
Но поет одну любовь.
Здесь готовится природе
Тяжкий долг он заплатить;
Старый пляшет в хороводе,
Жажду просит утолить.
Вкруг философа седого
Девы пляшут и поют;
Он у времени скупого
Крадет несколько минут.
Вот и музы, и хариты
В гроб любимца увели,
Плющем, розами повиты,
Игры, смехи вслед ушли,
Он исчез, как наслажденье,
Как невнятный вздох любви.
Смертный! век твой — сновиденье:
Счастье резвое лови,
Наслаждайся! наслаждайся!
Чаще кубок наливай,
Страстью нежной утомляйся,
А за чашей отдыхай!

СРАЖЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Последним сияньем за лесом горя,
Вечерняя тихо потухла заря,
Безмолвна долина глухая:

В тумане пустынном клубится река,
Ленивой грядою идут облака,
И с ими луна золотая.

Чугунные латы на холме лежат,
Копье раздробленно, в перчатке булат,
И щит под шоломом заржавым,
Вонзились шпоры в увлажненный мох,
Лежат неподвижно, и месяца рог
Над ними в блистанье кровавом.

Вкруг холма обходит друг сильного—конь;
В очах горделивых померкнул огонь,
Он бранную голову клонит.
Беспечным копытом бьет камень долин,
И смотрит на латы конь верный один,
И дико трепещет, и стонет.

Во тьме заблудившись, пришелец идет,
С надеждою робость он в сердце несет;
Склонясь над дорожной клюкою,
На холм он взобрался, и в тусклую даль
Он смотрит, и сходит, и звонкую сталь
Толкает усталой ногою.

Хладеет пришелец — кольчуги звучат,
Погибшего грозно в них кости стучат,
По камням шолом покатился,
Скрывался в нем череп... При звуке глухом
Заржал конь ретивый — скок лётном на холм—
Взглянул... и главою склонился.

Уж путник далече в тьме бродит ночной,
Всё мнится, что кости хрустят под ногой...
Но утро денница выводит;
Сраженный во брани на холме лежит,
И латы недвижны, и шлем не стучит,
И конь вкруг погибшего ходит.

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

(ДРУЗЬЯМ)

Хочу я завтра умереть
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью полететь...
Прости навек, очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приблизьтесь, о друзья мои,
Благоговенье и вниманье!
Певец решился умереть.
Итак, с вечернею луною,
В саду нельзя ли дерн одеть
Узорной белой пеленою?
На темный берег сонных вод,
Где мы вели беседы наши,
Нельзя ль, устроив длинный ход,
Нести наполненные чаши?
Зовите на последний пир
Спесивой Семелеи сына,
Эрота, друга наших лир,
Богов и смертных властелина.
Пусть веселье прибежит,
Махая резвою гремушкой,
И нас от сердца рассмешит
За полной пенистою кружкой.
Пусть игривою толпой
Слетят родные наши музы;
Им первый кубок круговой,
Друзья! священны нам их узы.
До ранней утренней звезды,
До тихого лучей рассвета
Не выйдут из руки поэта
Фиалы братской череды...
В последний раз мою цевницу.

Мечтаний сладостных певицу,
Прижму к восторженной груди.
В последний раз, томимый нежно,
Не вспомню вечность и друзей;
В последний раз на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней!

Когда ж восток озолотится
Во тьме денницей молодой,
И белый топол озарится,
Покрытый утренней росой,
Подайте грозд Анакреона:
Он был учителем моим,
И я сойду путем одним
На грустный берег Ахерона.
Простите, милые друзья,
Подайте руку, до свиданья,
И дайте, дайте обещанье,
Когда навек укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.
Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Гемиру,
Тебе дарю я лень и лиру;
Да будут музы над тобой...
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пущин, ветренный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, ей!..

На тихий праздник погребенья
Я вас обязан пригласить:

Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить...
Стекитесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец;
*«Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона».*

ПОСЛАНИЕ К ЮДИНУ

Ты хочешь, милый друг, узнать
Мои мечты, желанья, цели
И тихий глас простой свирели
С улыбкой дружества внимать.
Но можно ль резвому поэту,
Невольнику мечты младой,
В картине быстрой и живой
Изобразить в порядке свету
Всё то, что в юности златой
Воображение мне кажет?

Теперь, когда в покое лень,
Укрыв меня в пустыню сень,
Своею цепью чувства вяжет,
И век мой тих, как ясный день,
Пустого неги украшенья
Не видя в хижине моей,
Смотрю с улыбкой сожаленья
На пышность бедных богачей.
И, счастливый самим собою,
Не жажду горы серебра,
Не знаю *завтра*, ни *вчера*,
Доволен скромною судьбою

И думаю: «К чему певцам
Алмазы, яхонты, топазы,
Порфирные пустые вазы,
Драгие куклы по углам?
К чему им сукны Альбиона
И пышные чехлы Лиона
На модных креслах и столах,
И ложе шалевое в спальней?
Не лучше ли в деревне дальней,
Или в смиренном городке,
Вдали столиц, забот и грома,
Укрыться в мирном уголке,
С которым роскошь незнакома,
Где можно в праздник отдохнуть!»
О, если бы когда-нибудь
Сбылись поэта сновиденья!
Ужель отрад уединенья
Ему вкушать не суждено?
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона.
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона,
И глухо тополы шумят.
Туда с зарею поспешаю
С смиренным заступом в руке,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утреннем труде;
Вот здесь под дубом наклоненным,

С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах.
Вблизи ручей шумит и скачет,
И мчится в влажных берегах,
И светлый ток с досадой прячет
В соседних рощах и лугах.
Но вот уж полдень. В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
Соседи шумною толпою
Взошли, прервали тишину,
Садятся: чаш внимаем звуку:
Все хвалят Вакха и Помону
И с ними красную весну...

Вот кабинет уединенный,
Где я, Москвою утомленный,
Вдали обманчивых красот,
Вдали нахмуренных забот
И той волшебницы лукавой,
Которая весь мир вертит,
В трубу немолчную гремит,
И, помнится, зовется Славой —
Живу с природной простотой,
С философической забавой
И с Музой резвой и младой...
Вот мой камин; под вечер темный,
Осенней бурною порой,
Люблю под сению укромной
Пред ним задумчиво мечтать,
Вольтера, Виланда читать,
Или в минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потом свои творенья.

Вот здесь... но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают,
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре.
Меж тем, как в келье молчаливой
Во плен отдался я мечтам,
Рукой беспечной и ленивой
Разбросив рифмы здесь и там,
Я слышу топот, слышу ржанье.
Блеснув узорным чепраком,
В блестящем ментии сиянье
Гусар промчался под окном...
И где вы, мирные картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты,
Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым казаком
Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската...
Трепещет бранью грудь моя,
При блеске бранного булата,
Огнем пылает взор, и я
Лечу на гибель супостата.
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком —
С размаха сыплются удары.
О вы, отеческие лары,
Спасите юношу в боях!
Там свищет саблей он зубчатой,
Там кивер зыблется пернатый;
С черкесской буркой на плечах,

И молча преклонясь ко гриве,
Он мчит стрелой по скользкой ниве
С цыгарой дымною в зубах...

Но лаврами побед увиты,
Бойцы из чаши мира пьют.
Военной славою забытый,
Спешу в смиренный свой приют,
Нашед на поле битв и чести
Одни болезни, костыли,
Навек оставил саблю мести...
Уж вижу в сумрачной дали
Мой тесный домик, рощи темны,
Калитку, садик, ближний пруд,
И снова я, философ скромный,
Укрылся в милый мне приют
И, мир забыв и им забвенный,
Покой души вкушаю вновь...

Скажи, о сердцу друг бесценный,
Мечта ль и дружба и любовь?
Доселе в резвости беспечной
Брели по розам дни мои;
В невинной ясности сердечной
Не знал мучений я любви,
Но быстро день за днем умчался;
Где ж детства ранние следы?
Прелестный возраст миновался,
Увяли первые цветы!
Уж сердце в радости не бьется
При милом виде мотылька,
Что в воздухе кружит и вьется
С дыханьем тихим ветерка,
И в беспокойстве непонятном
Пылаю, тлею, кровь горит,
И всё языком, сердцу внятным,

О нежной страсти говорит...
Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая <Сушкова>?
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый:
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой.
То на конце аллеи темной
Вечерней, тихою порой,
Одну, в задумчивости томной,
Тебя я вижу пред собой,
Твой шалью стан не покровенный,
Твой взор, на груди потупленный,
В щеках любви стыдливый цвет...
Всё тихо; брезжит лунный свет;
Нахмурясь топол шевелится,
Уж сумрак тусклой пеленой
На холмы дальние ложится,
И завес рощицы струится
Над тихо-спящею волной,
Осеребренною луной.
Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склоняясь,
Стоишь под ивою густою,
И ветер сумраков, резвясь,
На снежну грудь прохладой дует,
Играет локоном власов
И ногу стройную рисует
Сквозь белоснежный твой покров...
То часом полночи глубоким,
Пред теремом твоим высоким,
Угрюмой зимнею порой,
Я жду красавицу драгую —
Готовы сани; мрак густой;

Всё спит, один лишь я тоскую,
Зову часов ленивый бой...
И шорох чудится глухой,
И вот уж шопот слышу сладкий,
С крыльца прелестная сошла,
Чуть-чуть дыша, идет украдкой,
И дева друга обняла.
Помчались кони, вдаль пустились,
По ветру гривы распустились,
Несутся в снежной глубине;
Прижалась робко ты ко мне,
Чуть-чуть дыша; мы обомлели,
В восторгах чувства онемели...
Но что! мечтанья отлетели!
Увы! я счастлив был во сне...

В отрадной музам тишине
Простыми звуками свирели,
Мой друг, я для тебя воспел
Мечту, молодых певцов удел.
Питомец муз и вдохновенья,
Стремясь фантазии вослед,
Находит в сердце наслажденья
И на пути грозящих бед.
Минуты счастья золотые
Пусть мне Клофо не совет;
В мечтах все радости земные!
Судьбы всемогущее поэт.

К ЖИВОПИСЦУ

Дитя харит и воображенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши;

Красу невинности небесной,
Надежды робкия черты,
Улыбку душеньки прелестной
И взоры самой красоты.

Вкруг тонкого Гебеи стана
Венерин пояс повяжи,
Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи.

Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь,
Чтоб и под ним она дышала,
Хотела тайно вздохнуть.

Представь мечту любви стыдливой,
И той, которою дышу,
Рукой любовника счастливой
Внизу я имя подпишу.





1816

* * *

Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым.
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под косою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель — лекарем моим.

УСЫ

Философическая ода

Глаза скосив на ус кудрявый,
Гусар с улыбкой величавой
На палец завитки мотал;
Мудрец с обритой бородою,
Качая тихо головою,
Со вздохом усачу сказал:

«Гусар! всё тленно под луною;
Как волны следом за волною,
Проходят царства и века.
Скажи: где стены Вавилона?»

Где драмы тощие Клеона?
Умчала всё времен река.

За уши ус твой закрученный,
Вином и ромом окропленный,
Гордится юной красотой,
Не знает бритвы, выписною
Он вечно лоснится сурьюмою,
Расправлен гребнем и рукой.

Чтобы не смять уса лихого,
Ты к ночи одою, Хвостова
Его тихонько обвернешь,
В подушку носом лечь не смеешь,
И в крепком сне его лелеешь,
И утром вновь его завьешь.

На долгих ужинах веселых,
В кругу гусаров поседелых
И черноусых удалцов,
Веселый гость, любовник пылкий,
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавиц и усов.

Сраженья страшный час настанет,
В ряды ядро со треском грянет;
А ты, над ухарским седлом,
Рассудка, памяти не тратишь:
Сперва кудрявый ус ухватишь,
А саблю верную потом.

Окованный волшебной силой,
Наедине с красоткой милой
Ты маешься — одной рукой,
В восторгах неги сладострастной,
Блуждаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

Гордись, гусар! но помни вечно,
Что всё на свете скоротечно —
Летят губительны часы!
Румяны щеки пожелтеют,
И черны кудри поседеют,
И старость выщиплет усы».

ИЗ ПИСЬМА К КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже... стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом,
И над славенскими глупцами
Смеется русскими стихами.
Блажен, кто шумную Москву
Для хижинки не покидает...
И не во сне, а наяву
Свою любовницу ласкает!..

ИЗ ПИСЬМА К В. Л. ПУШКИНУ

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна;
Чтоб в наши грешны времена

Воскресла предков добродетель;
Чтобы Шихматовым на зло
Воскреснул новый Буало —
Расколов, глупости свидетель;
А с ним побольше серебра
И золота et caetera.
Но да не будет воскресенья
Усопшей прозы и стихов.
Да не воскреснут от забвенья
Покойный господин Бобров,
Хвалы газетчика достойный,
И Николев, поэт покойный,
И беспокойный граф Хвостов,
И все, которые на свете
Писали слишком мудрено,
То есть, и хладно, и темно,
Что очень стыдно и грешно!

ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ

Довольно битвы мчался гром,
Тупился меч окровавленный,
И смерть погибельным крылом
Шумела грозно над вселенной!

Свершилось... взорами царей
Европы твердый мир основан;
Оковы свергнувший злодей
Могущей бранью снова скован.

Узрел он в пламени Москву —
И был низвержен ужас мира,
Покрыла падшего главу
Благословенного порфира.

И мглой повлекся окружен;
Притек, и с буйной вдруг изменой
Уж воздвигал свой шаткий трон...
И пал отторжен от вселенной.

Утихло всё. — Не мчится гром,
Не блещет меч окровавленный,
И брань погибельным крылом
Не мчится грозно над вселенной.

Хвала, о юноша герой!
С героем дивным Альбиона
Он верных вел в последний бой
И мстил за лилии Бурбона.

Пред ним мятежных гром гремел,
Текли вослед щиты кровавы;
Грозой он в бранной мгле летел
И разливал блистанье славы.

Его текла молодая кровь,
На нем сияет язва чести.
Венчай, венчай его любовью!
Достойный был он воин мести.

СОН

Отрывок

Пускай поэт с камильницей наемной
Гоняется за счастьем и молвой:
Мне страшен свет, проходит век мой темный
В неизвестности, заглохшею тропой.
Пускай певцы гремящими хвалами
Полубогам бессмертие дают;
Мой голос тих, и звучными струнами

Не оглашу безмолвия приют.
Пуёкай любовь Овидии поют,
И не дает покоя Цитерея,
Счастливых дней амуры мне не вьют;
Я сон пою, бесценный дар Морфея.
И научу, как должно в тишине
Покоиться в приягном, крепком сне.

Приди, о Лень! приди в мою пустыню.
Тебя зовут прохлада и покой;
В одной тебе я зрю свою богиню;
Готово всё для госты молодой.
Всё тихо здесь — докучный шум укрылся
За мой порог; на светлое окно
Прозрачное спустилось полотно,
И в темный ниш, где сумрак воцарился,
Чуть крадется неверный свет дневной.
Вот мой диван. Приди ж в обитель мира;
Царицей будь, я пленник ныне твой.
Всё, всё твое: вот краски, кисть и лира, —
Учи меня, води моей рукой.

А вы, друзья моей прелестной Музы,
Которыми любви забыты узы,
Которые владычеству земли,
Конечно б, сон спокойный предпочли,
О мудрецы! дивиться вам умея,
Для вас одних я ныне трон Морфея
Поэзии цветами обовью,
Для вас одних блаженство воспою.
Внемлите же с улыбкой снисхожденья
Моим стихам, урокам наслажденья.

В назначенный природой неги час
Хотите ли забыться каждый раз,
В ночной тиши, средь общего молчанья,

В объятиях игривого мечтанья?
Спешите же под сельский мирный кров,
Там можно жить и праздно и безопасно,
Там прямо рай; но прочь от городов,
Где крик и шум ленивцев мучит вечно.
Согласен я: в них можно целый день
С прелестницей ловить веселья тень;
В платок зевать, блистая в модном свете;
На бале в ночь вертеться на паркете,
Но можно ли вкушать отраду снов?
Настала тень, — уснуть лишь я готов,
Обманутый призраками ночными,
И вот уже, при свете фонарей,
На бешеной четверке лошадей,
Стуча, гремя колесами золотыми,
Катится *Спесь* под окнами моими.
Я дремлю вновь, вновь улица дрожит —
На скучный бал *Рассеянье* летит...
О боже мой! ужели здесь ложатся,
Чтобы всю ночь бессонницей терзаться?
Еще стучат, а там уже светло,
И где мой сон? не лучше ли в село?
Там роица листочков трепетаньем,
В лугу поток таинственным журчаньем,
Златых полей, долины тишина:
В деревне всё к томленью клонит сна.
О сладкий сон, ничем не возмущенный!
Один петух, зарею пробужденный,
Свой резкий крик подымет, может быть;
Опасен он — он может разбудить.
Итак, пускай, в сералях удаленны,
Султаны кур горлятся заключенны
Иль поселян сзывают на поля:
Мы спать хотим, любезные друзья.
Стократ блажен, кто может сном забыться
Вдали столиц, карет и петухов!

Но сладостью веселой ночи снов
Не думайте вы даром насладиться
Средь мирных сёл, без всякого труда.
Что ж надобно? — Движенье, господа!

Похвальна лень; но есть всему пределы:
Смотрите, Клит, в подушках поседельй,
Размученный, изнеженный, больной,
Весь век сидит с подагрой и тоской.
Наступит день; несчастный, задыхаясь,
Кряхтя, ползет с постели на диван;
Весь день сидит; когда ж ночной туман
Подернет свет, во мраке расстилаясь,
С дивана Клит к постеле поползет,
И как же ночь несчастный проведет?
В покойном сне, в приятном сновиденьи?
Нет! сон ему не радость, а мученье;
Не маками, тяжелою рукой
Ему Морфей закроет томны очи,
И медленной проходят чередой
Для бедного часы угрюмой ночи.
Я не хочу, как общий друг Бершу,
Предписывать вам тяжкие движенья:
Упрямый плуг, охоты наслажденья.
Нет, в роцци я ленивца приглашу:
Друзья мои, как утро здесь прекрасно!
В тиши полей, сквозь тайну сень дубрав,
Как юный день сияет гордо, ясно!
Светлеет всё; друг друга перегнав,
Журчат ручьи, блестят берега безмолвны;
Еще роса над свежей муравой;
Златых озер недвижно дремлют волны.
Друзья мои! возьмите посох свой,
Идите в лес, бродите по долине,
Крутых холмов устаньте на вершине,
И в долгу ночь глубок ваш будет сон.

Как только тень оденет небосклон,
Пускай войдет отрада жизни нашей,
Веселья бог с широкой, полной чашей,
И царствуй, Вакх, со всем двором своим.
Умеренно пируйте, други, с ним:
Стакана три шипящими волнами
Румяных вин налейте вы полней;
Но толстый Ком с надугыми щеками
Не приходи стучаться у дверей.
Я рад ему, но только за обедом,
И дружески я в полдень уберу
Его дары; но, право, ввечеру
Гораздо я дружнее с его соседом.
Не уясинать — святой тому закон,
Кому всего дороже легкий сон.
Брегитесь вы, о дети мудрой лени!
Обманчивой успокоенья тени.
Не спите днем: о горе, горе вам,
Когда дремать привыкли по часам!
Что ваш покой? бесчувствие глубоко.
Сон истинный от вас уже далеко.
Не знаете веселой вы мечты;
Ваш целый век — несносное томленье,
И скучен сон, и скучно пробужденье,
И дни текут средь вечной темноты.

Но ежели в глуши, близ водопада,
Что под горой клокочет и кипит,
Прелестный сон, усталости награда,
При шуме волн на дикий брег слетит,
Покроет взор туманной пеленою,
Обнимет вас, и тихую рукою
На мягкий мох преклонит, осенит:
О! сладостно близ шумных вод забвенье.
Пусть долее продлится ваш покой,
Завидно мне счастливца наслажденье.

Случалось ли ненастной вам порой
Дня зимнего, при позднем, тихом свете,
Сидеть одним, без свечки в кабинете:
Всё тихо вокруг; березы больше нет;
Час от часу темнеет окон свет;
На потолке какой-то призрак бродит;
Бледнеет уголь, и синеватый дым,
Как легкий пар, в трубу вьясь уходит;
И вот жезлом невидимым своим
Морфей на всё неверный мрак наводит.
Темнеет взор; «Кандид» из ваших рук,
Закрывшись, упал в колени вдруг;
Вздохнули вы; рука на стол валится,
А голова с плеча на грудь катится.
Вы дремлете! над вами мира кров:
Нежданный сон приятней многих снов!

Душевных мук волшебный исцелитель,
Мой друг Морфей, мой давний утешитель!
Тебе всегда я жертвовать любил,
И ты жреца давно благословил:
Забуду ли то время золотое,
Забуду ли блаженный неги час,
Когда, в углу под вечер притаясь,
Я призывал и ждал тебя в покое?..
Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей!
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнись бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,

Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой почник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец,
И длинный рот, где зуба два стучало:
Всё в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

Но вы прошли, о ночи безмятежны!
И юности уж возраст наступил...
О, дайте мне Альбана кисти нежны,
И я мечту молодой любви вкусил.
И где ж она? Восторгами родилась,
И в тот же миг восторгом истребилась.
Проснулся я; ищу на небе день,
Но всё молчит; луна во тьме сокрылась,
И вокруг меня глубокой ночи тень.
Но сон мой тих! Беспечный сын Парнаса,
В ночной тиши я с рифмою не бьюсь,
Не вижу ввек ни Феба, ни Пегаса,
Ни старый двор каких-то старых муз.

Я не герой, по лаврам не тоскую;
Спокойствием и негой не торгую,
Не чудится мне ночью грозный бой;
Я не богач — и лаем пес привратный
Не возмущал мечты моей приятной;

Я не злодей, с волнением и тоской
Не зрю во сне кровавых привидений,
Убийственных детей предрассуждений,
И в поздний час ужасный бледный Страх
Не хмурится угрюмо в головах.

КЖ. В. М. ВОЛКОНСКОЙ

On peut très bien, mademoiselle,
Vous prendre pour une maquerelle,
Ou pour une vieille guenon;
Mais pour une grâce — oh, mon Dieu, non.¹

ЭКСПРОМПТ НА ОГАРЕВУ

В молчанье пред тобой сижу.
Напрасно чувствую мученье,
Напрасно на тебя гляжу:
Того уж верно не скажу,
Что говорит воображенье.

ОКНО

Недавно темною порою,
Когда пустынная луна
Текла туманною стезею,
Я видел — дева у окна
Одна задумчиво сидела,
Дышала в тайном страхе грудь,

¹ Вас отлично можно, mademoiselle,
Принять за сводню,
Либо за старую шкуру,
Но за грацию — никак!

Она с волнением глядела
На темный под холмами путь.

«Я здесь!» — шепнули торопливо.
И дева трепетной рукой
Окно открыла боязливо...
Луна покрылась темнотою.
«Счастливец! — молвил я с тоскою: —
Тебя веселье ждет одно.
Когда ж вечернею порою
И мне откроется окно?»

К ЖУКОВСКОМУ

Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья,
Не грозный приговор на гибель внемлю я:
Сокрытого в веках священный судия,*
Страж верный прошлых лет, наперсник муз
любимый
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец избранный,**
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, неизвестное мной.
А ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?

* Карамзин.

** Державин.

Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молненной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела.
Нет, нет! решился я—без страха в трудный путь,
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!..
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,
Лечу к *безвестному* отважною мечтой,
И, мнится, Гений ваш промчался надо мной!

Но что? Под грозною парнасскою скалою
Какое зрелище открылось предо мною?
В ужасной темноте пещерной глубины
Вражды и Зависти угрюмые сыны,
Возвышенных творцов зоилы записные
Сидят — Бессмыслицы дружины боевые.
Далеко диких лир несется резкий вой,
Варяжские стихи визжит варягов строй.
Смех общий им ответ; над мрачными толпами
Во мгле два призрака склонилися главами —
Один на груды сел и прозы и стихов —
Тяжелые плоды полунощных трудов,
Усопших од, поэм забвенные могилы!
С улыбкой внемлет вой стопосложитель хилый;
Пред ним растерзанный стонет Тилимах;
Железное перо скрипит в его перстах
И тянет за собой гекзаметры сухие,
Спондеи жесткие и дактилы тугие.
Ретивой Музою прославленный певец,
Гордись — ты Мевия надутый образец!
Но кто другой, в дыму безумного куренья,
Стоит среди толпы друзей непросвещенья?
Торжественной хвалы к нему несется шум:
Он, он под рифмою попрал и Вкус и Ум;
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,

Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином? —
Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспаривать тот лавровый венец,
В котором возблистал бессмертный наш певец,
Веселье росиян, полуночное диво?..*
Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо,
Уж на челе его забвения печать,
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась Грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.
Пусть будет Мевием в речах превознесен —
Явится Депрео, исчезнет Шапелен.

И что ж? всегда смешным останется смешное;
Невежду пестует Невежество слепое.
Оно сокрыло их во мрачный свой приют;
Там прозу и стихи отважно все куют,
Там все враги Наук, все глухи — лишь не немь.
Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят,
Тот, верный своему мятежному союзу,
На сцену-возведя зевающую Музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит.
Рука содрогнулась, удар его скользит,
Вотще бросается с завистливым кинжалом,
Куплетом ранен он, низвержен в прах журналом, —
При свистах критики к собратьям он бежит...
И маковый венец Феспису ими свит.
Все, руку положив на том «Телемахидь»,
Клянутся отомстить сотрудииков обиды,

* Ломоносов.

Волнуясь встают неистовой толпой.
Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой!
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской Глупости не хочет бить челом!..
Он враг Отечества, он сеятель разврата!
И речи сыплются дождем на суюстата.

И вы восстаньте же, парнасские жрецы,
Природой и трудом воспитанны певцы
В счастливой ереси и Вкуса и Ученья,
Разите дерзостных друзей непросвещенья.
Отмститель Генія, — друг истины, поэт!
Лиющая с небес и жизнь и вечный свет,
Стрелюю гибели десница Аполлона —
Сражает наконец ужасного Пифона.

Смотрите: поражен враждебными стрелами,
С потухшим факелом, с недвижными крылами
К вам Озерова дух взывает: други! мечь!..
Вам оскорбленный вкус, вам Знанья дали весть.
Летите на врагов: и Феб и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами;
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор...

Но вижу: возвещать нам истины опасно,
Уж Мевий на меня нахмурился ужасно,
И смертный приговор талантам возгремел.
Гонения терпеть ужель и мой удел?
Что нужды? смело *вдаль*, дорогою прямою,
Учению руку дав, поддержанный тобою,
Их злобы не страшусь: мне твердый Карамзин,
Мне ты пример. Что крик безумных сих дружин?
Пускай беседуют отверженные Феба;

Им прозы, ни стихов не послан дар от неба.
Их слава — им же стыд; творенья — смех уму;
И в тьме возникшие низвергнутся во тьму.

ОСЕННЕЕ УТРО

Поднялся шум; свирелью полевой
Оглашено мое уединенье,
И с образом любовницы драгой
Последнее слетело сновиденье.
С небес уже скатилась ночи тень,
Взошла заря, блистает бледный день —
А вокруг меня глухое запустенье...
Уж нет ее... я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Оставленных ногой ее прекрасной.
Задумчиво бродя в глуши лесов,
Произносил я имя несравненной;
Я звал ее — и глас уединенный
Пустых долин позвал ее вдали.
К ручью пришел, мечтами привлеченный;
Его струи медлительно текли,
Не трепетал в них образ незабвенный.
Уж нет ее!.. До сладостной весны
Простился я с блаженством и с душою.
Уж осени холодной рукою
Главы берез и лип обнажены,
Она шумит в дубравах опустелых;
Там день и ночь кружится желтый лист,
Стоит туман на волнах охладелых,
И слышится мгновенный ветра свист.
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!

Свидетели беспечных забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!

РАЗЛУКА

Когда пробил последний счастьем час,
Когда в слезах над бездной я проснулся,
И, трепетный, уже в последний раз
К руке твоей устами прикоснулся —
Да! помню всё; я сердцем ужаснулся,
Но заглушал несносную печаль;
Я говорил: «Не вечная разлука
Все радости уносит ныне вдаль.
Забудемся, в мечтах потонет мука;
Уныние, губительная скука
Пустынника приют не посетят;
Мою печаль услодой Муза встретит;
Утешусь я — и дружбы тихий взгляд
Души моей холодный мрак осветит».

Как мало я любовь и сердце знал!
Часы идут, за ними дни проходят,
Но горестям отрады не приводят
И не несут забвения фиал.
О милая, повсюду ты со мною!
Но я уныл и втайне я грущу,
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною —
Я всё тебя, прелестный друг, ищу;
Засну ли я, лишь о тебе мечтаю,
Одну тебя в неверном вижу сне;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голос слышен мне.
Рассеянный сию между друзьями,
Невнятен мне их шумный разговор,

Гляжу на них недвижными глазами,
Не узнает уж их мой хладный взор!

И ты со мной, о лира, приуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печален звон глухой
И лишь любви ты голос не забыла!..
О верная, грусти, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напевы
Изобразят уныние мое,
И, слушая бряцание твое,
Пускай вздохнут задумчивые девы.

ИСТИНА

Издавна мудрые искали
Забывших Истины следов
И долго, долго толковали
Давнишни толки стариков;
Твердили: «Истина нагая
В колодезь убралась тайком»,
И, дружно воду выпивая,
Крычали: «Здесь ее найдем!»

Но кто-то, смертных благодетель
(И чуть ли не старик Силен),
Их важной глупости свидетель,
Водой и криком утомлен,
Оставил невидимку нашу,
Подумал первый о вине
И, осушив до капли чашу,
Увидел Истину на дне.

НА ПУЧКОВУ

Зачем кричишь ты, что ты *дева*
На каждом девственном стихе?

О, вижу я, певица Ева,
Хлопочешь ты об женихе.

ДЯДЕ, НАЗВАВШЕМУ СОЧИНТЕЛЯ БРАТОМ

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм бахических — шатаюсь на Пегасе.
Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад.
Нет, нет! вы мне совсем не брат:
Вы дядя мне и на Парнасе.

НАЕЗДНИКИ

Глубокой ночи на полях
Давно лежали покрывала,
И слабо в бледных облаках
Звезда пустынная сияла.
При умирающих огнях,
В неверной синеве тумана,
Безмолвно два стояли стана
На помраченных высотах.
Всё спит; лишь волн мятежный ропот
Разносится в тиши ночной,
Да слышен из дали глухой
Булата звон и конский топот.
Толпа наездников младых
В дубраве едет молчаливой,
Дрожат и пышут кони их,
Главой трясут нетерпеливой.
Уж полем всадники спешат,
Дубравы кров покинув зыбкий,
Усами грозно шевелят
И с гордой шепчутся улыбкой.
Их лица радостью горят,

Огнем пылают гневны очи;
Лишь ты, воинственный поэт,
Уныл, как сумрак полуночи,
И бледен, как осенний свет.
С главою, мрачно преклоненной,
С укрытой горестью в груди,
Печальной думой увлеченный,
Он едет молча впереди.
«Певец угрюмый, что с тобою?
Один пред боем ты уныл;
Поник бесстрашную главою,
Бразды и саблю опустил!
Ужель, невольник праздной неги,
Отрадней мир душе твоей,
Чем наши бурные набеги
И ночью бранный стук мечей?
Стезя войны пускай опасна,
Завиден гордый наш удел.
Тебе ли ныне смерть ужасна?
Ты ввек средь боев не бледнел.
Тебя мы зрели под мечами
С спокойным, дерзостным челом,
Всегда меж первыми рядами,
Всё там, где битвы падал гром.
С победным съединяясь кликом,
Твой голос нашу славу пел;
А ныне ты в унынье диком,
Как беглый ратник, онемел».

Но медленно певец печальный
Главу и взоры приподнял,
Взглянул угрюмо в сумрак дальный
И вздохом грудь поколебал.

«Глубокий сон в долине бранной;
Одни мы мчимся в тьме ночной,

Готов, готов удар желанный!
Меня зовет последний бой!
Расторгну цепь судьбы жестокой,
Влечу я с братьями в огонь;
Влечу грозой, — и одинокий
В долину выбежит мой конь.

О, вы, которым здесь со мною
Предел могильный положен,
Скажите: милая слезою
Ваш усладит ли долгий сон?
Но для меня никто не дышит,
Меня настигнет тишина...
Эльвина смерти весть услышит
И втайне не вздохнет она.

А вы, хранимые судьбами
Для счастья жизненных отрад,
Пускай любовницы слезами
Благословится ваш возврат!
За чашей сладкого спасенья,
О братья! вспомните певца,
Его любовь, его мученья
И славу грозного конца!»

ЭЛЕГИЯ

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет;
Кому луны туманный луч
В полночи светит сладострастной;
Кому тихонько верный ключ
Отворит дверь его прекрасной!

Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!..
Печально младость улетит.
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!

МЕСЯЦ

Зачем из облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки, сквозь окна,
Сиянье тусклое наводишь?
Явленьем пасмурным своим
Ты будишь грустные мечтанья,
Любви напрасные страданья
И, гордым разумом моим
Чуть усыпленные, желанья.
Летите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Уж не бывать той ночи вновь,
Когда спокойное сиянье
Твоих таинственных лучей
Сквозь темный ясень пронизало,
И бледно, бледно озаряло
Красу любовницы моей.
Что вы, восторги сладострастья,
Пред тайной прелестью отрад
Прямой любви, прямого счастья?
Примчатся ль радости назад?
Почто, минуты, вы летели
Тогда столь быстрой чередой?
И тени легкие редели
Пред неожиданной зарей?

Зачем ты, месяц, укатился
И в небе светлом утонул?
Зачем луч утренний блеснул?
Зачем я с милою простился?

ПЕВЕЦ

Слышали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унывный и простой —
Слышали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Прискорбную ль улыбку замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской —
Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз —
Вздохнули ль вы?

К СНУ

Знакомец милый и старинный,
О сон, хранитель добрый мой!
Где ты? Под кровлею пустынной
Мне ложе стелет уж покой
В безмолвной тишине ночной.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови,

До утра только дай отраду
Моей мучительной любви.
Сокрой от памяти унылой
Разлуки грустный приговор;
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
Когда ж умчится ночи мгла,
И ты мои покинешь очи, —
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи.

СЛОВО МИЛОЙ

Я Лилу слушал у клавира;
Ее прелестный, томный глас
Волшебной грустью нежит нас,
Как ночью веянье зефира.
Упали слезы из очей,
И я сказал певице милой:
«Волшебен голос твой унылый,
Но слово милья моей
Волшебней нежных песен Лилы».

* * *

Любовь одна — веселье жизни хладной,
Любовь одна — мученье сердец.
Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.
Стократ блажен, кто в юности прелестной
Сей быстрый миг поймает на лету;
Кто к радостям и неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту!

Но кто любви не жертвовал собою?
Вы, чувствами свободные певцы!
Пред милыми смирялись вы душою,
Вы пели страсть — и гордою рукою
Красавицам несли свои венцы.
Слепой Амур, жестокий и пристрастный,
Вам терния и мирты раздавал;
С пермесскими царицами согласный,
Иным из вас на радость указал;
Других навек печалью связал,
И в дар послал огонь любви несчастной.

Наследники Тибулла и Парни!
Вы знаете бесценной жизни сладость;
Как утра луч, сияют ваши дни.
Певцы любви! младую пойте радость.
Склонив уста к пылающим устам,
В объятиях любовниц умирайте;
Стихи любви тихонько вздыхайте!..
Завидовать уже не смею вам.

Певцы любви! вы ведали печали,
И ваши дни по терниям текли;
Вы свой конец с волнением призывали;
Пришел конец, и в жизненной дали
Не зрели вы минутную забаву;
Но, не нашед блаженства ваших дней,
Вы встретили по крайней мере славу,
И мукою бессмертны вы своей!

Не тот удел судьбою мне назначен;
Под сумрачным навесом облаков,
В глуши долин, в печальной тьме лесов,
Один, один брожу уныл и мрачен.
В вечерний час над озером седым
В тоске, слезах нередко я стенаю;

Знакомые холмы, ручья пустынный глас,
Безмолвие таинственного леса,
И всё... прости в последний раз.

А ты, которая была мне в мире богом,
Предметом тайных слез и горестей залогом,
Прости! минуло всё... Уж гаснет пламень мой,
Схожу я в хладную могилу,
И смерти сумрак роковой
С мученьями любви покроет жизнь унылу.

А вы, друзья, когда лишенный сил,
Едва дыша в болезненном бореньи,
Скажу я вам: «О други! я любил!..»
И тихий дух умрет в изнеможеньи,
Друзья мои, — тогда подите к ней;
Скажите: взят он вечной тьмою...
И, может быть, об участи моей
Она вздохнет над урной гробовою.

ЖЕЛАНИЕ

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! летц, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье, —
Пускай умру, но пусть умру любя!

ДРУЗЬЯМ

К чему, веселые друзья,
Мое тревожить вам молчанье?
Запев последнее прощанье,
Уж Муза смолкнула моя:
Напрасно лиру брал я в руки
Бряцать веселье на пирах
И на ослабленных струнах
Искал потерянные звуки...
Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И на любовь устремлены
Огнем исполненные очи;
Играйте, пойте, о друзья,
Утратьте вечер скоротечный,
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуса я.

ЭЛЕГИЯ

Я думал, что любовь погасла навсегда,
Что в сердце злых страстей умолкнул глас
мятежный,
Что дружбы наконец отрадная звезда
Страдальца довела до пристани надежной.
Я мнил покоиться близ верных берегов,
Уж издали смотреть, указывать рукою
На парус бедственный пловцов,
Носимых яростной грозой.
И я сказал: «Стократ блажен,
Чей век, свободный и прекрасный,
Как век весны промчался ясной
И страстью не был омрачен,
Кто не страдал в любви напрасной,

Кому неведом грустный плен.
Блажен! но я блаженней боле.
Я цепь мученья разорвал,
Опять я дружбе... я на воле,
И жизни сумрачное поле
Веселый блеск очаровал!»
Но что я говорил... несчастный!
Минуту я заснул в неверной тишине,
Но мрачная любовь таилась во мне,
 Не угасал мой пламень страстный.
Весельем позванный в толпу друзей моих,
Хотел на прежний лад настроить резву лиру,
Хотел еще воспеть прелестниц молодых,
 Веселье, Вакха и Дельфиру.
Напрасно!.. я молчал; усталая рука
Лежала, томная, на лире непослушной,
Я всё еще горел — и в грусти равнодушной
На игры младости взирал издалека.
 Любовь, отравя наших дней,
 Беги с толпой обманчивых мечтаний.
 Не сожигай души моей,
 Огонь мучительных желаний.
Летите, призраки... Амур, уж я не твой,
Отдай мне радости, отдай мне мой покой...
Брось одного меня в бесчувственной природе,
Иль дай еще летать надежды на крылах,
Позволь еще заснуть и в тягостных цепях
 Мечтать о сладостной свободе.

НАСЛАЖДЕНЬЕ

В неволе скучной увядает
Едва развитый жизни цвет,
Украдкой младость отлетает,
И след ее — печали след.
С минут бесчувственных рожденья

До нежных юношества лет
Я всё не знаю наслажденья,
И счастья в томном сердце нет.

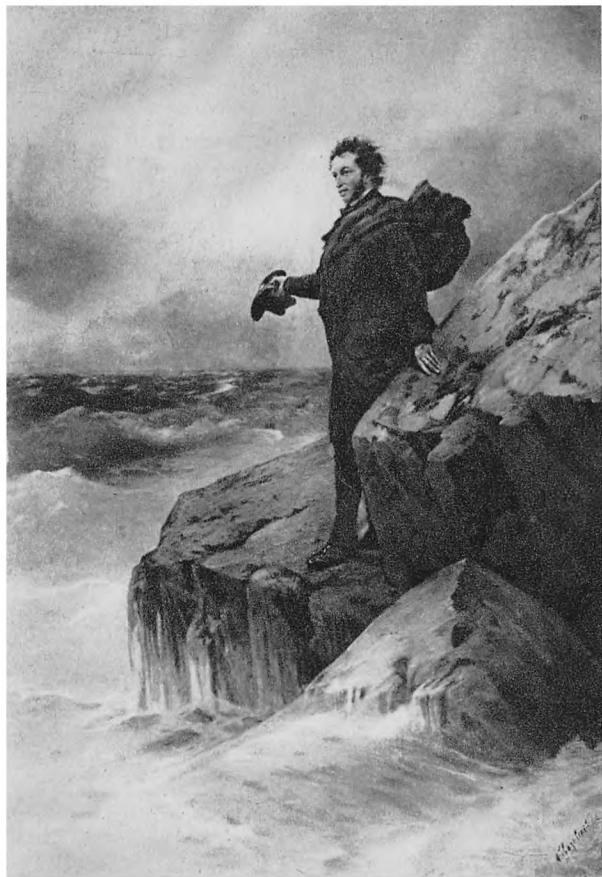
С порога жизни в отдаленье
Нетерпеливо я смотрел:
«Там, там, — мечтал я, — наслажденье!»
Но я за призраком летел.
Златые крылья развивая,
С волшебной нежной красотой
Любовь явилась молодая
И полетела предо мной.

Я вслед... но цели отдаленной,
Но цели милой не достиг!..
Когда ж весельем окриленный
Настанет счастья быстрый миг?
Когда в сиянье возгорится
Светильник тусклый юных дней,
И мрачный путь мой озарится
Улыбкой спутницы моей?

К МАШЕ

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать,
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать.

Спешу исполнить приказанье,
Года не смеют погодить:
Еще семь лет — и обещанье
Ты не исполнишь, может быть.



У ЧЕРНОГО МОРЯ
Картина И. Е. Репина и И. К. Айвазовского



ПАМЯТНИК ПУШКИНУ В МОСКВЕ
По проекту А. М. Опекушина

Вы чинно, молча, сложа руки,
В собраниях будете сидеть
И, жертвуя богине Скуки,
С воксала в маскарад лететь —

И уж не вспомните поэта!..
О Маша, Маша, поспеши —
И за четыре мне куплета
Мою награду напиши!

ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОК

Кубок янтарный
Полон давно —
Пеною парной
Блещет вино;
Света дороже
Сердцу оно.
Ну! за кого же
Выпью вино?

Пейте за славу,
Славы друзья!
Браней забаву
Любит не я.
Это веселье
Не веселит,
Дружбы похмелье
Грома бежит.

Вы, Геликона
Давни жрецы!
За Аполлона
Пейте, певцы!

Резвой Камены
Ласки — беда;
Ток Ишпокрены,
Други, вода.

Пейте за радость
Юной любви —
Скроется младость,
Дети мои...
Кубок янтарный
Полон давно.
Я — благодарный —
Пью за вино.

ПОСЛАНИЕ ЛИДЕ

Тебе, наперсница Венеры,
Тебе, которой Купидон
И дети резвые Цитеры
Украшили цветами трон,
Которой нежные примеры,
Улыбка, взоры, милый тон
Красноречией, чем Вольтеры,
Нам проповедуют закон
И Аристишпов, и Глицеры, —
Тебе приветливый поклон,
Любви венок и лиры звон.
Презрев Платоновы химеры,
Твоей я святостью спасен,
И стал апостол мудрой веры
Анакреонов и Нинон:
Всего, но лишь известной меры.
Я вижу: хмурится Зенон,
И вся его седая свита:
И мудрый друг вина Катон,

И скучный раб Эпафродита,
Сенека, даже Цицерон
Кричат: «Ты лжешь, профан! мученье —
Прямое смертных наслажденье!»
Друзья, согласен: плач и стон
Стократ, конечно, лучше смеха;
Терпеть — великая утеха;
Совет ваш вовсе не смешон;
Но он мне, слышите ль, не нужен,
Затем что слишком он мудрен;
Дороже мне хороший ужин
Философов трех целых дюжин;
Я вами, право, не прельщен.
Собор угрюмый рассержен.
Но пусть кричат на супостата,
Их спор — лишь времени утрата:
Кто их примером обольщен?
Люблю я доброго Сократа!
Он в жизни жил, он был умен;
С своею важностью притворной
Любил пиры, театры, жен;
Он, между прочим, был влюблен
И у Аспазии в уборной
(Тому свидетель сам Платон),
Невольник робкий и покорный,
Вздыхал частехонько в хитон,
И ей с улыбкою придворной
Шептал: «Всё призрак, ложь и сон:
И мудрость, и народ, и слава.
Что ж истинно? Одна забава,
Поверь: одна любовь не сон!»
Так ладан жег прекрасной он,
И ею... бедная Ксантиппа!
Твой муж, совместник Аристиппа,
Бывал до неба вознесен.
Меж тем, на милых грозно лая,

Злой циник, негу презирая,
Один, всех радостей лишен,
Дышал от мира отлучен.
Но с бочкой странствуя пустою
Вослед за мудростью слепую,
Пустой чудак был ослеплен;
И воду черпая рукою,
Не мог зачерпнуть счастья он.

АМУР И ГИМЕНЕЙ

Сказка

Сегодня, добрые мужья,
Повеселю вас новой сказкой.
Знавали ль вы, мои друзья,
Слепое мальчика с повязкой?
Слепого?.. вот! помилуй, Феб!
Амур совсем, друзья, не слеп!
Но шалости — его забавы:
Ему хотелось — о лукавый! —
Чтоб, людям на смех и на зло,
Его дурачество вело.
Дурачество ведет Амура;
Но скоро богу моему
Наскучила богиня дура,
Не знаю верно почему.
Задумал новую затею:
Повязку с милых сняв очей,
Идет проказник к Гименею...
А что такое Гименей?
Он из Кипридных детей,
Бедняжка, дряхлый и ленивый,
Холодный, грустный, молчаливый,
Ворчит и дремлет целый век,
И впрочем — добрый человек,

Да прав имеет он ревнивый.
От ревности печальный бог
Спокойно и заснуть не мог:
Всё трусил маленького брата,
За ним подсматривал тайком
И караулил супостата,
Шатаясь вечно с фонарем.
Вот мальчик мой к нему подходит.
И речь коварную заводит:
«Помилуй, братец Гименей!
Что это? Я стыжусь, любезный,
И нашей ссоры бесполезной,
И вечной трусости твоей;
Ну, помиримся, будь умней;
Забудем наш раздор постылый,
Но только навсегда — смотри!
Возьми ж повязку в память, милый,
А мне фонарь свой подари!»
И что ж? Поверил бог унылый;
Амур от радости прыгнул,
И на глаза со всей он силы
Обнову брату затянул.
С тех пор таинственные взоры
Его не страшны красотам,
Не страшны грустные дозоры,
Ни пробужденья по ночам.
Спокоен он, но брат коварный,
Шутя над честью и над ним,
Войну ведет, неблагодарный,
С своим союзником слепым.
Лишь сон на смертных налетает,
Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливца провождает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена

Он охраняет тайну дверь...
Пожалуйста, мой друг Елена,
Премудрой повести поверь!

ФИАЛ АНАКРЕОНА

Когда на поклоненье
Ходил я в древний Пафос,
Поверьте мне, я видел
В уборной у Венеры
Фиал Анакреона.
Он Вакхом был наполнен
Светлеющею влагой;
Кругом висели розы,
Зеленый плющ и мирты,
Сплетенные рукою
Царицы наслаждений.
На краюшке я видел
Коварного Амура;
Смотрел он, пригорюнясь,
На пенистую влагу. —
«Что смотришь ты, проказник,
На пенистую влагу? —
Спросил я Купидона: —
Скажи, что так утихнул?
Иль хочется зачерпнуть
Тебе вина златого,
Да ручка не достанет?» —
«Нет, — отвечал малютка, —
Резвясь, я в это море
Колчан, и лук, и стрелы
Все бросил не нарочно,
А плавать не умею.
Вон, вон на дне блистают
Ох, жалко мне — послушай,

Достань мне их оттуда!»—
«О, нет, — сказал я богу: —
Спасибо, что упали;
Пускай там остаются».

К ШИШКОВУ

Певец, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь в владения свои,
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
Где нежился Шолье с Мелецким и Парни?
Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их пеньем соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.

И ныне, в юности прекрасной,
С тобою верные сопутницы твои.
Бряцай, о трубадур, на арфе сладострастной
Мечтанье раннее любви,

Пой сердца юного кипящее желанье,
Красавицы твоей упорство, трепетанье,
Со груди сорванный завистливый покров,
Стыдливости последнее роптанье

И страсти торжество на ложе из цветов, —
Пой, в неге устремив на деву томны очи,
Ее волшебные красы,

В объятиях любви утраченные ночи —
Блаженства быстрые часы...

Мой друг, она — твоя, она — твоя награда,
Таинственной любви бесценная отрада!

Дерзну ль тебя я воспевать,
Когда гнетет меня страданье,
Когда на каждое мечтанье

Унынье черную кладет свою печать.

Нет, нет! Друзей любить открытою душою,
В молчанье чувствовать, пленяться красотою —
Вот жребий мой: ему я следовать готов,
Покорствую судьбам, но сжался надо мною,

Не требуй от меня стихов.

Не вечно нежиться в прелестном ослепленьи,
Уж холодной истины докучный вижу свет.
По доброте души я верил в упоеньи
Волшебнице-Мечте, шепнувшей: ты поэт, —
И, презря мудрости угрозы и советы,
С небрежной легкостью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил;
Угодник Бахуса, с веселыми друзьями
Бывало пел вино водяными стихами,
В дурных стихах дурных писателей бранил,
Иль дружбе плел венок — и дружество зевало
И сонные стихи впросонках величало,
И даже, — каюсь я, — пустынный согрешил,
Я первой пел любви невинное начало,
Но так таинственно, с таким разбором слов,

С такою скромностью стыдливой,

Что, не краснея боязливо,

Меня бы выслушал и девственный К<озлов>.

Но скрылись от меня парнасские забавы!..

Не долго был я усыплен,

Не долго снились мне мечтанья муз и славы:

Я строгим *опытом* невольно пробужден.

Уснув меж розами, на тернах я проснулся, —

Увидел, что еще не гения печать —

Охота смертная на рифмах лепетать,

Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся —

И полно мне писать.

ПРОБУЖДЕНЬЕ

Мечты, мечты!
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнул он,
Веселый сон,
И одинокий
Во тьме глубокой
Я пробужден!..
Кругом постели
Немая ночь;
Вмиг охладели,
Вмиг улетели
Толпою прочь
Любви мечтанья;
Еще полна
Душа желанья
И ловит сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь!
Пусть упоенный,
Усну я вновь
Об мороженый,
И поутру,
Вновь утомленный,
Пускай умру
Непробужденный...





1814—1816

СТАРИК

Из Марота

Уж я не тот философ страстный,
Что прежде так любить умел,
Моя весна и лето красно
Ушли — за тридевять земель!
Амур, свет возраста златого!
Богов тебя всех боле чтил;
Ах! если б я родился снова,
Уж так ли бы тебе служил.

ПЕСНЯ

О Делия драгая!
Спеши, моя краса!
Звезда любви золотая
Взошла на небеса;
Безмолвно месяц покотился:
Спеши, твой Аргус удалился,
И тронул сон его глаза.

Под сенью потаенной
Дубравной тишины,
Где ток уединенный
Сребристыя волны
Журчит с унылой Филомелой,
Готов любви приют веселый
И блеском освещен луны.

Накинут ночи тени
Покровы нам свои,
И дремлют рощей сени,
И быстро час любви
Летит, — я весь горю желаньем,
Спешу, о Делия, свиданьем,
Пади в объятия мои.

ДЕЛИЯ

Ты ль передо мною,
Делия моя!
Разлучен с тобою,
Сколько плакал я!
Ты ль передо мною,
Или сон мечтою
Обольстил меня?

Ты узнала ль друга?
Он не то, что был,
Но тебя, подруга,
Всё ж не позабыл —
И твердит унылый:
«Я любим ли милой,
Как бывало был?»

Что теперь сравнится
С долею моей?

Вот слеза катится
По щеке твоей —
Делия стыдится?..
Что теперь сравнится
С долею моей? .

ФАВН И ПАСТУШКА

Картины

I. ПАСТУШКА

С пятнадцатой весною,
Как лилия с зарею,
Красавица цветет;
Всё в ней очарованье:
И томное дыханье,
И взоров томный свет,
И груди трепетанье,
И розы нежный цвет —
Всё юность изменяет.
Уж Лилу не пленяет
Веселый хоровод:
Одна у сонных вод
В лесах она таится,
Вздыхает и томится,
И с нею там Эрот.
Когда же ночью темной
Ее в постеле скромной
Застанет тихий сон,
В полуночном молчаньи,
При месячном сияньи,
Слетает Купидон
С волшебною мечтою;
И тихую тоскою
Исполнит сердце он, —
И Лила в сновиденье
Вкушает наслажденье
И шепчет: «О Филон!»

II. ПЕЩЕРА

Кто там, в пещере темной,
Вечернею порой,
Окован ленью томной
Покоится с тобой?
Итак, уж ты вкусила
Все радости любви;
Ты чувствуешь, о Лила,
Волнение в крови,
И с трепетным смятеньем,
С пылающим лицом,
Ты дышишь упоеньем
Амура под крылом.
О жертва страсти нежной,
В безмолвии гори!
Покойтесь безмятежно
До пламенной зари.
Для вас поток игривый
Угрюмой тьмой одет,
И месяц молчаливый
Туманный свет льет;
Здесь розы наклонились
Над вами в темный кров;
И ветры притаились,
Где царствует любовь...

III. ФАВН

Но кто там, близ пещеры,
В густой траве лежит?
На жертвенник Венеры
С досадой он глядит;
Нагнулась меж цветами
Косматая нога;
Над грустными очами
Нависли два рога.

То Фавн, угрюмый житель
Лесов и гор крутых,
Докучливый гонитель
Пастушек молодых.
Любимца Купидона —
Прекрасного Филона
Давно соперник он...
В приюте сладострастья
Он слышит вздохи счастья
И неги томный стон.
В безмолвии несчастный
Страданья чашу пьет,
И в ревности напрасной
Горючи слезы льет.
Но вот ночей царица
Скатилась за леса,
И тихая денница
Румянит небеса;
Зефиры прошептали —
И Фавн в дремучий бор
Бежит сокрыть печали
В ущельях диких гор.

IV. РЕКА

Одна поутру Лила
Нетвердою ногой
Средь рощицы густой
Задумчиво ходила.
«О, скоро ль, мрак ночной,
С прекрасною луной
Ты небом овладеешь?
О, скоро ль, темный лес,
В туманах засинеешь
На западе небес?»

Но шорох за кустами
Ей слышится глухой,
И вдруг — сверкнул очами
Пред нею бог лесной!
Как вешний ветерочек,
Летит она в лесочек;
Он гонится за ней.
И трепетная Лила
Все тайны обнажила
Младой красы своей;
И нежна грудь открылась
Лобзаньям ветерка,
И стройная нога
Неволью обнажилась.
Порхая над травой,
Пастушка робко дышит;
К реке летя стрелой,
Бег Фавна за собой
Всё ближе, ближе слышат.
Отчаянья полна,
Уж чувствует она
Огонь его дыханья...
Напрасны все старанья:
Ты Фавну суждена!
Но шумная волна
Красавицу сокрыла:
Река — ее могила...
Нет! Лила спасена.

V. ЧУДО

Эроты златокрылы
И нежный Купидон
На помощь юной Лилы
Летят со всех сторон;
Все бросили Цитеру.

И мирных сёл Венеру
По трепетным волнам
Несут они в пещеру —
Любви пустынный храм.
Счастливец был уж там.
И вот уже с Филоном
Веселье пьет она,
И страсти тихим стоном
Прервалась тишина...
Спокойно дремлет Лила
На розах нег и сна,
И луч свой угасила
За облаком луна.

VI. ФИАЛ

Поникнув головою,
Несчастный бог лесов
Один с вечерней тьмою
Бродил у берегов:
«Прости, любовь и радость! —
Со вздохом молвил он: —
В печали тратить младость
Я роком осужден!»
Вдруг из лесу румяный,
Шатаясь, перед ним
Сатир явился пьяный
С кувшином круговым;
Он мутными глазами
Пути домой искал
И козьими ногами
Едва переступал;
Шел, шел и натолкнулся
На Фавна моего,
Со смехом отшатнулся,
Склонился на него...

«Ты ль это, брат любезный? —
Вскричал Сатир седой: —
В какой стране безвестной
Я встретился с тобой?» —
«Ах! — молвил Фавн уныло:—
Завяли дни мои!
Всё, всё мне изменило,
Несчастен я в любви». —
«Что слышу? От Амура
Ты страждешь и грустишь,
Малютку-бедокура
И ты боготворишь?
Возможно ль? Так забвеньё
В кувшине почерпай,
И чашу в утешенье
Наполни через край!»
И пена засверкала
И на краях шипит,
И с первого фиала
Амур уже забыт.

VII. ИЗМЕНА

Кто ж, дерзостный, владеет
Твоею красотой?
Неверная, кто смеет
Пылающей рукой
Бродить по груди страстной,
Томиться, воздыхать
И с Лилою прекрасной
В восторгах умирать?
Итак, ты изменила?
Красавица, пленяй,
Спешి любить, о Лила!
И снова изменяй.

VIII. ОЧЕРЕДЬ

Что, Лила, что с тобою?
В пещерной глубине,
Сокрытая тоскою,
Ты плачешь в тишине;
Грустишь уединенно,
И свет тебе постыл!
Где ж сердца друг бесценный?
Увы, он изменил!
Прошли восторги, счастье,
Как с утром легкий сон;
Где тайны сладострастья?
Где нежный Палемон?
О Лила! вянут розы
Минутная любви, —
Познай же грусть и слезы,
И ныне терны рви.

IX. ФИЛОСОФ

В губительном стремленьи,
За годом год летит
И старость в отдаленьи
Красавице грозит.
Амур уже с поклоном
Расстался с красотой,
И вслед за Купидоном
Веселья скрылся рой.
В лесу пастушка бродит
Печальна и одна;
Кого же там находит?
Вдруг Фавна зрит она.
Философ козлоногий
Под липою лежал
И пенный фиал,

Венком украсив роги,
Лениво осушал.
Хоть Фавн и не находка
Для Лилы прежних лет,
Но вздумала красотка
Любви раскинуть сеть:
Подкралась, устремила
На Фавна томный взор
И, слышал я, клонила
К развязке разговор.
Но Фавн с улыбкой злою,
Напеля свой фиал,
Качая головою,
Красавице сказал:
«Нет, Лила! я в покое —
Других, мой друг, лови;
Есть время для любви,
Для мудрости — другое.
Бывало, я тобой
В безумии пленялся,
Бывало, восхищался
Коварной красотой,
И сердце, тлея страстью,
К тебе меня влекло.
Бывало... но, по счастью,
Что было — то прошло».

ПОГРЕБ

О, сжальтесь надо мною,
Товарищи-друзья!
Красоткой записною
Вконец измучен я.

Невольню я тоскую,
Горька моя судьба,

Несите круговую,
Откройте погреба.

Там, там во льду хранится
Бутылок гордый строй,
И портера таится
Боченок выписной.

Нам Либер, заикаясь,
К нему покажет путь,
Пойдемте все, шатаясь,
Под бочками заснуть.

В них сердцу утешенье,
Награда для певцов,
И мук любви забвенье,
И жар моих стихов.

* * *

И останешься с вопросом
На берегу замерзлых вод:
«Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?»

* * *

От всенощной, вечер, идя домой,
Антипьевна с Марфушкой бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой, — кричит, — управлюсь я с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда, забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшею шалила?
Постой, — о всем узнает муженек!» —
«Тебе ль грозить! — Марфушка отвечает: —

Ванюша — что? ведь он еще дитя,
А сват Трофим, который у тебя
И день, и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна;
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь;
В чужой - - - соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна».

* * *

Я сам в себе уверен,
Я умник из глупцов,
Я маленький Каверин,
Лицейский Молоствов.

COUPLETS

Quand un poète en son extase
Vous lit son ode ou son bouquet,
Quand un conteur traîne sa phrase,
Quand on écoute un perroquet,
Ne trouvant pas le mot pour rire,
On dort, on baille en son mouchoir,
On attend le moment de dire:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Mais tête-à-tête avec sa belle,
Ou bien avec de gens d'esprit,
Le vrai bonheur se renouvelle,
On est content, l'on chante, on rit.
Prolongez vos paisibles veilles,
Et chantez vers la fin du soir
A vos amis, à vos bouteilles:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Amis, la vie est un passage
Et tout s'écoule avec le temps,
L'amour aussi n'est qu'un volage,
Un oiseau de notre printemps;
Trop tôt il fuit riant sous cape —
C'est pour toujours, adieu l'Espoir!
On ne dit pas dès qu'il s'échappe:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Le temps s'enfuit triste et barbare
Et tôt ou tard on va là-haut.
Souvent — le cas n'est pas si rare —
Hasard nous sauve du tombeau.
Des maux s'éloignent les cohortes
Et le squelette horrible et noir
S'en va frappant à d'autres portes:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Mais quoi? je sens que je me lasse
En lassant mes chers auditeurs,
Allons, je descends du Parnasse —
Il n'est pas fait pour les chanteurs;
Pour des couplets mon feu s'allume,
Sur un refrain j'ai du pouvoir,
C'est bien assez — adieu, ma plume!
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

Куплеты

Когда поэт в порыве восторга
Читает оду или мадригал,
Когда рассказчик плетет слово за словом,
Или когда слушаешь попугая,
Не находя чему посмеяться,
Дремлешь, позевываешь в платок
И только ждешь, когда можно будет сказать:
До приятного свиданья.

«Скажи, что нового». — Ни слова.
 «Не знаешь ли, где, как и кто?»
 — О братец, отвяжись — я знаю только то,
 Что ты дурак... но это уж не ново.

Но наедине с возлюбленной
 Или в кругу людей с умом
 Возвращается истинное счастье.
 Снова бываешь доволен, поешь, смеешься.
 Длите ваши мирные ночные досуги,
 И, когда вечер подойдет к концу,
 Пойте друзьям, пойте бутылкам:
До приятного свиданья.

Друзья, преходяща жизнь,
 И всё утекает с временем!
 Летуча и сама любовь,
 Птица наших весенних дней;
 Слишком рано исчезает она, смеясь украдкой,
 И навсегда — прости, надежда!
 Уж не скажешь, как упорхнет:
До приятного свиданья.

Время уносится, печально и жестоко,
 И рано ли, поздно ли, — мы все пойдем на небо.
 Бывает, и даже часто, —
 Случай нас спасает от гроба.
 Удаляются полчища мук,
 И ужасный, черный скелет
 Уходит стучаться в другие лвери!
До приятного свиданья.

Но что? Я чувствую, что утомился,
 Утомив и любезных слушателей...
 Итак, я схожу с Парнаса, —
 Не для певцов он создан.
 Вдохновляюсь я на одни куплеты,
 В моей власти только припев.
 Довольно... прости перо!
До приятного свиданья.

* * *

«Больны вы, дядюшка? Нет, мочи,
Как беспокоюсь я! Три ночи,
Поверьте, глаз я не смыкал». —
«Да слышал, слышал: в банк играл».

НАДПИСЬ К БЕСЕДКЕ

С благоговейною душой
Приблизься, путник молодой,
Любви к пустынному приюту.
Здесь ею счастлив был я раз —
В восторге пламенном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту.

* * *

Вот Виля — он любовью дышит,
Он песни пишет зло,
Как Геркулес сатиры пишет,
Влюблен, как Буало.

НА ГР. А. К. РАЗУМОВСКОГО

Ах, боже мой, какую
Я слышал весть смешную.
Разумник получил ведь ленту голубую.
— Бог с ним! я недруг никому:
Дай бог и царствие небесное ему.

НА БАБОЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Прекрасная! пускай восторгом насладится
В объятиях твоих российский полубог.

Что с участью твоей сравнится?
Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног.

* * *

«Пожарский, Минин, Гермоген
или Спасенная Россия».
Слог дурен, темен, напыщен,
И тяжки словеса пустые.

ЭПИГРАММА

НА СМЕРТЬ СТИХОТВОРЦА

Покойник Клит в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи.
Пусть бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи!

ПОРТРЕТ

Вот карапузик наш, монах,
Поэт, писец и воин.
Всегда, за всё, во всех местах,
Крапивы он достоин.
С Мартыном поп он записной,
С Фроловым математик;
Вступает Энгельгардт-герой —
И вмиг он дипломатик.

* * *

Ты хочешь ли узнать, моя драгая,
Всю разницу меж Буало и мной?
У Буало была одна лишь —,
А у меня — : с ,

НА ПУЧКОВУ

Пучкова, право, не смешна:
Пером содействует она
Благотворительным газет недельных видам,
Хоть в смех читателям, да в пользу инвалидам.

ТВОЙ И МОЙ

Бог весть, за что философы, пииты
На *твой* и *мой* давным-давно сердиты.
Не спорю я с ученой их толпой,
Но и бранить причины не имею
То, что дарит мне радость и покой.
Что, ежели б ты не была *моею*?
Что, ежели б я не был, Ниса, *твой*?

* * *

Тошней идиллии и холодней, чем ода,
От злости мизантроп, от глупости поэт —
Как страшно над тобой забавилась природа,
Когда готовила на свет.

Боишься ты людей, как черного недуга,
О жалкий образец уродливой мечты!
Утешься, злой глупец! Иметь не будешь ты
Век ни любовницы, ни друга.



1817

К КАВЕРИНУ

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои гусарские грехи.
Прослыть апостолом Зенонова ученья,
Быть может, хорошо — но ни тебе, ни мне.
Я знаю, что страстей волненья
И шалости, и заблужденья
Пристали наших дней блистательной весне.
Пускай умно, хотя неосторожно,
Дурачиться мы станем иногда —
Пока без лишнего стыда
Дурачиться нам будет можно.
Всему пора, всему свой миг,
Всё чередой идет определенной:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Насытись жизнью у юных дней в гостях,
Простимся навсегда с Веселием шумливым,
С Венерой пылкою, и с Вакхом прихотливым,
Вздохнем об них, как о друзьях,

И Старость удивим поклоном молчаливым.

Теперь в безопасности живи,
Люби друзей, храни об них воспоминанье,
Молись и Кому и Любви,
Минуту юности лови

И черни презирай ревнивое роптанье.

Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть.

ЭЛЕГИЯ

Опять я ваш, о юные друзья!
Туманные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки,
Ваш резвый круг увидел снова я.
Всё те же вы, но сердце уж не то же:
Уже не вы ему всего дороже,
Уж я не тот... Невидимой стезей
Ушла пора веселости беспечной,
Ушла навек, и жизни скоротечной
Луч утренний бледнеет надо мной.
Веселие рассталось с душой.
Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смех, и резвость, и покой —
Я всё забыл; печали молчаливой
Покров лежит над юною главой.
Напрасно вы беседу шутиливой
И нежностью души красноречивой
Мой тяжкий стон хотите перервать,
Всё кончилось, — и резвости счастливой
В душе моей изгладилась печать.
Чтоб удалить угрюмые страданья,
Напрасно вы несете лиру мне;

Минувших дней погаснули мечтанья,
И умер глас в бесчувственной струне.
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне страшен мир, мне скучен дневный свет;
Пойду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак — я радость ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.
Опали вы, листья вчерашней розы!
Не довели до месячных лучей.
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы — невольно льются слезы,
И вяну я на темном утре дней.

О дружество! предай меня забвенью;
В безмолвии покорствую судьбам.
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустыням и слезам.

К МОЛОДОЙ ВДОВЕ

Лида, друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон
Часто, негой утомленный,
Слышу я твой тихий стон?
Почему, в любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взор недвижный, боязливый
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморок любви,
Иногда я замечаю
Слезы тайные твои?
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,
Хладно руку пожимаешь,

Хладен взор твоих очей...
О бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать,
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон;
Не для них — весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов...
Рано друг твой незабвенный
Вздохом смерти воздохнул
И блаженством упоенный
На груди твоей уснул.
Спит увенчанный счастливец;
Верь любви — невинны мы.
Нет! разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовников не станет,
Вызывая спящий день.

БЕЗВЕРИЕ

О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет;
Смирите гордости жестокой исступленье:
Имеет он права на ваше снисхожденье,
На слезы жалости; внемлите брата стон,

Несчастный не злодей, собою страждет он.
Кто в мире усладит души его мученья?
Увы! Он первого лишился утешенья!
Взгляните на него — не там, где каждый день
Тщеславие на всех наводит ложну тень,
Но в тишине семьи, под кровлею родною,
В беседе с дружеством иль темною мечтою.
Найдите там его, где илистый ручей
Проходит медленно среди нагих полей;
Где сосен вековых таинственные сени,
Шумя, на влажный мох склонили вечны тени.
Взгляните — бродит он с увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой,
То грусти слезы льет, то слезы сожаленья.
Напрасно ищет он унынью развлеченья;
Напрасно в пышности свободной простоты
Природы перед ним открыты красоты;
Напрасно вокруг себя печальный взор он водит:
Ум ищет божества, а сердце не находит.

Настигнет ли его глухих судеб удар,
Отъемлетя ли вдруг минутный счастья дар,
В любви ли, в дружестве обнимет он измену
И их почувствует обманчивую цену:
Лишенный всех опор отпавший веры сын
Уж видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира...

Несчастья, страстей и немощей сыны,
Мы все на страшный гроб родясь осуждены.
Всечасно бранных уз готово разрушенье;
Наш век — неверный день, всечасное волненье.
Когда, холодной тьмой объемля грозно нас,
Завесу вечности колеблет смертный час,
Ужасно чувствовать слезы последней муку —

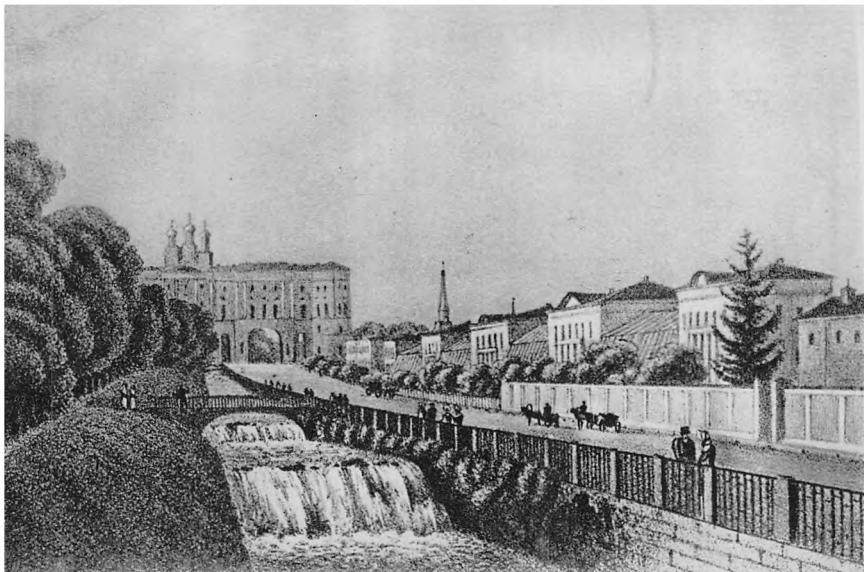
И с миром начинать безвестную разлуку!
Тогда, беседея с отвязанной душой,
О вера, ты стоишь у двери гробовой,
Ты ночь могильную ей тихо освещаешь,
И ободренную с надеждой отпускаешь.
Но, други! пережить ужаснее друзей!
Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унывший дух и сердца ожиданье.
«Настанет! говорит, назначено свиданье!»

А он (слепой мудрец!), при гробе стонет он,
С усадой бытия несчастный разлучен,
Надежды сладкого не внемлет он привета,
Подходит к гробу он, взывает... нет ответа!

Видали ль вы его в безмолвных тех местах,
Где кровных и друзей священный тлеет прах?
Видали ль вы его над хладною могилой,
Где нежной Делии таится пепел милый?
К почившим позванный вечерней тишиной,
К кресту приникнул он бесчувственной главой.
Стенанья изредка глухие раздаются,
Он плачет — но не те потоки слез лиются,
Которы сладостны для страждущих очей
И сердцу дороги свободою своей;
Но слез отчаянья, но слез ожесточенья.
В молчанье ужаса, в безумстве исступленья
Дрожит, и между тем под сенью темных ив,
У гроба матери колена преклонив,
Там дева юная в печали безмятежной
Возводит к небу взор болезненный и нежный, —
Одна, туманною луной озарена,
Как ангел горести является она;
Вздыхает медленно, могилу обнимает —
Всё тихо вокруг его, а кажется, внимает.
Несчастный на нее в безмолвии глядит,



ПОРТРЕТ В. А. ЖУКОВСКОГО
Раб. О. А. Кипренского



ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ВРЕМЕН ПУШКИНА
С литографии Мартынова

Качает головой, трепещет и бежит,
Спешит он далее, но вслед унынье бродит.

Во храм ли высшего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хором пенье
Тревожится его безверия мученье.
Он бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему, и чуждый к умиленью,
С досадой тихому внимает он моленью.
«Счастливы! — мыслит он, — почто не можно мне
Страстей бунтующих в смиренной тишине,
Забыв о разуме и немощем и строгом,
С одной лишь верою повергнуться пред богом!»

Напрасный сердца крик! нет, нет! не суждено
Ему блаженство знать! Безверие одно,
По жизненной стезе во мраке вождь унылый,
Влечет несчастного до хладных врат могилы.
И что зовет его в пустыне гробовой —
Кто ведает? но там лишь видит он покой.

К ДЕЛЬВИГУ

Блажен, кто с юных лет увидел пред собою
Извивы темные двухолмной высоты,
Кто жизни в тайный путь с невинною душою
Пустился пленником мечты!
Наперснику богов безвестны бури злые,
Над ним их промысел, безмолвною порой
Его баюкают камни молодые
И с перстом на устах хранят певца покой.
Стыдливой грации внимает он советы

И, чувствуя в груди огонь еще молодой,
Восторженный поет на лире золотой; —
 О Дельвиг! счастливы поэты!

Мой друг, и я певец! и мой смиренный путь
В цветах украсила богиня песнопенья,
 И мне в младую боги грудь
 Влияли пламень вдохновенья.
В младенчестве моем я чувствовать умел,
 Всё жизнью вокруг меня дышало,
 Всё резвый ум обворожало,
И первую черту я быстро пролетел.
 С какою тихою красотою
 Минуты детства протекли.
Хвала, о боги! вам, вы мощною рукою
От ярых гроз мирских невинность отвели.

Но всё прошло — и скрылись в темну даль
Свобода, радость, восхищенье;
Другим и юность наслажденье:
Она мне мрачная печаль!

Так рано зависти увидел зрак кровавый
И низкой клеветы сокрытый яд.
 Нет! нет! ни счастьем, ни славой
Не буду ослеплен. Пускай они манят
На край погибели любимцев обольщенных.
 Исчез священный жар!
 Забвенью сладких песней дар
 И голос струн одушевленных!
 Во прах и лиру и венец!
Пускай не будут знать, что некогда певец,
Враждою, завистью на жертву обреченный,
 Погиб на утре лет,
 Как ранний на поляне цвет,
 Косой безвременно сраженный.

И тихо проживу в безвестной тишине;
Потомство грозное не вспомнит обо мне,
И гроб несчастного, в пустыне мрачной, дикой
Забвенья порастет ползущей повиликой!

СТАНСЫ

Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне протекши дни,
С моей вечернею зарею
Мое ты утро съедини!

Мой век невидимо проходит,
Из круга смехов и харит
Уж время скрыться мне велит
И за руку меня выводит.

Не даст оно пощады нам.
Кто применяться не умеет
Своим изменчивым годам,
Тот их несчастья лишь имеет.

Счастливым резвым, молодым
Оставим страсти заблужденья;
Живем мы в мире два мгновенья —
Одно рассудку отдадим.

Вы, услаждавшие печали
Минутной младости моей,
Любовь, мечтанья первых дней,
Ужель навек вы убежали?

Нам должно дважды умирать:
Проститься с сладостным мечтаньем —
Вот смерть ужасная страданьем!
Что значит после не дышать?

На пасмурном моем закате,
Среди пустынной темноты,
Так сожалел я об утрате
Обманов милых мечты.

Тогда на голос мой унылый
Мне дружба руку подала,
Она любви подобна милой
В одной лишь нежности была.

Я ей принес увядши розы
Отрадных юношеских дней,
И вслед пошел, но лил я слезы,
Что мог идти вослед лишь ей!

ПОСЛАНИЕ В. Л. ПУШКИНУ

Скажи, парнасский мой отец,
Неужто верных муз любовник
Не может нежный быть певец
И вместе гвардии полковник?
Ужели тот, кто иногда
Жжет ладан Аполлону даром,
За честь не смеет без стыда
Жечь порох на войне с гусаром
И, если можно, города?
Беллона, музы и Венера —
Вот, кажется, святая вера
Дней наших всякого певца;
Я шлюсь на русского Буфлера
И на Дениса храбреца,
Но не на Глинку офицера,
Довольно плоского певца;
Не нужно мне его примера...
Ты скажешь: «Перестань, болтун!
Будь человек, а не драгун;

Парады, караул, ученья —
Всё это оды не внушит,
А только душу иссушит,
И к Марину для награжденья,
Быть может прямо за Коцит
Пошлют читать его творенья».
Послушай, дядя милый мой,
Ступай себе к слепой Фемиде,
Иль к дипломатике косою!
«Кропай, мой друг, посланья к Лиде,
Оставь военные грехи,
И в сладостях успокоенья
Пиши сенатские решенья
И пятистопные стихи;
И не с гусарского корнета,
Возьми пример с того поэта,
С того, которого рука
Нарисовала Ермака
В снегах незнаемого света,
И плен могучего Мегмета,
И мужа модные рога,
Который милостию бога,
Министр и сладостный певец,
Был строгой чести образец,
Как образец он будет слога».
Всё так, почтенный дядя мой,
Почтен, кто глупости людской
Решит запутанные споры;
Умен, кто хитрости рукой
Переплетает меж собой
Дипломатические вздоры
И правит нашу судьбой.
Смешон, конечно, мирный воин,
И эпиграммы самой злой
В известных «Святках» он достоин.

Но что прелестней и живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней бранных дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах,
Вдали забав и нег и граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В тибурских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,
Не ведают, что скука, страх;
Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.
Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла.

Но вы, враги трудов и славы,
Питомцы Феба и забавы,
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вам на-ухо: вы правы,
И с вами соглашаюсь я!
Бог создал для себя природу,
Свой рай и счастье глупцам,
Злословие, мужчин и моду,
Конечно, для забавы дам,
Заботы знатному народу,
Дурачество для всех, — а нам
Уединенье и свободу.

ПИСЬМО К ЛИДЕ

Лишь благосклонный мрак раскинет
Над нами тихий свой покров,
И время к полночи придвинет
Стрелу медлительных часов,
Когда не спит в тиши природы
Одна счастливая любовь:
Тогда моей темницы вновь
Покину я немые своды...
Летучих остальных минут
Мне слишком тягостна потеря —
Но скоро аргусы заснут,
Замкам предательным поверя,
И я в обители твоей...
По скорой поступи моей,
По сладострастному молчанью,
По смелым, трепетным рукам,
По воспаленному дыханью
И жарким, ласковым устам,
Узнай любовника — настали
Восторги, радости мои!..
О Лида, если б умирали
С блаженства, неги и любви!

ПОСЛАНИЕ КН. А. М. ГОРЧАКОВУ

Встречаюсь я с осымнадцатой весной.
В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой.
Где вы, лета беспечности недавней?
С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,

И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый, и славный, —
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравится блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав.
Они пришли, твой златые годы,
Огня любви прелестная пора.
Спеши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;
Амур велит — и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай...
О, скольких слез, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник,
Будь верен всем — пленяйся и пленяй.

А мой удел... но пасмурным туманом
Зачем же мне грядущее скрывать?
Увы! нельзя мне вечным жить обманом
И счастья тень, забывшись, обнимать.
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья.
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть?
Они прошли, и скорбными глазами
Смотря на путь, оставленный навек, —
На краткий путь, усыпанный цветами,
Которым я так весело протек,
Я слезы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя.

Твоя заря — заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг, — осенняя заря.

Я знал любовь, но не знавал надежды,
Страдал один, в безмолвии любил.
Безумный сон покинул томны вежды.
Но мрачные я грезы не забыл.
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется: на жизненном пиру
Один, с тоской, явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час — и одинок умру.
И не придет друг сердца незабвенный
В последний миг мой томный взор сомкнушь,
И не придет на холм уединенный
В последний раз с любовью вздохнуть!
Ужель моя пройдет пустынно младость?
Иль мне чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не ведая, что радость?
Зачем же жизнь дана мне от богов?
Чего мне ждать? В рядах забытый воин,
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастья какой возьму венец?

Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — униженье;
Нет, праведно богов определенье!
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,
И в жизни сей мне будет утешенье:
Мой скромный дар и счастье друзей.

В АЛЬБОМ

Пройдет любовь, умрут желанья,
Разлучит нас холодный свет;
Кто вспомнит тайные свиданья
Мечты, восторги прежних лет?..
Позволь в листах воспоминанья
Оставить им минутный след.

В АЛЬБОМ ИЛЛИЧЕВСКОМУ

Мой друг! не славный я поэт,
Хоть христианин православный.
Душа бессмертна, слова нет,
Моим стихам удел неравный —
И песни Музы своенравной,
Забавы резвых, юных лет,
Погибнут смертию забавной,
И нас не тронет здешний свет!

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей:
Бессмертие ль души моей?
Бессмертие ль своих творений? —

Не властны мы в судьбе своей,
По крайней мере, нет сомненья,
Сей плод небрежный вдохновенья,
Без подписи, в твоих руках
На скромных дружества листках
Уйдет от общего забвенья...
Но пусть напрасен будет труд,
Твоею дружбой оживленный —
Мои стихи пускай умрут —
Глас сердца, чувства неизменны
Наверно их переживут!

ТОВАРИЩАМ

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,

И каждый смотрит на дорогу
С волнением гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
Равны Наказ и кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ БОЛЬНИЦЫ

Вот здесь лежит больной студент —
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

В АЛЬБОМ И. И. ПУЩИНУ

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! она прошла... но с первыми друзьями
Не ревою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

В последний раз, в тиши уединенья,
Моим стихам внимает наш Пенат!
Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгновенья!
Итак, они прошли — лета соединенья;
Итак, разорван он — наш братский верный круг!
Прости!.. хранимый тайным небом,
Не разлучайся, милый друг;
С Фортуной, дружеством и Фебом, —
Узнай любовь, неведомую мне —
Любовь надежд, восторгов, упоенья.
И дни твои полетом сновиденья
Да пролетят в счастливой тишине!
Прости... где б ни был я: в огне ли смертной
битвы,

При мирных ли берегах родимого ручья,
Святому братству верен я!
И пусть... (услышит ли Судьба мои молитвы?)
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

К ПОРТРЕТУ КАВЕРИНА

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

К ПИСЬМУ

В нем радости мои; когда померкну я,
Пускай оно груди бесчувственной коснется:
Быть может, милые друзья,
Быть может, сердце вновь забьется.

СНОВИДЕНИЕ

Недавно, оболещен прелестным сновиденьем,
В венце сияющем, царем я зрел себя;
Мечталось, я любил тебя —
И сердце билось наслажденьем.
Я страсть у ног твоих в восторгах изъяснял.
Мечты! ах! отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только — царство потерял.

ОНА

«Печален ты: признайся, что с тобой».
— Люблю, мой друг. — «Но кто ж тебя пленила?»
— Она. — «Да кто ж? Глицера ль, Хлоя, Лиля?»
— О, нет. — «Кому ж ты жертвуешь душой?»

— Ах, *ей*.—«Ты скромн, друг сердечный.
Но почему ж ты столько огорчен?
И кто виной? Супруг, отец, конечно...»
— Не то, мой друг!—«Но что ж?»—Я *ей* не *он*.

* * *

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

* * *

Штабс-капитану, Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,
Что никогда их дома нет.

К ОГАРЕВОЙ, КОТОРОЙ МИТРОПОЛИТ ПРИСЛАЛ ПЛОДОВ ИЗ СВОЕГО САДУ

Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислав своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что будто сам он бог садов.

Чему дивиться тут? Харита
Улыбкой Дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желанья в нем родит.

И он, твой встретя взор волшебный,
Забудет о своем кресте,
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.

ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глупцов,
И лени моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благодатных снов!

К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
По лире с трепетом вожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?
Душой предавшись наслажденью,
Я сладко-сладко задремал.

Один лишь ты с глубокой ленью
К трудам охоту сочетал;
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской, и креста,*
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот;
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де-Лаваль.
Нося мучительное бремя
Пустых и тяжких должностей,
Один лишь ты находишь время
Смеяться лениности моей.

Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам,
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой,
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд и холоден, и пуст:
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.

* Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского, а честнаго и животворящаго.

К***

Не спрашивай, зачем унылой думой
Среди забав я часто омрачен,
Зачем на всё подъямлю взор угрюмый,
Зачем не мил мне сладкий жизни сон;
Не спрашивай, зачем душой остылой
Я разлюбил веселую любовь
И никого не называю милой:
Кто раз любил, уж не полюбит вновь;
Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
На краткий миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно.

* * *

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

* * *

Не угрожай ленивцу молодому,
Безвременной кончины я не жду.

В венке любви к приюту гробовому,
Не думав ни о чем, без робких слез иду.

Я мало жил, я наслаждался мало...
Но иногда цветы веселья рвал —
Я жизни видел лишь начало,
[Кто знает]

КРИВЦОВУ

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой;
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой;
Каждый у своей гробницы
Мы присядем на порог,
У пафосския царицы
Свежий выпросим венки,
Лишний миг у верной лени,
Круговой нальем сосуд,
И толпою наши тени
К тихой Лете убегут;
Смертный миг наш будет светел:
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.

* * *

Орлов с Истоминой в постеле
В убогой нагоде лежал.
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.

Не думав милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп
И говорит: «Дай мне увидеть,

ТОРЖЕСТВО ВАКХА

Откуда чудный шум, неистовые клики?

Кого, куда зовут и бубны и тимпан?

Что значат радостные лики

И песни поселян?

В их круге светлая свобода

Прияла праздничный венок.

Но двинулись толпы народа...

Он приближается... Вот он, вот сильный бог!

Вот Бахус мирный, вечно юный!

Вот он, вот Индии герой!

О радость! Полные тобой

Дрожат, готовы грянуть струны

Нелицемерною хвалой.

Эван, эво! Дайте чаши!

Несите свежие венцы!

Невольники, где тирсы наши?

Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

Вот он, вот Вакх! О час отрадный!

Державный тирс в его руках;

Венец желтеет виноградный

В чернокудрявых волосах...

Течет. Его младые тигры

С покорной яростью влекут;

Кругом летят эроты, игры,

И гимны в честь ему поют.

За ним теснится козлоногий

И фавнов и сатиров рой,

Плющом опутаны их роги;

Бегут смятенною толпой

Вослед за быстрой колесницей:
Кто с тростниковою цевницей,
Кто с верной кружкою своей;
Тот оступившись упадает
И бархатный ковер полей
Вином багровым обливает
При диком хохоте друзей.
Там дале вижу дивный ход:
Звучат веселые тимпаны;
Младые нимфы и сильваны,
Составя шумный хоровод,
Несут недвижимого Силена...
Вино струится, брызжет пена,
И розы сыплются кругом;
Несут за спящим стариком
И тирс, символ победы мирной,
И кубок тяжко-золотой,
Венчаный крышкою сапфирной,
Подарок Вакха дорогой.

Но воеет берег отдаленный.
Власы раскинув по плечам,
Венчашы гроздем, обнаженны,
Бегут вакханки по горам.

Тимпаны звонкие, кружась меж их перстами,
Гремят и вторят их ужасным голосам.
Промчались, летят, свиваются руками,
Волшебной пляской топчут луг,
И младость пылкая толпами
Стекается вокруг.

Поют неистовые девы;
Их сладострастные напевы
В сердца вливают жар любви;
Их перси дышат возжеленьем;
Их очи, полные безумством и томленьем,

Сказали: счастье лови!
Их вдохновенные движенья
Сперва изображают нам
Стыдливость милого смятенья,
Желанье робкое, а там
Восторг и дерзость наслажденья.
Но вот рассыпались по холмам и полям;
Махая тирсами несутся;
Уж издали их вопли раздаются,
И гул им вторит по лесам:
Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струею пенной
В честь Вакха, муз и красоты!
Эван, эвое! Дайте чаши
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

К НЕЙ

В печальной праздности я лиру забывал,
Воображение в мечтах не разгоралось,
С дарами юности мой гений отлетал
И сердце медленно хладело, закрывалось.
Вас вновь я призывал, о дни моей весны,
Вы, пролетевшие под сенью тишины
Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,
Когда, поэзии поклонник безмятежный,

На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки,
И гул дубрав горам передавал
Мои задумчивые звуки.
Напрасно! Я влачил постыдной лени груз,
В дремоту хладную невольно погружался,
Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался!
Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал;
Природы вновь восторженный свидетель,
Живее чувствовал, свободнее дышал,
Сильней пленяла добродетель...
Хвала любви, хвала богам!
Вновь лиры сладостной раздался голос юный,
И с звонким трепетом воскреснувшие струны
Несу к твоим ногам!..

ИМЕНИНЫ¹

Умножайте шум и радость;
Пойте песни в добрый час:
Дружба, грация и младость
Именинницы у нас.
Между тем дитя крылато,
Вас приветствуя, друзья,
Втайне думает: когда-то
Именинник буду я?

¹ Начиная с этого, стихотворения датируются 1817 г. предположительно.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнь играть,
Пусть чернь слепая суетится,
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и в вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отыдем
Всё, что отыметя у ней.

К. А. Б***

Что можем наскоро стухами молвить ей?
Мне истина всего дороже.
Подумать не успев, скажу: ты всех милей;
Подумав, я скажу всё то же.

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

Внимает он привычным ухом
Свист;
Марает он единым духом
Лист;
Потом всему терзает свету
Слух;
Потом печатает: и в Лету
Бух!

К ПОРТРЕТУ ЧААДАЕВА

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

ВОЛЬНОСТЬ

Ода

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама среди славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений

Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа —
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства.
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства.
Молчит закон — народ молчат,
Падет преступная секира...

И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

КН. ГОЛИЦЫНОЙ

Посылая ей оду «Вольность».

Простой воспитанник природы,
Так я бывало воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю,
И что же? слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.





1818

* * *

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию харит?
Амур нашел ее в Цитере,
В архиве шалости молодой.
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой.
Прости, эпикуреец мой!
Останься век, каков ты ныне,
Лети во мрачный Альбион!
Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон!
Неси в чужой предел пената,
Но, помня прежни дни свои,
Люби недевственного брата,
Страдальца чувственной любви!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Тебя ль я видел, милый друг?
Или неверное то было сновиденье,
Мечтанье смутное, и пламенный недуг

Обманом волновал мое воображенье?
В минуты мрачные болезни роковой,
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
В одежде воина, с неловкостью приятной?
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал
Знакомые красы под сей одеждой ратной,
И слабым шопотом подругу я назвал...
Но вновь в уме моем стеснились мрачны грезы:
Я слабою рукой искал тебя во мгле...
И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы
И влажный поцелуй на пламенном челе...
Бессмертные, с каким волненьем
Желанья, жизни огонь по сердцу пробежал!
Я закипел, затрепетал:
И скрылась ты прелестным привиденьем.
Жестокий друг, меня томишь ты упоеньем.
Приди, меня мертвит любовью!
В молчанье благосклонной ночи
Явись, волшебница: пускай увижу вновь
Под грозным киеером твои небесны очи,
И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги...
Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя: здоровья дар благой
Мне снова ниспослали боги,
А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной и шалости молодой.

* * *

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что если это проза,
Да и дурная?..

ЖУКОВСКОМУ

Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подьмлет на челе:
Ты прав, творишь ты *для немногих*,
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным!

СКАЗКИ

Noël

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах спасителя страшает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:

«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я сшил себе мундир.

О, радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я ел, и пил, и обещал —
И делом не измучен.

Узнай еще, в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи
И людям все права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».

От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть бы наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки!»

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

ЮРЬЕВУ

Любимец ветреных Лаис,
Прелестный баловень Киприды,
Умей сносить, мой Адонис,
Ее минутные обиды!
Она дала красы младой
Тебе в удел очарованье,
И черный ус, и взгляд живой,
Любви улыбку и молчанье.
С тебя довольно, милый друг!
Пускай, желаний пылких чуждый,
Ты поцелуями подруг
Не наслаждаешься, что нужды?
В чаду веселий городских
На легких играх Терпсихоры,
К тебе красавиц молодых
Летят задумчивые взоры.
Увы! язык любви немой,
Сей вздох души красноречивый,
Быть должен сладок, милый мой,
Беспечности самолюбивой.
И счастлив ты своей судьбой.
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте.
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний;
С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.

НА КАЧЕНОВСКОГО

Бессмертною рукой раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил!
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
Уймись — и прежним ты стихом доволен будь,
«Плюгавый выползок из гузна Дефонтена»!

МЕЧТАТЕЛЮ

Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить,
Напрасным пламенем томить воображенье
И в сердце тихое уныние таить:
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья:
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья.
Нет, нет: в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, иступленный,
Тогда б воскликнул ты к богам:
Отдайте, боги, мне рассудок смраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой;
Довольно я любил; отдайте мне покой...
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ НАПИСАТЬ СТИХИ В ЧЕСТЬ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил;
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учая славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой Музою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой;
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

ПРЕЛЕСТНИЦЕ

К чему нескромным сим убором,
Умильным голосом и взором
Младое сердце распалить
И тихим, сладостным укором
К победе легкой вызывать?
К чему обманчивая нежность,
Стыдливости притворный вид,

Движений томная небрежность
И трепет уст и жар ланит?
Напрасны хитрые старанья:
В порочном сердце жизни нет...
Невольный хлад негодованья
Тебе мой роковой ответ.
Твоею прелестью надменной
Кто не владел во тьме ночной?
Скажи: у двери оцененной
Твоей обители презренной
Кто смелой не стучал рукой?
Нет, нет, другому свой завялый
Неси, прелестница, венок;
Ласкай неопытный порок,
В твоих объятиях усталый;
Но гордый замысел забудь:
Не привлечешь питомца Музы
Ты на предательскую грудь.
Неси другим наемны узы,
Своей любви постыдный торг,
Корысти хладные лобзанья
И принужденные желанья,
И златом купленный восторг!

К * * *

Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный,
Без томной робости твой ловит светлый взор,
Движенья милые, игривый разговор
И след улыбки незабвенной.

* * *

Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,

Ступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень.

И для [меня] воскресла радость,
И душу взволновала вновь
Тоски мучительная сладость
[И сердца первая] любовь.

* * *

Могущий бог садов — паду перед тобой.
Твой лик уродливый поставил я с мольбой,
Не с тем, чтоб удалял ты своенравных коз
И птичек от плодов и нежных и незрелых,
Тебя украсил я венком из диких роз
При пляске поселян веселых,
Не с тем, чтобы

* * *

Позволь душе моей открыться пред тобою
И в дружбе сладостной отраду почерпнуть.
Скучая жизнью, томимый суетою,
[Я жажду] близ тебя, друг нежный, отдохнуть...
Ты помнишь, милая, — зарею наших лет,
Младенцы, мы любить умели...
Как быстро наши лета улетели.
В кругу чужих, в немилой стороне,
Я мало жил и наслаждался мало!
И дней моих печальное начало
Наскучило, давно постыло мне!
К чему мне жить. Я не рожден для счастья
[Для радостей], для дружбы, для забав,
избежав,
Я хладно пил из чаши сладострастья.

* * *

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И *кюхельбекерно*, и тошно.

К ЧААДАЕВУ ¹

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упования
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуту верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

В АЛЬБОМ Е. Я. СОСНИЦКОЙ

Вы соединить могли с холодностью сердечной
Чудесный жар пленительных очей.

¹ Начиная с этого, стихотворения датируются 1818 г. предположительно.

Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей.

* * *

Как сладостно!.. Но, боги, как опасно
Тебе внимать, твой видеть милый взор!..
Забуду ли улыбку, взор прекрасной
И огненный, [волшебный] разговор!
Волшебница, зачем тебя я видел?
[Узнав тебя], блаженство я познал
И счастье мое возненавидел.

* * *

И я слышал, что божий свет
Единой дружбою прекрасен,
Что без нее отрады нет,
Что жизни б путь нам был ужасен,
Когда б не тихий дружбы свет.
Но слушай — чувство есть другое:
Оно и нежит и томит,
В трудах, заботах и в покое
Всегда не дремлет и горит;
Оно мучительно, жестоко,
Оно всю душу в нас мертвит,
Коль язвы тяжелой и глубокой
Елей надежды не живит...
Вот страсть, которой я сгораю!..
Я вяну, гибну в цвете лет,
Но исцелиться не желаю...





1819

ЭПИГРАММА НА КОЛОСОВУ

Всё пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч;
Голос нежный, взор любви...
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И широкая нога.

27 МАЯ 1819

Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили — и Венера с нами
Сидела, преля, за столом.
Когда ж вновь сядем вчетвером
С --, вином и чубуками!

ЭЛЕГИЯ

Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской

Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный.
Не смелый подвиг россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский великан
Меня воспламеняют ныне...

.
.

НА СТУРДЗУ

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата,
Иль смерти немца Коцебу...
А впрочем, - - .

В. В. ЭНГЕЛЬГАРДТУ

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый, но живой:
Его мучительная лапа
Не тяготее надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И сон, и сладостный покой,
Как прежде, посетили снова
Мой угол тесный и простой.
Утешь и ты полубольного!
Он жаждет видеться с тобой,
С тобой, счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслаждений властелин!
От суеты столицы праздной,
От хладных прелестей Невы,
От вредной сплетницы молвы,

От скуки, столь разнообразной,
Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода.
Дай руку мне. Приеду я
В начале мрачном октября:
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

ОРЛОВУ

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный;
О ты, который, с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку,
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача,
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;

За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его:
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Смирив немирные желанья,
Без доломана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов
И буду ждать. Когда ж восстанет
С одра покоя бог мечей,
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, среди сечи, среди пожаров,
С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья!
Я твой — я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья

На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой — люблю сей темный сад

С его прохладой и цветами,

Сей луг, уставленный душистыми скирдами,

Где светлые ручьи в кустарниках шумят;

Везде передо мной подвижные картины:

Здесь вижу двух озер лазурные равнины,

Где парус рыбака белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассыпанные хаты,

На влажных берегах бродящие стада,

Овины дымные и мельницы крылаты;

Везде следы довольства и труда.

Я здесь, от суетных оков освобожденный,

Учуся в истине блаженство находить,

Свободною душой закон боготворить,

Роптанью не внимать толпы непросвещенной,

Участьем отвечать застенчивой мольбе

И не завидовать судьбе

Злодея иль глупца в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!

В уединенье величавам

Слышнее ваш отрадный глас;

Он гонит лени сон угрюмый,

К трудам рождает жар во мне,

И ваши творческие думы

В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает

Везде невежества убийственный позор.

Не видя слез, не внемля стона,

На пагубу людей избранное судьбой,

Здесь Барство дикое, без чувства, без закона,

Себе присвоило насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
С поникшею главой, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
 Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
 Здесь девы юные цветут
 Для прихоти бесчувственной злодея;
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар,
И не дан мне в удел витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

К ЩЕРБИНИНУ

Житье тому, любезный друг,
Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем, и всем доволен;
Кто Наденьку под вечерок
За тайным ужином ласкает
И жирный страсбургский пирог
Вином душистым запивает;
Кто, удалив заботы прочь,
Как верный сын пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С молодой монашенкой Цитеры.

Поутру сладко дремлет он,
Читая листик «Инвалида»;
Весь день веселью посвящен,
А в ночь — вновь царствует Киприда!
И мы не так ли дни ведем,
Щербинин, резвый друг забавы,
С Амуром, шалостью, вином,
Покамест молоды и здравы?
Но дни молодые пролетят,
Веселья, нега нас покинут,
Желаньям чувства изменят,
Сердца иссохнут и остынут.
Тогда, — без песен, без подруг,
Без наслаждений, без желаний —
Найдем отраду, милый друг,
В туманном сне воспоминаний!
Тогда, качая головой,
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?»
И тихо улыбнемся оба.

* * *

Нет, нет, напрасны ваши пени,
Я вас люблю, всё тот же я.
Дни наши, милые <друзья>,
Бегут, как утренние тени.
Мы наслаждаемся, цветом,
Но память ищет оживляться<?>
И сердце сном
В минувшем любит забываться.

* * *

Давно ли тайными судьбами
Нам жизни чаша подана?

Еще для нас она полна.
К ее краям прильнув устами,
Мы пьем восторги и любовь.
Для нас надежды, наслажденья,
[Для нас] все [новы] заблужденья,
Как новы

ДОМОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полуночного вора
И от недружеского взора,
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг него заботливым дозором,
Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров:
Они знакомы вдохновеню.

К Ф. Ф. ЮРЬЕВУ

Здорово, Юрьев именинник!
Здорово, Юрьев лейб-улан!
Сегодня для тебя пустынный

Осушит пенистый стакан.
Здорово, Юрьев именинник!
Здорово, Юрьев лейб-улан!

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.
Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!

Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и - - - ,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и - - - !

ВСЕВОЛОЖСКОМУ

Прости, счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы!
Итак, от наших берегов,
От мертвой области рабов,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь в мирную Москву,
Где наслажденьям знают цену,
Беспечно дремлют наяву
И в жизни любят перемену.
В сей азиатской стороне,
Нас уверяют, жизнь — игрушка!
В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.
Разнообразной и живой
Она пленяет пестротой.

Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тучной знатности похмелье,
И скуку, с картами в руках.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься под рукой;
Но вскоре, верный обожатель
Забав и лени золотой,
Держася моего совета
И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого света
И жить решишься для себя.
Уже в приюте отдаленном
Я вижу мысленно тебя:
Кипит в бокале опененном
Аи холодная струя;
В густом дыму ленивых трубок,
В халатах новые друзья
Шумят и пьют; задорный кубок
Обходит их безумный круг,
И мчится в радостях досуг;
А там египетские девы
Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,
Стон неги, вопли, дикий вой;
Их исступленные движенья,
Огонь неистовых очей,
И всё, мой друг, в душе твоей
Рождает трепет упоенья...
Но вспомни, милый: здесь одна,

Тебя всечасно ожидая,
Вздыхает пленница младая;
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой,
Тихонько плачет под окном,
От грозных аргусов украдкой,
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто пировали
С Кипридой, Вакхом и тобой,
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетали.
О, скоро ль милого найдут
Ее потушенные взоры,
И пред любовью упадут
Замков ревнивые затворы?

А наш осиротелый круг,
Товарищ, скоро ль оживится?
Когда прискачешь, милый друг?
Душа вослед тебе стремится.
Где б ни был ты, возьми венок
Из рук молодого сладострастья
И докажи, что ты знаток
В неведомой науке счастья.

ВЕСЕЛЫЙ ПИР

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово *ней*
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.

УЕДИНЕНИЕ

Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали тиранов и невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрыт, по милости творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала.

* * *

Напрасно, милый друг, я мыслил утаить
Обманутой [души] холодное волнение.
Ты поняла меня — проходит упоенье,
Перестаю тебя любить...

[Исчезли навсегда часы] очарованья,
Пора прекрасная прошла,
Погасли юные желанья,
Надежда в сердце умерла.

* * *

За старые грехи наказанный судьбой,
Я стражду восемь дней, с лекарствами в желудке,
С Меркурием в <крови>, с раскаяньем в рассудке—
[Я стражду — Эскулап ручается душой]

* * *

Всё призрак, суета,
Всё дрянь и гадость;
Стакан и красота —
Вот жизни радость.

Любовь и вино
Нам нужны равно;
Без них человек
Зевал бы весь век.

К ним лень еще прибавлю,
Лень с ними заодно;
[Любовь] я с нею славлю —
Она мне льет вино.

ЛИЛЕ

Лила, Лила, я страдаю
Безотраднoю тоской,
Я томлюсь, я умираю,
Гасну пламенной душой;
Но любовь моя напрасна:
Ты смеешься надо мной.
Смейся, Лила: ты прекрасна
И бесчувственной красой.

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Я знаю, Лидинька, мой друг,
Кому в задумчивости сладкой
Ты посвятила свой досуг,
Кому ты жертвуешь украдкой
От подозрительных подруг.
Тебя страшит проказник милый
Очарователь легкокрылый,
И хладной важностью своей
Тебе несносен Гименей.
Ты молишься другому богу,

Своей покорствуя судьбе;
Восторги нежные к тебе
Нашли пустынную дорогу.
Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
Твой бог не полною отрадой
Своих поклонников дарит.
Его таинственной наградой
Младая скромность дорожит.
Он любит сны воображенья,
Он терпит на дверях замок,
Он друг стыдливый наслажденья,
Он брат любви, но одинок.
Когда бессонницей унылой
Во тьме ночной томишься ты,
Он оживляет тайной силой
Твои неясные мечты,
Вздыхает нежно с бедной Лидой
И гонит тихою рукой
И сны, внушенные Кипридой,
И сладкий, девственный покой.
В уединенном наслажденьи
Ты мыслишь обмануть любовь.
Напрасно! — в самом упоеньи
Вздыхаешь и томишься вновь.

Амур ужели не заглянет
В неосвященный свой приют?
Твоя краса, как роза, вянет;
Минуты юности бегут.
Ужель мольба моя напрасна?
Забудь преступные мечты,
Не вечно будешь ты прекрасна,
Не для себя прекрасна ты.

ЗАПИСКА К ЖУКОВСКОМУ

Раевский, *молоденец* прежний,
А там уже *отважный сын*,
И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц богинь,
К тебе, Жуковский, заезжали,
Но к неописанной печали
Поэта дома не нашли —
И, увенчавшись кипарисом,
С французской повестью *Борисом*
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведет Жуковского со мной?
Скажи, не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной?
На всякий случай — ожидаю;
Тронися просьбою моей,
Тебя зовет на чашку чаю
Раевский — слава наших дней.

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

Чья мысль восторгом угадала,
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, означала
Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья
Его сразили. Взор немой
Вперил он на свое созданье
И гаснет пламенной душой.

РУСАЛКА

Над озером, в глухих дубровах,
Спасался некогда монах,

Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл
И лишь о смерти вожденной
Святых угодников молил.

Однажды летом у порогу
Поникшей хижины своей
Анахорет молился богу.
Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
На воды стал глядеть монах.

Глядит, невольно страха полный;
Не может сам себя понять...
И видит: закипели волны
И присмирели вдруг опять...
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у берегов.

Глядит на старого монаха
И чешет влажные власы.
Святой монах дрожит со страха
И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг падучею звездой
Под сонной скрылася волной.

Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день:

Перед собой с невольной думой
Всё видел чудной девы тень.
Дубравы вновь оделись тьмою;
Пошла по облакам луна,
И снова дева над водою
Сидит, прелестна и бледна.

Глядит, кивает головою,
Целует издали шутя,
Играет, плещется волною,
Хохочет, плачет, как дитя,
Зовет монаха, нежно стонет...
«Монах, монах! Кю мне, ко мне!..»
И вдруг в волнах прозрачных тонет;
И всё в глубокой тишине.

На третий день отшельник страстный
Близ очарованных берегов
Сидел и девы ждал прекрасной,
А тень ложилась средь дубров...
Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
Мальчишки видели в воде.

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Хранитель милых чувств и прошлых

наслаждений,

О ты, певцу дубрав давно знакомый Гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где [я] любил, где [чувство] развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось

И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой...

Веди, веди меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий скат холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И злачных берегов знакомую картину,
И в тихом [озере], средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

* * *

Там у леска, за ближнею долиной,
Где весело теченье светлых струй,
Младой Эдвин прощался там с Алиной;
Я слышал их последний поцелуй.

Взошла луна — Алина там сидела,
И тягостно ее дышала грудь.
Взошла заря — Алина всё глядела
[Сквозь] белый пар на опустелый путь.

Там у ручья, под ивою прощальной,
[В час утренний] пастух ее видал,
Когда к ручью волынкою печальной
В полдневный жар он стадо загонял.

Прошли года — другой уж в половине;
И вижу я — вдали Эдвин идет.
Он шел грустя к дубраве по долине,
Где весело теченье светлых вод.

Глядит Эдвин — под ивою, где с милой
Прощался он, стоит святой чернец,

Поставлен крест над новою могилой,
И на кресте завялых роз венец.

И в нем душа стеснилась вдруг от страха.
[Кто здесь сокрыт?] читает надпись он —
Главой поник... упал к ногам монаха,
И слышал я его последний стон...

СТАНСЫ ТОЛСТОМУ

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.

Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горацийев фиал.

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.

Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!

Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок незаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с годами,
Спадают ветхой чешуей:
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

ПОСЛАНИЕ К КН. А. М. ГОРЧАКОВУ

Питомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящий наблюдатель,
Ты мне велишь оставить мирный круг,
Где, красоты беспечный обожатель,
Я провожу незнаемый досуг.
Как ты, мой друг, в неопытные лета,
Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь и чувства и покой;
Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.
И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все — прекрасного друзья,

Чем вялые, бездушные собрания,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин — невежд законодатель,
Где Шеппинг — царь, а скука — председатель,
Где глупостью единой все равны.
Я помню их, детей честолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал!..
Когда в кругу Лаис благочестивых
Затянутый невежда-генерал
Красавицам внимательным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством благосклонным,
И все вокруг и дремлют, и молчат,
Крутят усы и шпорами бренчат,
Да изредка с улыбкою зевают,
Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и музы угощают.
Не слышу я бывало острых слов,
Политики смешного лепетанья,
Не вижу я изношенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья!..
И ты на миг оставь своих вельмож
И тесный круг друзей моих умножь,
О ты, харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун,
Попрежнему остряк небогомольный,
Попрежнему философ и шалун.

* * *

Но я не тот, мои златые годы,
Безумства жар, веселость, острота,

Любовь стихов, любовь моей свободы —
Проходит всё, как легкая мечта.
Так иногда за чашей ликования
Найдешь меня объятого тоской,
Задумчива, с поникшею главой —
И ты поймешь души моей страданья.

* * * ¹

Ольга, крестница Киприды,
Ольга, чудо красоты,
Как же ласки и обиды
Расточать привыкла ты!
Поцелуем сладострастья
[Ты, тревожа сердце в нас,]
Соблазнительного счастья
Назначаешь тайный час.
Мы с горячкою любовной
Прибегаем в час условный,
В дверь стучим — но в сотый раз
Слышим твой коварный шопот
И служанки сонный ропот,
И насмешливый отказ.

Ради резвого разврата
Приапических затей,
Ради неги, ради злата,
Ради прелести твоей,
Ольга, жрица наслажденья,
Внемли наш влюбленный плач —
Ночь восторгов, ночь забвенья
Нам наверное назначь.

¹ Это и следующие стихотворения датируются 1819 г. предположительно.

П. Б. МАНСУРОВУ

Мансуров, закадычный друг,
Надень венок терновый!
Вздохни — и рюмку выпей вдруг
За здравие Крыловой.

Поверь, она верна тебе,
Как девственница Ласси,
Она покорствуется судьбе
И госпоже Казасси.

Но скоро счастливой рукой
Набойку школы скинет,
На бархат ляжет пред тобой

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ты прав, несносен Фирс ученый,
Педант надутый и мудреный:
Он важно судит обо всем,
Всего он знает понемногу.
Люблю тебя, сосед Пахом:
Ты просто глуп, и слава богу.

* * *

Лаиса, я люблю твой смелый, [вольный] взор,
Неутолимый жар открытого желанья
И непрерывные лобзанья
И страсти полный разговор.
Люблю горящих уст я вызовы немые,
Восторги быстрые, живые.

«Tien et mien, — dit Lafontaine, —
Du monde a rompu le lien». —
Quant a moi, je n'en crois rien.
Que serait ce, ma Climène,
Si tu n'étais plus la *mienne*,
Si je n'étais plus le *tien*?»¹

МАДРИГАЛ М — ОЙ

О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее: узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.

Е. П. БАКУНИНОЙ

Напрасно воспевать мне ваши именины
При всем усердии послушности моей:
Вы не милее в день святой Екатерины
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.

ТЫ И Я

Ты богат, я очень беден;
Ты прозаик, я поэт;

¹ «Твое и мое, — сказал Лафонтен, —
Расторгли все связи на свете». —
Что до меня — я в этом не вижу толку.
Что случилось бы, моя Климена,
Когда бы ты не была *моею*,
Когда бы я не был *твоим*?

Ты румян, как маков цвет,
Я, как смерть, и тощ, и бледен.
Не имея ввек забот,
Ты живешь в огромном доме;
Я ж средь горя и хлопот
Провожу дни на соломе.
Ешь ты сладко всякий день,
Тянешь вины на свободе,
И тебе нередко лень
Нужный долг отдать природе;
Я же с черствого куска,
От воды гнилой и пресной,
Сажень за сто с чердака
За нуждой бегу известной.
Окружен рабов толпой,
С грозным деспотизма взором,

Я же -----
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, - - .

НИМФОДОРЕ СЕМЕНОВОЙ

Желал бы быть твоим, Семенова, покровом,
Или собачкою постельною твоей,
Или поручиком Барковым,
Ах, он поручик! ах, злодей!





1820

* * *

«Скажи, какие заклинанья
Имеют над тобою власть?» —
«Все хороши: на все призванья
Готов я как бы с неба пасть.
Довольно одного желанья —
Я, как догадливый холоп,
В ладони по-турецки хлоп,
Присвистни, позвони, и мигом
Явлюсь. Что делать — я служу,
Живу, крихчу под вечным игом,
Как нянька бедная, хожу
За вами — слушаю, гляжу».

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Всё непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

ДОРИДА

В Дориде нравятся и локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались.
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

* * *

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной Славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет, свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

НА АРАКЧЕЕВА

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он, «преданный без лести»?
— грошевой солдат.

* * *

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

ЭПИГРАММА

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но исправясь понемногу
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу, —
Только что картежный вор.

* * *

Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыплай здоровых.

* * *

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой...
Увянет! Жизнью молодою
Недолго наслаждаться ей;
Недолго радовать собою
Счастливым круг семьи своей,
Беспечной, милой острою

Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу улаждать.
Спешу в волнение дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее.
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

* * *

Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной, —
Мне вас не жаль, о таинства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной;

[Мне вас не жаль], неверные друзья,
Венки пиров и чаши круговые,
Мне вас не жаль, изменницы младые, —
Задумчивый, забав чуждаюсь я.

Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины,
[Где прежний жар], где нега вдохновенья?..
Придите вновь, года моей весны!

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волнением и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаям упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...

Шумы, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,

Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы молодые,
Подруги тайные моей весны златая,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...

Шумы, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Зачем безвременную скуку
 Зловещей думою питать,
 И неизбежную разлуку
 В унынье робком ожидать?
 И так уж близок день страданья!
 Один, в тиши пустых полей,
 Ты будешь звать воспоминанья
 Потерянных тобою дней:
 Тогда изгнаньем и могилой,
 Несчастный, будешь ты готов
 Купить хоть слово девы милой,
 Хоть легкий шум ее шагов.

ДОЧЕРИ КАРАГЕОРГИЯ

Гроза луны, свободы воин,
 Покрытый кровию святой,
 Чудесный твой отец, преступник и герой,
 И ужаса людей, и славы был достоин.
 Тебя младенца он ласкал
 На пламенной груди рукой окровавленной;
 Твоей игрушкой был кинжал,
 Братоубийством изощренный.
 Как часто, возбужив свирепой мести жар,
 Он молча над твоей невинной колыбелью
 Убийства нового обдумывал удар
 И лепет твой внимал и не был чужд веселью!
 Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
 Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
 Смиренной жизнью пред небом искупила:
 С могилы грозной к небесам
 Она, как сладкий фимиам,
 Как чистая любви молитва, восходила.

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ

Гляжу, как безумный, на черную шаль
И хладную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.

Прелестная дева ласкала меня;
Но скоро я дожил до черного дня.

Однажды я созвал веселых гостей:
Ко мне постучался презренный еврей.

С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя.

Я дал ему злата и проклял его,
И верного позвал раба моего.

Мы вышли: я мчался на быстром коне;
И кроткая жалость молчала во мне.

Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...

В покой отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал,
И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моления, текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь.

С главы ее мертвой сняв черную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.

Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.

С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел nereиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

* * *

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там, некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,

Когда на хижину сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

ЭПИГРАММА

Хаврониос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презренье поседелый,
Уймись, дружок! к чему журнальный шум
И пасквилей томительная тупость?
Затейник зол, с улыбкой скажет Глупость.
Невежда глуп, зевая, скажет Ум.

ЭПИГРАММА

Когда б писать ты начал сдуру,
Тогда б наверно ты пролез
Сквозь нашу тесную цензуру,
Как видишь в царствие небес.

ЭПИГРАММА

Как брань тебе не надоела!
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так, я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

* * * 1

Там на берегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял;
Там часто я бродил уединенный
И в даль глядел... и милой встречи ждал.

¹ Этот набросок датируется 1820 г. предположительно.



1821

ЗЕМЛЯ И МОРЕ

Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет, —
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут,
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы:
Земля мне кажется верней,
И жалок мне рыбак суровый:
Живет на утлом он челне,
Игралище слепой пучины,
А я в надежной тишине
Внимаю шум ручья долины.

КРАСАВИЦА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Взгляни на милую, когда свое чело
Она пред зеркалом цветами окружает,
Играет локоном, и верное стекло
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

* * *

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

ДЕЛЬВИГУ

Друг Дельвиг, мой парнасский брат,
Твоей я прозой был утешен,
Но признаюсь, барон, я грешен:
Стихам я больше был бы рад.
Ты знаешь сам: в минувши годы
Я на берегу парнасских вод
Любил марать поэмы, оды,
И даже зрел меня народ
На кукольном театре моды.

Бывало, что ни напишу,
Всё для иных не Русью пахнет;
Об чем цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковский ахнет.
Теперь едва, едва дышу,
От воздержанья муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.

.
К неверной славе я хладею;
И по привычке лишь одной
Лениво волочусь за нею,
Как муж за гордою женой.
Я позабыл ее обеты,
Одна свобода мой кумир,
Но всё люблю, мои поэты,
Счастливым голос ваших лир.
Так точно, позабыв сегодня
Проказы младости своей,
Глядит с улыбкой ваша сводня
На шашни молодых - - -.

ИЗ ПИСЬМА К ГНЕДИЧУ

В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный
Овидий мрачны дни влачил;
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил;
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.
Всё тот же я, как был и прежде,

С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию, в слепой надежде,
Молебнов лести не пою
И дружбе легкие посланья
Пишу без строгого старанья.
Ты, коему судьба дала
И смелый ум, и дух высокий
И важным песням обрекла,
Отраде жизни одинокой;
О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый,
Гомера музу нам явил
И смелую певицу славы
От звонких уз освободил, —
Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца,
И вновь он оживил певца,
Как сладкий голос вдохновенья.
Избранник Феба! твой привет,
Твои хвалы мне драгоценны;
Для муз и дружбы жив поэт.
Его враги ему презренны.
Он музу битвой площадной
Не унижает пред народом
И поучительной лозой
Зоила хлещет — мимоходом.

КИНЖАЛ

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Где Зевсов гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет,
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар неожиданный твой:
На суше, на водах, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Кинжал, ты кровь излил, — и мертв объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Исчадь мятежей подымлет злобный крик;
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
И высший суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

Свободы мученик, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

Твоей Германии он вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

МУЗА

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой; и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
П песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградой случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным ды-
ханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

ЧААДАЕВУ

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой.
Врагу стеснительных условий и оков,
Нетрудно было мне отвыкнуть от пиров,
Где праздный ум блеснит, тогда как сердце дремлет,
И правду пылкую приличий хлад объемлет.
Оставя шумный круг безумцев молодых,

В изгнании моем я не жалел о них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений,
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись;
Цевницы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звук меня обрадовал: и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявшие меня в младенческие леты,
В те дни, когда, еще не знаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,
Я пеньем оглашал приют забав и лени
И царскосельские хранительные сени.
Но дружбы нет со мной: печальный вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музы, ни труды, ни радости досуга,
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;

Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор,
Отвыкнул от вина и стал картежный вор;
Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетанье дам, зоилов и глупцов
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?
Благодарю богов: прошел я мрачный путь;
Печали ранние мою теснили грудь;
К печалям я привык, расчелся я с судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.
Одно желание: останься ты со мной!
Небес я не томил молитвою другой.
О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,

Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я: но только, ради бога,
Гони ты Шеппинга от нашего порога.

КАТЕНИНУ

Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Моиной.
Так легкомысленной душой,
О боги, смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.

* * *

«Хоть, впрочем, он поэт изрядный,
Эмилий человек *пустой*»—
«Да ты чем *полон*, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой!»

В. Л. ДАВЫДОВУ

Меж тем как генерал Орлов,
Обранный рекрут Гименея,

Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов;
Меж тем, как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками аи
Сидят Раевские мои —
Когда везде весна младая
С улыбкой распустила грязь,
И с горя на берегах Дуная
Бунтует наш безрукий князь...
Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя —
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя.
На этих днях, тиран <?> собора,
Митрополит, седой обжора,
Перед обедом невзначай
Велел жить долго всей России...
И с сыном птички и Марии
Пошел христосоваться в рай...
Я стал умен, [я] лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, и намедни
Я променял парнасски бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушеные грибы.
Однако ж гордый мой рассудок
[Меня порядочно] бранит,
А мой ненабожный желудок
Причастья вовсе не варит...
Еще когда бы кровь Христова
Была хоть, например, лафит...
Иль кло д'вужо, тогда б ни слова,

А то — подумать, так смешно —
С водой молдавское вино.
Но я молюсь и воздыхаю,
Крещусь, не внемлю сатане...
А всё невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоём вине...

Вот эвхаристия [другая],
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей,
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали!
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся —
И я скажу: «Христос воскрес».

К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

Подруга думы праздной,
Чернильница моя;
Мой век разнообразный
Тобой украсил я.
Как часто друг веселья
С тобою забывал
Условный час похмелья
И праздничный бокал;
Под сенью хаты скромной,
В часы печали томной,

Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья.
Прозрачный легкий дым
Носился над тобою,
И с трепетом живым
В нем быстрой чередою¹

Сокровища мои
На дне твоём таятся.
Тебя я посвятил
Занятиям досуга
И с ленью примирил:
Она твоя подруга.
С тобой успех узнал
Отшельник неизвестный...
Заветный твой кристалл
Хранит огонь небесный;
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без вялого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То правды слог суровый,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль.

¹ После этого стиха не сохранилось около сорока четырех стихов.

С глупцов сорвав одежду,
Я весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном твоих чернил...
Но их не разводил
Ни тайной злости пеной,
Ни ядом клеветы.
И сердца простоты
Ни лестью, ни изменой
Не замарала ты.

Но здесь, на лоне лени,
Я слышу нежны пени
Заботливых друзей...
Ужели их забуду,
Друзей души моей,
И им неверен буду?
Оставь, оставь порой
Привычные затеи,
И дактил, и хорей
Для прозы почтовой.
Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты,
Уныние разлуки,
Всегдашние мечты,
Мои надежды, чувства
Без лести, без искусства
Бумаге передай...
Болтливостью небрежной
И ветреной, и нежной
Их сердце утешай...

Беспечный сын природы,
Пока златые годы
В забвенье трачу я,
Со мною неразлучно

Живи благополучно,
Наперсница моя.

Когда же берег ада
Навек меня возьмет,
Когда навек уснет
Перо, моя отрада,
И ты, в углу пустом
Осиротев, остынешь
И навсегда покинешь
Поэта тихий дом,
Тебя возьмет унылый
Чадаев, друг мой милый;
Последний будь привет
Любимцу прежних лет!
Иссохшая, пустая,
Меж двух его картин
Останься век немая,
Укрась его камин —
Взыскательного света
Очей не привлекай,
Но верного поэта
Друзьям напоминай.

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Христос воскрес, моя Реввека
Сегодня, следуя душой
Закону бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я, не робея,
Готов, еврейка, приступить
И то во власть тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Кто видел край, где роскошью природы
 Оживлены дубравы и луга,
 Где весело, синяя, блещут воды
 И пышные ласкают берега,
 Где на холмы, под лавровые своды,
 Не смеют лечь угрюмые снега?
 Скажите мне: кто видел край прелестный,
 Где я любил, изгнанник неизвестный?

Златой предел! любимый край Эльвины,
 Туда летят желания мои!
 Я помню гор высокие вершины
 И беглых вод веселые струи,
 И тень, и шум, и красные долины,
 Где бедные простых татар семьи
 Среди забот и с дружбою взаимной
 Под кровлею живут гостеприимной!

И шелковиц, и тополей прохлада,
 В тени олив уснувшие стада,
 Вокруг домов решотки винограда,
 Монастыри, селенья, города,
 Прилива шум и говор водопада,
 И средь валов летучие суда,
 И яркие лучи золотого Феба,
 И синий свод полуденного неба.

И там, где мирт шумит над падшей урной,
 Увижу ль вновь сквозь темные леса
 И своды скал, и моря блеск лазурный
 И ясные, как радость, небеса?
 Утихнет ли волнение жизни бурной?
 Минувших лет воскреснет ли краса?
 Приду ли вновь под сладостные тени
 Душой уснуть на лоне мирной лени?

* * *

Князь Г. со мною не знаком.
Я не видал такой негодной смеси:
Составлен он из подлости и спеси,
Но подлости побольше спеси в нем;
В сраженье трус, в трахтире он бурлак.
В передней он подлец, в гостиной он дурак.

* * *

Раззевавшись от обедни,
К Катакази еду в дом.
Что за греческие бредни,
Что за греческий содом!
Подогнув - - - ноги,
За вареньем, средь прохлад,
Как египетские боги,
Дамы преют и молчат.

«Признаюсь пред всей Европой, —
Хромоногая кричит: —
Маврогений - - -
Душу, сердце мне томит.
Муж! вотще карманы грузно
Ты набил в семье моей,
И вотще ты пятишь грузно,
Маврогений мне милей».

Здравствуй, круглая соседка!
Ты бранчива, ты скупа,
Ты неловкая кокетка,
Ты плешива, ты глупа.
Говорить с тобой нет мочи,
Всё прощаю! бог с тобой;
Ты с утра до темной ночи
Рада в банк играть со мной.

Вот еврейка с Тадарашкой,
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит - - - ,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею.
Ах, еврейка, бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет!

Ты наказана сегодня,
И тебя пронзил Амур,
О чувствительная сводня,
О краса молдавских дур.
Смотришь: каждая девица
Пред тобою с молодцом,
Ты ж одна, моя вдовица,
С указательным перстом.

Ты умна, велеречива,
Кишиневская Жанлис,
Ты бела, жирна, шутлива,
Пучеокая Тарсис.
Не хочу судить я строго,
Но к тебе не льнет душа —
Так послушай, ради бога,
Будь глупа, да хороша.

ПОСВЯЩЕНИЕ «ГАВРИИЛИАДЫ»

Вот Муза, резвая болтунья,
Которую ты столь любил,
Раскаялась моя шалунья,
Придворный тон ее пленил;
Ее всевышний осенил
Своей небесной благодатью,

Она духовному занятию
Опасной жертвует игрой.
Не удивляйся, милый [мой],
Ее израильскому платью,
Прости ей прежние грехи,
[И] под заветною печатью
Прими [опасные] стихи,

Примите новую тетрадь,
Вы, юноши, и вы, девицы.
Не веселее [ль] вам читать
Игривой Музы небылицы,
Чем пиндарических похвал
Высокопарные страницы
Иль усыпительный журнал,
Который [был когда-то в моде],
[А ныне] так тяжел и груб,
[Который вопреки природе]
Быть хочет зол и только глуп?

О вы, которые любили
Парнаса тайные цветы,
И своевольные мечты
Вниманьем слабым наградили,
Спасите труд небрежный мой
Под сенью
От рук Невежества слепого,
От взоров Зависти косой.
Картины, думы и рассказы
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал
И бешеной любви проказы
В архивах ада отыскал.

Недавно бедный музульман
 В Юрзуфе жил с детьми, с женою;
 Душевно почитал священный Алькоран
 И счастлив был своей судьбою.

Мехмет (так звался он) прилежно целый день
 Ходил за ульями, за стадом
 И за домашним виноградом,
 Не зная, что такое лень;

Жену свою любил; Селима это знала,
 И каждый год ему детей она рожала;
 По-нашему, друзья, хоть это и смешно,
 Но у татар уж так заведено.

Фатима раз (она в то время
 Несла трехмесячное бремя), —

А каждый ведаёт, что в эти времена
 И даже самая степенная [жена]
 Имеет прихоти то эти, то другие,
 И боже упаси какие! —

Фатима говорит умильно муженьку:
 «Мой друг, мне хочется ужасно каймаку.

Теряю память я, рассудок,

Во мне так и горит желудок;

Я не спала всю ночь — и посмотри, душа,
 Сегодня, верно, я совсем нехороша.

Всего мне [должно опасаться:]

Не смею даже почесаться,

Чтоб крошку не родить с сметаной на носу —
 Такой я муки не снесу.

Любезный, миленький, красавец мой, дружочек,
 Достань мне каймаку, хоть крохотный кусочек».

Мехмет разжалился, собрался;

В кушак завязал,

Детей благословил, жену поцеловал

И в ближнюю долину побежал,

Чтобы порадовать жестокую больную.
Не шел он, а летел. Зато в обратный путь
Пустился по горам, едва-едва шагая;
И скоро стал искать, совсем изнемогая,
Местечка, где бы отдохнуть.

По счастью, на конце долины

Он видит ручеек.

Добрел до берегов и лег в тени ветвей.

Журчанье вод, дерев вершины,

Душистая трава, прохладный бережок,

И тень и ветерок—

Всё нежило, всё говорило:

Люби иль почивай! Люби!

там змей

Мехмету в ум не приходило

вот это мило.

Хоть было бы не спать

Благоразумно и верней,

Всё же Мехмет, как царь, уснул в долине.

Положим, что царям дано

Под балдахином

Хоть это, впрочем, мудрено.

КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском [колких слов], и шутками богатый,
Счастливым Вяземский, завидую тебе.
Ты право получил, благодаря судьбе,
Смеяться весело над Злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

* * *

Красы Лаис, заветные пиры

И клики радости безумной,

И мирных муз минутные дары,
И лепетанье славы шумной...

Пленительный разоблачив кумир,
Я вижу призрак безобразный —
Но что ж теперь тревожит хладный мир
Души бесчувственной и праздной?

Любил я [жизнь] и славу и любовь
И многому [на свете] верил,
[Когда еще кипела в сердце кровь
И сам с собой я лицемерил.]

* * *

Певец-гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов;
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутылъ.

Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей.
И весь я пламенею
Воспоминаям прежних дней.

В печальной северной пустыне
[Любовь, разлуку] ты воспел.
Где б ни был, но тебя донныне
Люблю

Я всё люблю язык страстей,
Его пленительные звуки
Приятны мне как глас друзей
Во дни печальные разлуки.

* * *

Если с нежной красотой
Вы чувствительны душою,
Если горести чужой
Вам ужасно быть виною,
Если тяжко помнить вам
Жертву [тайного] страданья —
Не оставлю сим листам
Моего воспоминанья.

* * *

A son amant Eglé sans résistance
Avait cédé — mais lui pâle et perclus
Se deménait — enfin n'en pouvant plus
Tout essoufflé tira... sa révérence, —
«Monsieur,—Eglé d'un ton plein d'arrogance,
Parlez, Monsieur, pourquoi donc mon aspect
Vous glace-t-il? m'en direz vous la cause?
Est-ce dégoût?» — Mon dieu, c'est autre chose. —
«Excès d'amour?» — Non, excès de respect.¹

¹ Аглая любовнику своему, не противясь, Уступила, — однако тот, бледный и ослабелый, Долго суетился и, выбившись из сил, Кончил... тем, что стал откланиваться. «Сударь, — Аглая надменным тоном, — Скажите, сударь, почему вид мой Вас леденит? Какая тому причина? Отвращение?» — «Боже мой, совсем иное. — «Избыток чувства?» — «Нет, избыток почтительности».

* * *

В твою светлицу, друг мой нежный,
Я прихожу в последний раз.
Любви, отрады безмятежной
Делю с тобой [последний час].
Вперед одна в надежде томной
Не жди меня средь ночи темной,
До первых утренних лучей
 Не жги свечей.

ГРОБ ЮНОШИ

 Сокрылся он,
Любви, забав питомец нежный;
Кругом него глубокий сон
И клад могилы безмятежной...

Любил он игры наших дев,
Когда весной в тени дерев
Они кружились на свободе;
Но нынче в резвом хороводе
Не слышен уж его припев.

Давно ли старцы любовались
Его веселостью живой,
Полупечально улыбались
И говорили меж собой:
«И мы любили хороводы,
Блестали так же в нас умы;
Но погоди, приспеют годы,
И будешь то, что ныне мы;
Как нам, о мира гость игривый,
Тебе постынет белый свет;
Теперь играй...» Но старцы живы,
А он увял во цвете лет.
И без него друзья пируют,

Других уж полюбить успеv;
Уж редко, редко именуют
Его в беседе юных дев.
Из милых жен, его любивших,
Одна, быть может, слезы льет
И память радостей почивших
Привычной думою зовет...
К чему?

Над ясными водами
Гробницы мирною семьею
Под наклоненными крестами
Таятся в роще вековой.
Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бедный юноша лежит.

Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вокруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной
Идет и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой.

ДИОНЕЯ

Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз
Украдкою вдвоем мы замечали вас;
Ты слушаешь его, в безмолвии краснея;
Твой взор потупленный желанием горит,
И долго после, Дионея,
Улыбку нежную лицо твое хранит.

* * *

Умолкну скоро я. Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный;
Но если я любим, — позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной.
Когда меня навек обьет смертный сон,
Над урною моей промолви с умилением:
Он мною был любим, он мне был одолжен
И песен, и любви последним вдохновеньем.

* * *

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне.
Пусть я радости вкушаю не вполне;
Но ты, невинная, ты рождена для счастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцелуев сладострастья;
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;
Доверчивой души беспечность улетит,

И ты моей любви, быть может, ужаснешься
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений.
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

АЛЕКСЕЕВУ

Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты:
Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты;
Свободы друг миролюбивый,
В толпе красавиц молодых
Я, равнодушный и ленивый,
Своих богов не вижу в них.
Их томный взор, приветный лепет
Уже не властны надо мной.
Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой.
Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно.
Прошел веселой жизни праздник;
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу.
Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Когда любовник исступленный,

Тоскуя, плачет предо мной
И для красавицы надменной
Клянется жертвовать собой;
Когда в жару своих желаний
С восторгом изъясняет он
Неясных, темных ожиданий
Обманчивый, но сладкий сон
И, крепко руку сжав у друга,
Клянет ревнивого супруга,
Или докучливую мать, —
Его безумным увереньям
И поминутным повтореньям
Люблю с участием внимать;
Я льщу слепой его надежде,
Я молод юностью чужой
И говорю: так было прежде
Во время оно и со мной.

НАПОЛЕОН

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед:
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настает.

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенен твоею славой,
Почий среди пустынных волн!
Великолепная могила...
Над урной, где твой прах лежит,

Народов ненависть почила,
И луч бессмертия горит.

Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упали
При громах силы роковой?
Послушны воле своеюравной,
Бедой шумели знамена,
И налагал ярем державный
Ты на земные племена.

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир,
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный,
Свободы яркий день вставал —

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел,
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой,

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил,
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,

Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил;

И Франция, добыча славы,
Пленный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор.
Ты вел мечи на пир обильный;
Всё пало с шумом пред тобой:
Европа гибла; сон могильный
Носился над ее главой.

И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.
Тильзит!.. (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс)
Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливец душу волновал.

Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал...

Россия, бранная царица,
Вспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие:

Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор.

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья;
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.

И всё, как буря, закипело;
Европа свой расторгла плен;
Вослед тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душевного изгнанья
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,

Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне
Забыв войну, потомство, трон,

Один, один, о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

ВОЙНА

Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вокруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей:
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений.
Всё ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое зыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть,
Кончину ль темную судил мне жребий боев?
И всё умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,

Воспоминание и брата, и друзей,
И мыслей творческих напрасное волнение,
И ты, и ты, любовь?.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?

Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня; нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?..

К ОВИДИЮ

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил;
И лиры нежный глас еще не онемел;
Еще твоей молвой наполнен сей предел.
Ты живо впечатлел в моем воображенье
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес, обычные снега
И краткой теплотой согретые луга.
Как часто, увлечен унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою:
Я видел твой корабль игралищем валов
И якорь, вверженный близ диких берегов,
Где ждет певца любви жестокая награда.
Там нивы без теней, холмы без винограда;
Рожденные в снегах для ужасов войны,
Там хладной Скифии свирепые сыны,
За Истром утаясь, добычи ожидают
И селам каждый миг набегом угрожают.
Преграды нет для них: в волнах они плывут
И по льду звучному бестрепетно идут.
Ты сам (дивись, Назон, дивись судьбе превратной!)

Ты, с юных лет презрев волнение жизни ратной,
Привыкнув розами венчать свои власы
И в неге провождать беспечные часы,
Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый
И грозный меч хранить близ лиры оробелой.
Ни дочь, ни жена, ни верный сонм друзей,
Ни музы, легкие подруги прежних дней,
Изгнанного певца не усладят печали.
Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть:
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут;
Дни старости твоей в забвении потонут.
Златой Италии роскошный гражданин,
В отчизне варваров безвестен и один,
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь,
Ты в тяжкой горести далекой дружбе пишешь:
«О, возвратите мне священный град отцов
И тени мирные наследственных садов!
О други, Августу мольбы мои несите!
Карающую длань слезами отклоните!
Но если гневный бог досель неумолим,
И век мне не видать тебя, великий Рим;
Последнею мольбой смягчая рок ужасный,
Приблизьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!»
Чье сердце хладное, презревшее харит,
Твое уныние и слезы укорит?
Кто в грубой гордости прочтет без умиления
Сии элегии, последние творенья,
Где ты свой тщетный стон потомству передал?

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их. Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.

Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял;
Но взор обманутым мечтаньям изменял.
Изгнание твое пленяло втайне очи,
Привыкшие к снегам угрюмой полуночи.
Здесь долго светится небесная лазурь;
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.
Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там, а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младую зеленью пестрел увядший луг;
Свободные поля взрывал уж ранний плуг;
Чуть веял ветерок, под вечер холодея;
Едва прозрачный лед, над озером тускнея,
Кристаллом покрывал недвижимые струи.
Я вспомнил опыты несмелые твои,
Сей день, замеченный крылатым вдохновеньем,
Когда ты в первый раз вверял с недоуменьем
Шаги свои волнам, окованным зимой:
И по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя, и жалобные звуки
Неслися издали, как томный стон разлуки.

Утешься; не увял Овидиев венец!
Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнью, с минутною молвой!..
Но если обо мне потомок поздний мой
Узнав придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный —
Брегов забвения оставя хладну сень,

К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.
Да сохранится же заветное преданье:
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе.
Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны.

ЭПИГРАММА НА КАЧЕНОВСКОГО

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем.

ДЕВА

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой:
Неосторожный друг, я знал: нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастья, наперсники судьбы
Смиренно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.

ЭПИГРАММА

Оставляя честь судьбе на произвол,
..... живая жертва фурий,

От малых лет любила чуждый пол,
И вдруг беда: казнит ее Меркурий,
Раскаяться приходит ей пора:
Она больна, глаз пухнет понемногу:
Вдруг лопнул он: что ж дама? — слава богу!
Всё к лучшему, вот лишняя дыра!

* * *

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как легкий сон:
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

* * *

Тадарашка в вас влюблен
И для ваших ножек,
Говорят, заводит он
Род каких-то дрожек.
Нам приходит нелегко;
Как неосторожно!
Ох! на дрожках далеко
Вам уехать можно.

ГЕНЕРАЛУ ПУЩИНУ

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квируга!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй, им просвещенный!

ЭПИГРАММА

Поверь мне, быть тебе Панглосом:
Ты болен: это не мечты.
И то-то, братец, будешь с носом,
Когда без носа будешь ты.

ПРИМЕТЫ

Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,

Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветер, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди, на лоне тихих вод
Плескаясь вечером, окличут твой приход,
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи,
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ревучий,
Иль бьющий в окна град, а ранний селянин,
Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услыша бури шум, не выйдет на работу
И погрузится вновь в ленивую дремоту.

КОКЕТКЕ

[И вы поверить мне могли,
Как простодушная Аньеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?]
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — немногим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны,
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Измены верно надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь!
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,

И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу;
Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Всё хорошо, благопристойно,
Могли б мы жить без дальних ссор
Опять и дружно и спокойно...
[Но нет! сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность —
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар и грусть и ревность.
Помилуйте — нет, право, нет,
Я не дитя, хоть и поэт.]
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:
Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

М. Е. ЭЙХФЕЛЬДТ

Ни блеск ума, ни стройность платья
Не могут вас обворожить;
Одни двоюродные братья
Узнали тайну вас пленить!
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня.
Одна моя надежда — Зоя:
Женюсь, и буду вам родня.

И раздается в тишине
То тяжкий вздох, то шопот важный,
И мрачно дремлет в вышине
Старинный свод глухой и влажный.

Стоят за клиросом <чернец>
И грешник, неподвижны оба —
И грешник бледен, как мертвец,
[Как будто] вышел он из гроба.

М о н а х:

«Несчастный, полно, перестань,
Ужасна исповедь злодея.
Заплачена тобою дань
Тому, кто, в [злобе пламенея],
Лукаво грешника блюдет
И к вечной гибели ведет.
Молись! Опомнись — [время, время]
Я разрешу тебя — грехов
Сложи мучительное <бремя>.

* * *

J'ai possédé maîtresse honnête,
Je la servais comme il le faut,
Mais je n'ai point tourné de tête, —
Je n'ai jamais visé si haut. ¹

¹ У меня была пристойная любовница;
Я ей служил, как должно,
Но головы ей не кружил:
Я никогда не целил так высоко.

* * *

Наперсница моих сердечных дум,
О ты, чей глас приятный и небрежный
Смирял порой [мечты души] мятежной
И веселил порой унылый ум,
О верная, задумчивая лира,
[Послушная] перстам.

* * * 1

Всегда так будет, как бывало;
Таков издревле белый свет:
Ученых много — умных мало,
Знакомых тьма — а друга нет!

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Добра чужого не желать
Ты, боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь —
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На всё спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благодстья.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, —
О боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.

¹ Это и следующее стихотворения датируются 1821 г. предположительно.

Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.





1822

* * *

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги; понимаю.
Другой за то, что был француз;
Клеон — умом ее страшая;
Дамис — за то, что нежно пел.
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

* * *

У Кларисы денег мало,
Ты богат; иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

ДРУЗЬЯМ

Вчера был день разлуки шумной,
Вчера был Вакха буйный пир,

При кликах юности безумной,
При громе чаш, при звуке лир.

Так, музы вас благословили,
Венками свыше осень,
Когда вы, други, отличили
Почетной чашею меня.

Честолюбивой позолотой
Не ослепляя наших глаз,
Она не суетной работой,
Не резьбою пленяла нас;

Но тем одним лишь отличалась,
Что, жажду скифскую поя,
Бутылка полная вливалась
В ее широкие края.

Я пил и думою сердечной
Во дни минувшие летал
И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминал.

Меня смешила их измена:
И скорбь исчезла предо мной,
Как исчезает в чашах пена
Под зашипевшею струей.

* * *

Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом
И не видался я
Давно с моим Орестом.
Спаситель молдаван,
Бахметьева наместник,

Законов провозвестник,
Смиренный Иоанн,
За то, что ясский пан,
Известный нам болван
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою,
И трус, и грубиян,
Побит немножко мною,
И что бояр пугнул
Я новою тревогой, —
[К моей канурке] строгой
Приставил караул.¹

Невинною [игрой],
А именно — мараю
Небрежные черты,
Пишу карикатуры, —
Знакомых столько лиц, —
Восточные фигуры
- - - кукониц
И их мужей рогатых,
Обритых и брадатых!

* * *

В лесах Гаргафии счастливой
За ланью быстрой и пугливой
Стремился долго Актеон;
[Уже] на [темный] небосклон
Восходит бледная Диана,
И в сумраке пускает он
Последнюю стрелу колчана.

¹ После этого стиха не сохранилось нескольких стихов:

Ты прав, мой друг — напрасно я презрел
Дары природы благосклонной;
Я знал досуг, беспечных муз удел,
И наслажденье лени сонной.

Я дружбу знал, — и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы,
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы.

Я знал любовь не мрачною [мечтой],
Не безнадежным заблужденье,
Я знал любовь прелестною мечтой,
Очарованьем, упоеньем.

Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд, и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волнение.

И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь
В их наготе я ныне вижу —
Но всё прошло! — остыла в сердце кровь,
И мрачный опыт ненавижу.

Свою печать утратил резвый нрав.
Душа час от часу немеет,
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам:

Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век
И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землею?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня». —

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы...
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могучему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смиренный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ему ничего;
Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся; однако чело
И взор омрачились думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время.
Теперь отдыхай: уж не ступит нога
В твоё позлащенное стремя.
Прощай, утешайся, да помни меня.
Вы, отроки-друзи, возьмите коня!

Покройте попоной, мохнатым ковром,
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте, кормите отборным зерном;
Водой ключевой поите».
И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.

Пирует с дружиною вещей Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...

Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

«А где мой товарищ, — промолвил Олег:—

Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? Всё так же ль легок его бег?

Всё тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлют ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник

И думает: «Что же гаданье?

Кудесник, ты лживый, безумный старик!

Презреть бы твое предсказанье!

Мой конь и доньше носил бы меня».

И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,

С ним Игорь и старые гости,

И видит: на холме, у берега Днепра,

Лежат благородные кости;

Их моют дожди, засыпает их пыль,

И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил

И молвил: «Спи, друг одинокий!

Твой старый хозяин тебя пережил:

На тризне, уже недалеко,

Не ты под секирой ковыль обагришь

И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!

Мне смертию кость угрожала!»

Из мертвой главы гробовая змея

Шипя между тем выползала;

Как черная лента, вокруг ног обвилась,

И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые закипают шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у берега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

* * *

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было всё милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертие вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...
Но, может быть, мечты пустые,
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где всё блистает
Нетленной славой и красотой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...

ПРИЯТЕЛЮ

Не притворяйся, милый друг,
Соперник мой широкоплечий:
Тебе не страшен лиры звук,
Ни элегические речи.
Дай руку мне: ты не ревнив,
Я слишком ветрен и ленив,
Твоя красавица не дура;
Я вижу всё и не сержусь:
Она прелестная Лаура,
Да я в Петрарки не гожусь.

БАРАТЫНСКОМУ

Я жду обещанной тетради:
Что ж медлишь, милый трубадур!
Пришли ее мне Феба ради,
И награди тебя Амур.

Я. Н. ТОЛСТОМУ

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, золотая чаша,
В руках веселых остряков?
Всё те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов.
Часы любви, часы похмелья
Попрежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?
В изгнанье скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас:

Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, калмык!

АДЕЛИ

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна:
Для наслажденья
Ты рождена.
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

ПОСЛАНИЕ ЦЕНЗОРУ

Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой,
Сегодня рассуждать задумал я с тобой.
Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной;
Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
У нас писатели, я знаю, каковы;
Их мыслей не теснит цензурная расправа,
И чистая душа перед тобою права.

Во-первых, искренно я признаюсь тебе,
Нередко о твоей жалею я судьбе:
Людской бессмыслицы присяжный толкователь,
Хвостова, Буниной единственный читатель,
Ты вечно разбирать обязан за грехи
То прозу глупую, то глупые стихи.
Российских авторов нелегкое встревожит:
Кто английский роман с французского преложит,
Тот оду сочинит, потея да кряхтя,
Другой трагедию напишет нам шутя —
До них нам дела нет; а ты читай, бесися,
Зевай, сто раз засни, а после подпишися.

Так — цензор мученик; порой захочет он
Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюффон,
Державин, Карамзин манят его желанье,
А должен посвятить бесплодное вниманье
На бредни новые какого-то враля,
Которому досуг петь роци да поля,
Да связь утрата в них, ищи ее с начала,
Или вымарывай из тощего журнала
Насмешки грубые и площадную брань,
Учтивых остряков затейливую дань.

На всё кидаешь ты косою, неверный взгляд.
Подозревая всё, во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, нимало не похвальный:
Парнас не монастырь и не гарем печальный,
И, право, никогда искусный коновал
Излишней пылкости Пегаса не лишал.
Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные прочитали.
Но ты свое несешь, и в наш премудрый век
Едва ли Шаликов не вредный человек.
Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной

лиры

Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер Истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они.
Кто ж в этом виноват? Перед тобой зеркало:

Дней Александровых прекрасное начало.
Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступить.
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда Невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец...
Исправься ж, будь умней и примирился с нами.
«Всё правда, — скажешь ты, — не стану спорить с
вами:

Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно, а я нередко плачу,
Читаю да крещусь, мараю наудачу —
На всё есть мода, вкус; бывало, например,
У нас в большой чести Бентам, Руссо, Вольтер,
А нынче и Миллот попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети...»

Жена и дети; друг, поверь — большое зло;
От них всё скверное у нас произошло.
Но делать нечего. Так если невозможно
Тебе скорей домой убраться осторожно,
И службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря.

К ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

ГРЕЧАНКЕ

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи: когда певец Леилы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальней стороне,
Под небом Греции священной,

Тебя страдалец вдохновенный
Узнал, иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине.
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу:
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно всё, что мило.

БАРАТЫНСКОМУ ИЗ БЕССАРАБИИ

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиним воспета
И славой русскою полна.
Еще доньше тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.

Ф. ГЛИНКЕ

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,

Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм;
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменяла мне любовь,
В моем изгнанье позабуду
Несправедливость их обид,
Они ничтожны — если буду
Тобой оправдан, Аристид.

* * *

Нет ни в чем вам благодати;
С счастьем у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.

* * *

Свод неба мраком обложился;
В волнах варяжских лунный луч,
Сверкая меж вечерних туч,
Столпом неровным отразился.
Качаясь, лебедь на волне
Заснул, и всё кругом почило;
Но вот по темной глубине
Стремится белое ветрило,
И блещет пена при луне;
Летит испуганная птица,
Услыша близкий шум весла.

Чей это парус? Чья десница
Его во мраке напрягла?

Их двое. На весло нагбенный,
Один, смиренный житель волн,
Гребет и к югу правит челн;
Другой, как волхвом пораженный,
Стоит недвижим; на берега
Глаза вперив, не молвит слова,
И через челн его нога
Перешагнуть уже готова.
Плывут...

«Причаливай, старик!
К утесу правь», — и в волны вмиг
Прыгнул пловец нетерпеливый
И берегов уже достиг.
Меж тем рукой неторопливой
Другой, ветрило опустив,
Свой челн к утесу пригоняет,
К подошвам двух союзных ив
Узлом надежным укрепляет
И входит медленной стопой
На берег дикий и крутой.
Кремень звучит, и пламя вскоре
Далеко осветило море.
Суровый край! Громады скал
На берегу стоят угрюмом;
Об них мятежный бьется вал,
И пена плещет; сосны с шумом
Качают старые главы
Над зыбкой пеленой пучины;
Кругом ни цвета, ни травы,
Песок да мох; скалы, стремнины
Везде хранят клеймо громов
И след потоков истощенных,
И тлеют кости — пир волков

В расселинах окровавленных.
К огню заботливый старик
Простер немеющие руки.
Приметы долголетней муки,
Согбенны кости, тощий лик,
На коем время углубляло
Свои последние следы,
Одежда, обувь — всё являло
В нем дикость, нужду и труды.
Но кто же тот? Блистает младость
В его лице; как вешний цвет,
Прекрасен он; но, мнится, радость
Его не знала с детских лет;
В глазах потупленных кручина.
На нем одежда славянина
И на бедре славянский меч.
Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые,
Волнами падшие до плеч...
Косматым рубищем одетый,
Огнем живительным согретый,
Старик забылся крепким сном.
Но юноша, на перси руки
Задумчиво сложив крестом,
Сидит с нахмуренным челом...
Проходит ночь, огонь погас,
Остыл и пепел; вот пучина
Белеет; близок утра час;
Нисходит сон на славянина.

Видал он дальные страны,
По суше, по морю носился,
Во дни былые, дни войны,
На западе, на юге бился,
Деля добычу и труды
С суровым племенем Одена,

И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена
В час бури к черным берегам.
Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов исступленных,
В жилище сильных пировал
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.
Но сладкий сон не переносит
Теперь героя в край чужой,
В поля, где мчится бурный бой,
Где меч главы героев косит;
Не видит он знакомых скал
Кириаландии печальной,
Ни Альбиона, где искал
Кровавых сеч и славы дальней;
Ему не снится шум валов;
Он позабыл морские битвы
И пламя яркое костров,
И трубный звук, и лай ловитвы;
Другие грезы и мечты
Волнуют сердце славянина:
Пред ним славянская дружина,
Он узнает ее щиты,
Он снова простирает руки
Товарищам минувших лет,
Забытым в долги дни разлуки,
Которых уж и в мире нет...

Меж тем привычные заботы
Средь усладительной дремоты
Тревожат душу старика:
Во сне он парус развивает,
Плывет по воле ветерка,
Его тихонько увлекает
К заливу светлая река,

И рыба сонная впадает
В тяжелый невод старика;
Всё тихо: море поживает,
Но туча виснет; дальний гром
Над звучной бездною грохочет,
И вот пучина под челном
Кипит, подьёмлется, клокочет;
Напрасно к верным берегам
Несчастный возвратиться хочет,
Челнок трещит и — пополам!
Рыбак идет на дно морское,
И пробудясь, трепещет он,
Глядит окрест: берега в покое,
На полусветлый небосклон
Восходит утро золотое;
С дерев, с утесистых вершин,
Навстречу радостной денницы,
Щебеча, полетели птицы,
И рассвело...

* * *

Царь Никита жил когда-то
Славно, мирно и богато,
Не творя добра, ни зла,
И земля его цвела.
Царь трудился понемногу,
Кушал, пил, молился богу
И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,
Сорок ангелов небесных,
Сорок девушек прелестных,
Милых видом и душой.
Что за глазки — боже мой,
Ротик алый, темный волос,

Ножки — чудо! Нежный голос
Вас с ума свести бы мог.
Словом, с головы до ног
Чувство, душу всё пленяло.
Одного не доставало.
Да чего же одного?
Так, безделки, ничего.
Ничего иль очень мало,
Всё равно — не доставало.
Как бы это изъяснить,
Чтобы нам не прогневить
Богомольной важной дуры
Или чопорной цензуры?

ТАВРИДА

Gieb meine Jugend mir zurück. ¹

Ты вновь со мною, наслажденье;
[В душе] утихло мрачных дум
Однообразное волненье!
Воскресли чувства, ясен ум.
Какой-то негой неизвестной,
Какой-то грустью полон я.
Одушевленные поля,
Холмы Тавриды, край прелестный,
[Тебя я] посещаю вновь,
Пью жадно воздух сладострастья
[И] будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья...

Счастливый край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,

¹ Возврати мне мою юность.

И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды

* * *

Брат милый, отроком расстался ты со мной—
В разлуке протекли медлительные годы.
[Теперь ты юноша] и полною душой
Цветешь для радостей, для [света], для свободы.
Какое поприще открыто пред тобой!
Как много для тебя восторгов, наслаждений
И сладостных забот, и милых заблуждений!
Как юный жар твою волнует кровь!
Ты сердце пробуешь [с] надеждой торопливой

* * *

Один, один остался я.
Пиры, любовницы, друзья
Исчезли с легкими мечтами,
Померкла молодость моя
С ее неверными дарами.
Так свечи, в долгу ночь горев
Для резвых юношей и дев,
В конце безумных пирований
Бледнеют пред лучами дня —

* * *

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.

Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи.
Щедротой царской

* * *

Сегодня я поутру дома
И жду тебя, любезный мой,
Приди ко мне на рюмку рома,
Приди — тряхнем мы стариной.
Наш друг Тардиф, любимец Кома,
Поварни полный генерал,
Достойный дружбы и похвал
Ханжи, поэта, балагура —
Тардиф, который Коленкура
И откормил, и обокрал —
Тардиф, полицией гонимый
За неуплатные долги, —
Тардиф умом неистощимый
На *entre-mets*,¹ на пироги

* * *²

Недавно я в часы свободы
«Устав наездника» читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога;

¹ Закуски.

² Это и следующие стихотворения датируются 1822 г. предположительно.

Но перевертывал листы
И — признаюсь — роптал на бога.
Я думал: ветренный певец,
Не сотвори себе кумира,
Перебесилась наконец
Твоя проказливая лира,
И, сердцем охладев навек,
Ты, видно, стал в угоду мира
Благоразумный человек!
О горе, молвил я сквозь слезы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный Музою поэт,
Презрев и славу прежних лет,
И Бурцовой души угрозы!
И вдруг растрепанную тень
Я вижу прямо пред собою,
Пьяна, как в самой смерти день,
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер чудо набекрень.

* * *

Гречанка верная! не плачь,—он пал героем,
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь — не ты ль сама ему пред первым боем
Назначила кровавой чести путь?
Тогда, тяжелую предчувствуя [разлуку],
Супруг [тебе простер] торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя черное свободой восшумело.
Как Аристокитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся — и падши совершил
Великое, святое дело.

* * *

Всё так же ль осеняют своды
[Сей храм парнасских] трех цариц
Всё те же ль клики юных жриц?
Всё те же ль вьются хороводы?
Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы?
Ужель, навек оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас?
Не верю! вновь она восстанет,
Ей вновь готова дань сердец.
Пред нами долго [не увянет]
Ее торжественный венец.
И для нее любовник славы
Младой Катенин воскресит
Эсхила гений величавый
И ей порфиру [возвратит].

* * *

Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.





1823

ИЗ ПИСЬМА К В. П. ГОРЧАКОВУ

Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь;
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь,
Сяжу я дома, как бездельник:
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей.

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

* * *

«Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий,
Внемли, боже кларосский, молению старца —
погибнет

Ныне, ежели ты не предыдешь слепому вожатым», —
Рек и сел на камне слепец утомленный. Но следом
Три пастуха за ним, — дети страны той

пустынной, —
Скоро сбежались на лай собак, их стада
стерегущих.

Ярость уняв их, они защитили бессилие старца.
Издали внемля ему, приближались и думали:
кто же

Сей белоглавый старик, одинокий слепой, — уж
не бог ли?

Горд и высок; висит на поясе бедном простая
Лира, и голос его возмущает волны и небо.

Вот шаги он слышал, — ухо клонит и смутен
Руки простер для моления, страшен несчастный.
—«Не бойся,

Коли только не скрыт в земном и дряхлеющем
теле

Бог, покровитель жизни, столь величавая прелесть
Старость твою украшает, —вещали они
незнакомцу; —

Если ж ты смертный, то знай, что вечно тебя
К людям богов»

* * *

Кто, волны, вас остановил,
Кто [оковал ваш] бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
[И душу бурную]
[Дремотой лени] усыпил?
[Вы], ветры, [бури,] взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот —
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

НОЧЬ

Мой голос для тебя и ласковый, и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... Люблю... твоя...
ТВОЯ.

* * *

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волнение?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображение?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в моей любви несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадою одинокой;

Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжело я страдаю.

* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

ИЗ ПИСЬМА К Ф. Ф. ВИГЕЛЮ

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет,
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет,
И — не найду твоих следов.
Падут, погибнут, пламенея,
И пестрый дом Варфоломея,
И лавки грязные жидов:
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом;
Но с этим милым городком
Я Кишинев равнять не смею, —
Я слишком с Библией знаком
И к лести вовсе не привычен.
Содом, ты знаешь, был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами,
Гостеприимными домами
И красотой нестрогих дев!
Мне жаль, что ранними громами
Его сразил Еговы гнев!..
В блистательном разврате света
Хранимый богом человек,
И член Верховного совета,
Провел бы я смиренно век
В Париже Ветхого завета!

Но в Кишиневе, знаешь сам,
Ты не найдешь ни милых дам,
Ни сводни, ни книгопродавца. —
Жалею о твоей судьбе!
Не знаю, придут ли к тебе
Под вечер милых три красавца;
Однако ж кое-как, мой друг,
Лишь только будет мне досуг,
Явлюся я перед тобою;
Тебе служить я буду рад:
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Вигель, — пощади мой --!

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня, —
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистоимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

КН. М. А. ГОЛИЦЫНОЙ

Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине,
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой.
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой.
Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вяла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки...
Довольно: в гордости моей
Я мыслить буду с умилением:
Я славой был обязан ей —
А может быть, и вдохновением.

* * *

1

Недвижный страж дремал на царственном пороге.
Владыка севера один в своем чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли.

2

И делу своему владыка сам дивился.
Се благо! думал он, и взор его носился

От тибровых валов до Вислы и Невы,
От царскосельских лип до башен Гибралтара:
 Всё молча ждет удара,
Всё пало — под ярем склонились все главы.

3

Свершилось! молвил он. Давно ль народы мира
Паденье славили великого кумира

.
.
.

4

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
 Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?

5

Давно ль — и где же вы, зиждители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии,
 Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

6

Он рек, и некий дух повеял невидимо,
Повеял и затих — и вновь повеял мимо,
Владыку севера мгновенный хлад объял,
На царственный порог вперил смутьясь он очи—
 Раздался бой полночи —
И се внезапный гость в чертог царя предстал.

* * *

Как наше сердце своенравно!
томимый вновь,

Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой южный взор.
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Всё впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине.

* * *

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг?
И снова ты бежишь Европы обветшалой:
Для неба дальнего, для неизвестных стран.
Ищу стихий других, земли жилец усталый!..
Приветствую тебя, свободный океан.

* * *

Придет ужасный [час]... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,

Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почуют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду [я] за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой.
Лампада бледная твой бледный труп осветит,
Мой [взор] движения, ни чувства не заметит,
Не поразит меня [судьбы моей] измена
Коснусь я хладных ног; себе их на колена
Сложу — и буду ждать [но чего?]
Чтоб силою мечтанья моего

* * *

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
Могилу пережив, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны,
Клянусь! давно бы я покинул [мрачный] мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
Узнал бы я предел свободы, наслаждений,
Предел, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте.
Но тщетно предаюсь пленительной мечте.
Мой ум упорствует, [не верит, жить желает].
Меня ничтожеством могила ужасает.
Как! ничего? — ни мысль, ни первая любовь...
Мне страшно, — и на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой!

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;

Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел! - - - .

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит попрежнему телега.
Под вечер мы привыкли к ней,
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

ЖАЛОБА

Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин —
Таков об вас народный говор,
И дива нет — не вы один.
Потомку предков благородных,
Увы, никто в моей родне
Не шьет мне даром фраков модных
И не варит обеда мне.

* * *¹

[Венере], Фебу и Фемиде
Полезно посвящая дни,
Дозором ездят по Тавриде
И проповедуют Парни.

¹ Этот и следующий набросок датируются 1823 г. предположительно.

[ЧИНОВНИК И ПОЭТ]

«Куда вы? за город, конечно,
Зефиром утренним дышать
И с вашей Музою мечтать
Уединенно [и] беспечно?»—
«Нет, я собираюсь на базар,
Люблю базарное волнение,
Скуфьи жидов, усы болгар
И спор, и [крик], и торга жар,
Нарядов пестрое стеснение.
Люблю толпу, лохмотья, шум
И жадной черни свободный».—
«Так — наблюдаете? — ваш ум
И здесь вникает в дух народный.
Сопровождать вас рад бы я,
Чтоб слышать ваши замечанья,
Но службы долг зовет меня,
Простите, [нам] не до гулянья».—
«Куда ж?»—

«В острог. Сегодня мы
Выпrowождаем из тюрьмы
[По просьбе] [Паши]
[За молдаванскую границу]
[Кирджали.]»





1824

* * *

«Всё кончено: меж нами связи нет», —
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
«Всё кончено», — я слышу твой ответ.

Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее быть может позабуду.
Не для меня сотворена любовь —

Ты молода, душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.

А. Л. ДАВЫДОВУ

Нельзя, мой толстый Аристип:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,

Любимец Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отец
Немного тощей Энеиды
Пускался в море наконец,
Ему Гораций, умный льстец,
Прислал торжественную оду,
Где другу Августов певец
Сулил хорошую погоду.
Но льстивых од я не пишу;
Ты не в чухотке, слава богу:
У неба я тебе прошу
Лишь аппетита на дорогу.

ИНОСТРАНКЕ

На языке, тебе невнятном,
Стихи прощальные пишу,
Но в заблуждении приятном
Вниманья твоего прошу:
Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой друг, одну тебя.
На чуждые черты взирая,
Верь только сердцу моему,
Как прежде верила ему,
Его страстей не понимая.

* * *

Саранча
Летела летела —
И села.
Сидела, сидела,
Всё съела,
И вновь улетела.

* * *

Морей [красавец] окриленный,
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.

Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай
Или *нрзбр* колыханьем
Ее груди не утомляй.

* * *

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный.

* * *

Зачем ты послан был, и кто послал тебя?
Чего — добра иль зла ты верный был сверши-
тель?

Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный [посетитель]?
Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустыли алтари,
Свободы буря подымалась
И вдруг нагрянула... Упали в прах и в кровь,
Разбились ветхие скрижали.
Явился муж судеб, рабы затихли вновь,
Мечи, доспехи зазвучали,
И гордо меч прошел, [и] [стал] разврат,
Порочные сердца застыли,
Отечество [рабы] в отчаянье забыли,

За злато продал брата брат.
Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы,
Добро и зло — всё стало тенью,
Всё было предано презренью,
Как ветру предан дольний прах.

НА ГР. М. С. ВОРОНЦОВА

Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец!..
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец

* * *

Певец-Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,
И положусь <?>, не проще <?> графа.

* * *

О Муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным,
Не беззащитным рифмачам,
Готовлю язву эпиграм!
Мир вам, несчастные поэты!
Мир вам, смиренные глупцы!
А вы, ребята-подлецы,—¹

¹ Повидимому, после этого стиха недостает трех стихов.

Вперед! всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда,
Но если же кого забуду,
Прошу напомнить, господя!
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!

ПРОЗЕРПИНА

(Подражание)

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из Аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.
И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил.
Ада гордая царица
Взором юношу зовет,
Обняла, и колесница
Уж к Аиду их несет;
Мчатся, облаком одеты;
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега.
Там бессмертье, там забвенье,
Там утехам нет конца.
Прозерпина в упоенье,

Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит, и томно стонет...
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры дочь уходит,
И счастливца за собой
Из Элизия выводит
Потаенною тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой.

А. Н. ВУЛЬФУ

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат
[Не михайловский приказчик],
Привезет нам, право, клад!
Что? — бутылочка полный ящик.
Запируем — уж, молчи!
Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,

А в Михайловском до света;
Дни — любви посвящены,
Ночью — царствуют стаканы;
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

К ЯЗЫКОВУ

(Михайловское, 1824 г.)

Издравле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.
Давно б на дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой,
И возвратился б оживленный
Картиной беззаботных дней,
Беседой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
Услышь, поэт, мое призванье,
Моих надежд не обмани.
В деревне, где Петра питомец,

Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодomeц,
Скрывался прадед мой, арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей, —
Я жду тебя. Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою;
И муз возвышенный пророк,
Наш Дельвиг всё для нас оставит,
И наша троица прославит
Изгнанья темный уголок.
Надзор обманем караульный,
Восхвалим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры,
Вниманье дружное преклоним
Къ звону рюмок и стихов,
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

К н и г о п р о д а в е ц .

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новых умственных затей.

Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим.
О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?

П о э т.

Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал,
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья
Бывало Музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья.
Всё волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;

В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И Музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой;
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы молодой
Хранит любовник суеверный.

Книгопродавец.

Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады:
Вы разошлись по рукам,
Меж тем, как пыльные громады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут себе чтецов
И ветреной ее награды.

Поэт.

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт

И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? Шопот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

К н и г о п р о д а в е ц .

Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил,
Но свет узнал и раскупил
Их сладкозвучные творенья.
И впрямь завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальнем поражает;
Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит;
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В молодые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

П о э т .

Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я среди бури жизни шумной
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали

Мне звуки сладкие мои,
Но полно; в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы.
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Нечисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак бога, вдохновенье,
Для них и чуждо, и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Книгопродавец.

Люблю ваш гнев. Таков поэт!
Причины ваших огорчений
Мне знать нельзя; но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей,
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы.

Поэт.

Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?

Бесплодно память мучит он.
И что ж? Какое дело свету?
Я всем чужой. Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излианья,
Как божеству, не нужно ей.

К н и г о п р о д а в е ц .

Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы

От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

П о э т.

Свободу.

К н и г о п р о д а в е ц.

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье,
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кишит, бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? Уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И, признаюсь, от вашей лиры
Предвижу много я добра.

П о э т.

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись.
Условимся.

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
• Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно среди зыбей,
Но ты выиграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,

Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шумы, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы
И блеск, и тень, и говор волн.

* * *

О дева-роза, я в оковах;
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живет
И нежно песни ей поет
Во мраке ночи сладострастной.

КОВАРНОСТЬ

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою;
Не говори: «он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;

Не говори: «неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон»...
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображение
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, унижении;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.

* * *

Т — прав, когда так верно вас
Сравнил он с радугой живою,
Вы милы, как она, для глаз
И, как она, переменчива душою.
И с розой сходны вы, блеснувшею весной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветете пышною красой
И так же колетесь, бог с вами.
Но более всего сравнение с ключом
Мне нравится — я рад ему сердечно;
Да, чисты вы, как он, и сердцем и умом,
И холодней его конечно.
Сравненья прочие не столько хороши,

Как привидение, за рощею сосновой
 Луна туманная взошла...
 Всё мрачную тоску на душу мне наводит.
 Далеко, там, луна в сиянии восходит;
 Там воздух напоен вечерней теплотой;
 Там море движется роскошной пеленой
 Под голубыми небесами...
 Вот время: по горе теперь идет она
 К брегам, потопленным шумящими волнами;
 Там, под заветными скалами,
 Теперь она сидит, печальна и одна...
 Одна... Никто пред ней не плачет, не тоскует;
 Никто ее колен в забвенье не целует;
 Одна... ничьим устам она не предаст
 Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

 Никто ее любви небесной недостойн.
 Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;

 Но если

МЛАДЕНЦУ

Дитя, не смею над тобой
 Произносить благословенья,
 [Ты тихий] ангел утешенья,
 Да будут ясны дни твои,
 Как ныне ясен взор

ГРАФУ ОЛИЗАРУ

Певец! издревле меж собою
 Враждуют наши племена,

То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.
И вы, бывало, пировали,
Кремля [позор] и плен;
И мы о камень падших стен
Младенцев [ваших] избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен.

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен;
[И наша дева молодая],
Привлекши сердце поляка,
[Отвергнет] гордою душою
Любовь народного врага.

Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Закон волшебный [и] небесный! —
[Вражды] закон молчит!
При звуках песен вдохновенья,¹

И встают благословенья,
На племена исходит мир...

П. А. ПЛЕТНЕВУ

Ты издал дядю моего;
Творец «Опасного соседа»
Достоин очень был того,
Хотя покойная «Беседа»

¹ Следующий стих не написан.

И не [венчала] лик его.
Теперь издай [меня], приятель,
[Плоды] пустых моих трудов.
Но ради Феба, мой Плетнев,
Когда ты будешь свой издатель?

* * *

Презрев и толки укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
[Умолкни] сердца шопот сонный.
Привычки, давной лени глас!
Прости, предел неблагосклонный,
Где свет узрел я в первый раз!
Простите, сумрачные сени,
Где дни мои в тиши,
Исполнены страстей и лени,
И снов задумчивых души.
Мой брат, в опасный день разлуки
Все думы сердца о тебе,
С тобой соединим же руки
И покоримся мы судьбе.
Благослови побег поэта.

Умолкнет он под небом дальным,
Один печальным
Угаснет в чуждой стороне.

* * *

Сабуров, ты оклеветал
Мои гусарские затеи.
Так, я с Кавериным гулял,
Бранил Россию с Молоствовым,

С моим Чадаевым читал.
Так, [все] заботы отгоня,
Провел меж ними год я круглый,
Но Зубов не прельстил меня
Своею - - - смуглой.

* * *

Как жениться задумал царский арап,
Меж боярынь арап похаживает,
На боярышен арап поглядывает.
Что выбрал арап себе сударушку,
Черный ворон белую лебедушку.
А как он арап чернешенек,
А она-то душа белешенька.

* * *

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Вот взошла луна золотая,
Тише... чу... гитары звон...
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Скинь мантилью, ангел милый,
И явьсь, как яркий день!

Сквозь чугунные перилы
Ножку дивную продень!

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

* * *

С перегородкою каморки —
Довольно чистенькие норки.
В углу на полке образа,
Под ними [вербная] лоза
[С иссохшей просвирой и свечкой],
Две канареечки над печкой.

* * *

Пока супруг тебя, красавицу младую,
Между шести других еще не заключил,
Ходи к [фонтану близ] могил
И черпай воду ключевую,
И думай, милая моя:
Как невозвратная струя
Блестит, бежит и исчезает —
Так жизни [юность] убегает,
В гареме так исчезну я.

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росой холодной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне былль...

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал;
Хвалу стране прочел я дальней;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

ВИНОГРАД

Не стану я жалеть о розах
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ¹

Посвящено П. А. Осиповой

I

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,

Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой: ²

Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,
Стезеею правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

II

О жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица.

А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечери его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В паренье дум благочестивых,
Не любит он велеречивых

И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиреньем
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых.³

III

Смутясь, нахмурился пророк,
Слепца послышав приближенье:⁴
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.

С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

За то ль, что бог и умертвит
И воскресит его по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях, и в горькой доле?

За то ль, что дал ему плоды
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды
И вертоград, и холм, и ниву?

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

И все пред бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

IV

С тобою древле, о всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, господь, его смирил.
Ты рек: я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На всё подъята длань моя.
Я также, рек он, жизнь дарую
И также смертью наказую:
С тобою, боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока
От слова гнева твоего:
Подъемлю солнце я с востока;
С заката подыми его.

V

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой. ⁵

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

VI

Недаром вы приснились мне
В бою, с обритыми главами,
С окровавленными мечами,
Во рвах, на башне, на стене.

Внемлите радостному кличу,
О дети пламенных пустынь!
Ведите в плен младых рабынь,
Делите бранную добычу!

Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье.
Они на бранное призыванье
Не шли, не веря дивным снам.

Прельстясь добычей боевою,
Теперь в раскаянье своем
Рекут: возьмите нас с собою;
Но вы скажите: не возьмем.

Блаженны падшие в сраженьи:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденьи,
Не отравляемом ничем.

VII

Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.

Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!

VIII

Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный,
Сторицею воздаст она твоим трудам.

Но, если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скудное подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань —
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут, господом отверженная дань.

IX

И путник усталый на бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем, и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладезь под пальмою видит он вдруг.

И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы:

И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.

Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
«Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?»
И он отвечает: «Уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра».

Но голос: «О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладезь холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей».

И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой.

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь.

Примечания

¹ «Нечестивые,—пишет Магомет (глава *Награды*), — думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих *нечестивых*, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные

истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний. В подлиннике Алла везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице.

² В других местах Корана Алла клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродетелию и пороком, ангелами и человеком и проч. Странный сей риторический оборот встречается в Коране поминутно.

³ «Мой пророк,—прибавляет Алла, — вам этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромен, но я не имею нужды с вами чиниться» и проч. Ревность араба так и дышит в сих заповедях.

⁴ Из книги *Слепец*.

⁵ Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!

ИЗ ПИСЬМА К А. Г. РОДЗЯНКЕ

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим — деревня; ты — мой Папа,
Благослови ж меня, певец!

ЧААДАЕВУ

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось

Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.

Чайдаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиление вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

ПОСЛАНИЕ К Л. ПУШКИНУ

[Что же? Будет ли] вино?
[Лайон, жду] его давно.
Знаешь ли какого рода?
Милый мой, мне всё равно,
У меня закон один:
Жажды полная свобода
И терпимость всяких вин.
Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой
И под пробкой смоляной
Сен-Пере бутылке длинной.
В лета красные мои
Поэтический ай
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной.
Я вспомнил о поэте,
И наполненный бокал
всему на свете

Младший брат предпочитал.
[Но бургонское густое]
Мне понравилось потом;
Ныне нет во мне пристрастья,
Без разбора за столом
нрбр нрбр сладострастья
Вина обхожу кругом.

АКВИЛОН

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облачко столь гневно гонишь?

Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облекался,
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался...

Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой —
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостью блистает,
И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕНЗОРУ

На скользком поприще Тимковского наследник!
Позволь обнять себя, мой прежний собеседник.

Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзостью бранчивую свербежь —
Но извини меня: мне было невтерпеж.
Теперь в моей глуши журналы раздирая,
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе и правила, и мыслей образ новый!
Ура! ты заслужил венок себе лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
Как изумилася поэзия сама,
Когда ты разрешил по милости чудесной
Заветные слова *божественный, небесный,*
И ими назвалась (для рифмы) красота,
Не оскорбляя тем уж господу Христа!
Но что же вдруг тебя, скажи, переменяло
И нрава твоего кичливость умирало?
Свои послания хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою,
Но, подразнив тебя, я переменной сею,
Приятно изумлен, гордиться не посмею.
Отнесся я к тебе по долгу моему;
Но мне ль исправить вас? Нет, ведаю, кому
Сей важной новостью обязана Россия.
Обдумав наконец намеренья благие,
Министра честного наш добрый царь избрал,
Шишков наук уже правленью восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года;
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил;
Осиротелого венца Екатерины
От хлада наших дней укрыл он лавр единый.

Он с нами сетовал, когда святой отец,
Омара да Гали прияв за образец,
В угодность госпду, себе во утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистых муз, спасая Бантыша,
И помогал ему Магницкий благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный,
И даже бедный мой Кавелин-дурачок,
Креститель Галича, [Магницкого] дьячок.
И вот за все грехи, в чьи пакостные руки
Вы были вверены, печальные науки!
Цензура! вот кому подвластна ты была!

Но полно: мрачная година протекла,
И ярче уж горит светильник просвещенья.
Я с переменою несчастного правленья
Отставки цензоров, признаться, ожидал,
Но, сам не зная как, ты видно устоял.
Итак, я поспешил приятелей поздравить,
А между тем совет на память им оставить.

Будь строг, но будь умен. Не просят у тебя,
Чтоб, все законные преграды истребя,
Всё мыслить, говорить, печатать безопасно
Ты нашим господам позволил самовластно.
Права свои храни по долгу своему.
Но скромной Истине, но мирному Уму
И даже Глупости невинной и довольной
Не заграждай пути заставой своевольной.
И если ты в плодах досужного пера
Порою не найдешь великого добра,
Когда не видишь в них безумного разврата,
Престолов, алтарей и нравов супостата,
То, славы автору желая от души,
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши.

КЛЕОПАТРА

Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир.
Все, Клеопатру славя хором,
В ней признавая свой кумир,
Шумя, текли к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась — и долу
Поникла дивною главой.

И пышный пир как будто дремлет,
И в ожиданье всё молчит...
Но вновь она чело подьемлет
И с видом важным говорит:
«Внемлите мне: могу равенство
Меж вас и мной восстановить.
В моей любви для вас блаженство,
Блаженство можно вам купить:
Кто к торгу страстному приступит?
Свои я ночи продаю.
Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою».

Она рекла. Толпа в молчаньи,
И всех в волнении сердца.
Но Клеопатра в ожиданьи
С холодной дерзостью лица:
«Я жду, — вещает, — что ж молчите?
Иль вы теперь бежите прочь?
Вас было много; приступите,
Торгуйте радостную ночь!»

И гордый взор она обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг — из рядов один выходит,
Вослед за ним и два других.

Смела их поступь, ясны очи.
Царица гордо восстает.
Свершилось: куплены три ночи...
И ложе смерти их зовет.

И снова гордый глас возвысила царица:
«Теперь зыбыты мной венец и багряница!
Простой наемницей на ложе восхожу;
Неслыханно тебе, Киприда, я служу,
И новый дар тебе ночей моих награда.
О боги грозные, внемлите ж, боги ада,
Подземных ужасов печальные цари!
Примите мой обет: до сладостной зари
Властителей моих последние желанья
И дивной негою, и тайнами лобзанья,
Всей чашею любви послушно упою...
Когда же сквозь завес во храмину мою
Блеснет Авроры луч — клянусь моей порфирой,
Главы их упадут под утренней секирой!»

Благословенные священной рукой,
Из урны жребии выходят чередой,
И первый Аргилай, клевет Помпея смелый,
Изрубленный в боях, в походах поседелый.
Презренья хладного не снес он от жены
И первый выступил, суровый сын войны,
На вызов роковых последних наслаждений,
Как смело выступал на славный клик сражений.
Критон за ним, Критон, изнеженный мудрец
Воспитанный под небом Арголиды,
От отроческих дней поклонник и певец
И пламенных пиров, и пламенной Киприды.
Последний имени векам не передал,
Никем не знаемый, ничем не знаменитый;
Чуть отроческий пух, темнея, покрывал

Его стыдливые ланиты.
Огонь любви в очах его пылал,
Во всех чертах любовь изображалась —
Он Клеопатрою, казалось, дышал,
И молча долго им царица любовалась.

* * *

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная Звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты,
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди, и скоты.

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал; гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внимлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утрата впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

* * *

Лиде страшно полюбить.
Полно, нет ли тут обмана?
Берегитесь — может быть,
Эта новая Диана
Притаила нежну страсть
И стыдливými глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.

* * *

Твое соседство нам опасно,
Хоть мило, может быть, оно, —
[Так утверждаю не напрасно
И доказать] <не мудрено>.
Твой дом, учтивая беседа
И шутки с злостью пополам
Напоминают [живо] нам
И впрямь «Опасного Соседа».

* * *

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь Риэго был удушен.
«Я очень рад, — сказал усердный льстец: —
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риэго был пред Фердинандом грешен.
Согласен я, но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
 На девственных устах улыбка замирает.
 Давно твоей иглой узоры и цветы
 Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
 Грустить. О, я знаток в девической печали;
 Давно глаза мои в душе твоей читали.
 Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
 Девицы нежные, любовь волнует вас.
 Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ними,
 Красавец молодой с очами голубыми,
 С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу,
 Но знаю, знаю всё; и если захочу,
 То назову его. Не он ли вечно бродит
 Вкруг дома твоего и взор к окну возводит?
 Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь,
 И долго вслед за ним незримая глядишь.
 Никто на празднике блистательного мая,
 Меж колесницами роскошными летая,
 Никто из юношей свободней и смелей
 Не властвует конем по прихоти своей.

ПРИЗНАНИЕ¹

К А. И. Осиповой

Я вас люблю, хоть я бешусь,
 Хоть это труд и стыд напрасный,
 И в этой глупости несчастной
 У ваших ног я признаюсь!
 Мне не к лицу и не по летам...
 Пора, пора мне быть умней!

¹ Это и следующие стихотворения датируются 1824 г. предположительно.

Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пальцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,
Я в умиление, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетесь в даль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечером?..
Алина! жальтесь надо мною.
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

К * *

Ты богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой
Пленила только дух святой,
Мила ты всем без исключенья;
Не та, которая Христа
Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой земного круга —
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я.
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица моя!

* * *

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюнею бешеной собаки.

* * *

Лихой товарищ наших дедов,
Он друг Венеры и пиров,
Он на обедах — бог обедов,
В своих садах — он бог садов.

* * *

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награда долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки

Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной,
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

* * *

Тимковский царствовал—и все твердили вслух,
Что вряд ли где ослов найдешь подобных двух.
Явился Бируков, за ними вслед Красовский:
Ну, право, их умней покойный был Тимковский!

* * *

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фронт герою надоел —
Теперь коллежский он ассессор
По части иностранных дел!





1825

ПРИЯТЕЛЯМ

Враги мои, покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

НА Ф. Н. ГЛИНКУ

Наш друг *Фита*, Кутейкин в эполетах,
Бормочет нам растянутый псалом:
Поэт *Фита*, не становись фертом!
Дьячок *Фита*, ты ижица в поэтах!

* * *

«Что козырь?» — «Черви». — «Мне хо-
дить». —
«Я бью». — «Нельзя ли погодить?» —

«Беру». — «Кругом нас обыграла!
Эй, смерть! Ты право сплутовала». —
«Молчи! ты глуп и молоденец.
Уж не тебе меня ловить!
Ведь мы играем не для денег,
А только б вечность проводить!»

«Кто там?» — «Здорово, господа!» —
«Зачем пожаловал сюда?» —
«Привел я гостя». — «Ах, создатель!..» —
«Вот доктор Фауст, наш приятель!» —
«Живой?» — «Он жив, да наш давно:
Сегодня ль, завтра ль — всё равно!» —
«Об этом думают двойко;
Обычай требовал, однако,
Соизволенья моего,
Но, впрочем, это ничего.
Вы знаете, всегда ли другу
Я рада оказать услугу...»
Г р е х: «Я дамой...» — «Крой!» — «Я бью
тузом...»
«Позвольте, козырь». — «Ну, пойдём...»

Так вот детей земных изгнанье?
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд.
Но где же грешников варят?
Всё тихо — там, гораздо дале.
Где мы теперь? — В парадной зале.

Сегодня бал у сатаны...
На именины мы званы...
[Смотри, как эти два бесенка
На кухню тащат поросенка...]

А этот бес — как важен он!
Как чинно выметает вон
Опилки, серу, пыль и кости.
Скажи мне, скоро ль будут гости?

* * *

«Вот Коцит, вот Ахерон,
Вот горящий Флегетон.
Доктор Фауст, посмелее,
Там нам будет веселее». —
«Где же мост?»—«Какой тут мост,
На! [вот] сядь ко мне на хвост».

Кто идет? — Солдат.
Это что? — Парад.
Вот обер-[капрал],
Унтер-генерал.

Что горит во мгле?
Что кипит в котле?
Фауст, ха, ха, ха
Посмотри, уха,
Щуки ли цари —
О вари, вари!..

* * *

Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена,
Ты приближаешься к сомнительной поре,

Открылись Грекам древни клады,³
Трепещет в Стиксе лютый Питт.⁴
И се — летит продерзко судно
И мечет грома обоюдно.
Се Бейрон, Феба образец,
Притек — но недуг быстропарный,⁵
Строптивый и неблагодарный
Взнес смерти на него резец.

Певец бессмертный и маститый,
Тебя Эллада днесь зовет
На место тени знаменитой,
Пред коей Цербер днесь ревет.
Как здесь, ты будешь там сенатор,
Как здесь, почтенный литератор,
Но новый лавр тебя ждет там,
Где от крови земля промокла:
Перикла лавр, лавр Фемистокла;
Лети туда, Хвостов наш! сам.

Вам с Бейроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесть.
Он лорд — граф ты! Поэты оба!
Се, мнится, явно сходство есть —
Никак! ты с верною супругой⁶
Под бременем Судьбы упругой
Живешь в любви — и наконец
Глубок он, но единообразен,
А ты глубок, игрив и разен —
И в шалостях ты впрямь певец.

А я, неведомый Пиита,
В восторге новом воспою
Вослед Пиита знаменита
Правдиву похвалу свою,
Моляся кораблю бегущу,

Да Бейрона он узрит куцу,⁷
И да блюдут твой мирный сон⁸
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.

П р и м е ч а н и я

¹ Подражание Г. Петрову, знаменитому нашему лирику.

² Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к Г. Грибоедову.

³ Под словом *клады* должно разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмоносцам.

⁴ Г. Питт, знаменитый английский министр и известный противник свободы.

⁵ Горячка.

⁶ Графиня А. И. Хвостова, урожденная княжна Горчакова, достойная супруга маститого нашего Певца. Во многочисленных своих стихотворениях везде навывает он ее Темирою (см. последнее замечание к оде: «Заздравный кубок»).

⁷ Подражание его Высокопр. Действ. Тайн. Сов. Ив. Ив. Дмитриеву, знаменитому другу Гр. Хвостова:

К тебе я руки простирал.
Уже из отческия кущи
Взирая на суда бегущи.

⁸ Здесь поэт, увлекаясь воображением, видит уже Великого нашего лирика, погруженного в сладкий сон и приближающегося к берегам благословенной Эллады. Нептун умиряет пред ним продерзкие волны; Плутон исходит из преисподней бездны, дабы узреть того, кто ниспошлет ему в непродолжительном времени богатую жатву теней поклонников Лже-пророка; Зевес улыбается ему с небес; Цитерея (Венера) осыпает цветами своего любимого певца; Геба подымлет кубок за здравие его; Псиша, в образе Ипполита Богдановича, ему завидует; Крон удерживает косу, готовую разить: Астрея предчув-

ствует возврат своего царствования; Феб ликует;
Игры, Смехи, Вакх и Харон веселою толпою следуют
за судном нашего бессмертного Пииты

ЖИВ, ЖИВ, КУРИЛКА!

«Как! жив еще курилка журналист?»—
«Живехонек! всё так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Всё тискает в свой непотребный лист
И старый вздор, и вздорную новинку».—
«Фу! надоел курилка журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить курилку моего?
Дай мне совет».— «Да... плюнуть на него».

КОЗЛОВУ

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной, —
Мгновенно твой проснулся гений,
На всё минувшее воззрел,
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им:
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.

А я, коль стих единый мой

Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды:
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О, нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Когда, любовью и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя,
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, всё на главу мою
Обрушилось вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И всё передо мной затмилось! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою

Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

* * *

Веселого пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю,
И - - - - - .

EX UNGUE LEONEM¹

. Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

П. А. ОСИПОВОЙ

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине,
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.

¹ По когтям узнают льва.

Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ

Посвящено Н. Н. Раевскому

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S'éveillait...*

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.¹
Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

* Но хоть и был я печальным пленником, всё же моя лира пробуждалась.

«Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный пантеон
Святых изгнанников всходили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство;
И мы воскликнули: *блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, не виновна ты
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа.
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой,

И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим.

Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет.

Так, буря мрачная минет!

Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:
Я плахе обречен. Последние часы
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палач мою главу подымет за власы

Над равнодушною толпою.

Простите, о друзья! Мой бесприютный прах
Не будет почивать в саду, где провождали
Мы дни беспечные в науках и в пирах,
И место наших урн заране назначали.

Но, други, если обо мне

Священно вам воспоминанье,

Исполните мое последнее желанье:

Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленья:
О брате сожалеть не смеет ныне брат.
Еще ж одна мольба: вы слушали стократ
Стихи, летучих дум небрежные созданья,
Разнообразные, заветные преданья
Всей младости моей. Надежды и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сии листы
Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни²
Молю, найдите их; невинной Музы дани
Сберите. Строгий свет, надменная молва
Не будут ведать их. Увы, моя глава
Безвременно падет: мой незрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя.

Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо, и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью; может быть, и *Узница* моя,³
Уныла и бледна, стихам любви внимая...»
Но, песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовью, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Всё вместе ожило; и сердце понеслось
Далече... и стихов журчанье излилось:

«Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала радость,
И Муза чистая делила мой досуг.
На шумных вечерах друзей любимый друг,
Я сладко оглашал и смехом, и стихами
Сень, охраненную домашними богами.
Когда ж, вакхической тревогой утомясь
И новым пламенем незапно воспаясь,
Я утром наконец являлся к милой деве
И находил ее в смятении и гнев;
Когда, с угрозами, и слезы на глазах,
Мой проклиная век, утраченный в пирах,
Она меня гнала, бранила и прощала —
Как сладко жизнь моя лилась и утекала!

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть? Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами!
Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?
И что ж оставлю я? Забытые следы
Безумной ревности и дерзости ничтожной.
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой...

О, нет!

Умолкни, ропот малодушный!

Гордись и радуйся, поэт:

Ты не поник главой послушной

Перед позором наших лет;

Ты презрел мощного злодея;

Твой светоч, грозно пламенея,

Жестоким блеском озарил

Совет правителей бесславных;⁴

Твой бич настигнул их, казнил

Сих палачей самодержавных;

Твой стих свистал по их главам;

Ты звал на них, ты славил Немезиду;

Ты пел Маратовым жрецам

Кинжал и деву-Эвмениду!

Когда святой старик от плахи отрывал

Венчанную главу рукой оцепенелой,

Ты смело им обоим руку дал,

И перед вами трепетал

Ареопаг остервенелый.

Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,

Моей главой играй теперь:

Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:

Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты всё пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя».

Так пел восторженный поэт.
И всё покоилось. Лампады тихий свет
Бледнел пред утренней зарею,
И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.⁵
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.⁶
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...⁷
Плачь, Муза, плачь!..

П р и м е ч а н и я

¹ Comme un dernier rayon, comme un dernier zephyr
Anime le soir d'un beau jour,
Au pied de l'échafaud j'essaie encore ma lyre.
(V. *Les derniers vers d'André Chenier.*)¹

¹ Как последний луч, как последнее дуновение
вефира
Оживляет вечер прекрасного дня,
Так, у подножья эшафота, я еще раз берусь за
лиру.
(См. *Последние стихи Андрея Шенье.*)

² У Авеля, у Фанни.

Abel doux confident de mes jeunes mystères (El. 1)¹
один из друзей А. Ш.

Fanni, l'une des maîtresses d'An. Ch. Voyez les odes qui lui sont adressées.²

³ И Узница моя.

V. La jeune Captive (M-lle de Coigny).³

⁴ Voyez ses iambes.

Chénier avait mérité la haine des factieux. Il avait célébré Charlotte Corday, flétri Collot d'Herbois, attaqué Robespierre.—On sait que le roi avait demandé à l'Assemblée par une lettre pleine de calme et de dignité le droit d'appeler au peuple du jugement qui le condamnait. Cette lettre signée dans la nuit du 17 au 18 janvier est d'André Chénier.

(H. de la Touche.)⁴

⁵ Он был казнен 8 термидора, т. е. накануне низвержения Робеспьера.

⁶ На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. Ils parlèrent de poésie à leurs derniers moments: pour eux après l'amitié c'était la plus belle chose de la terre. Racine fut l'objet de leur entretien et de leur dernière admiration. Ils voulurent réciter ses vers. Ils choisirent la première scène d'Andromaque.

(H. de la Touche.)⁵

⁷ На месте казни он ударил себя в голову и сказал: pourtant j'avais quelque chose là.⁶

¹ Авель, нежный наперсник моих юношеских тайн. (Элегия 1.)

² Фанни — одна из возлюбленных Андрея Шенье. См. обращенные к ней стихотворения.

³ См. стихотворение А. Шенье «Юная узница», в котором описана г-жа Куаньи.

⁴ См. «Ямбы» Шенье. Шенье возбудил к себе ненависть партий. Он прославлял Шарлотту Кордэ, осмеивал Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера. Как известно, король в письме, полном спокойствия и достоинства, требовал у Национального Собрания права апеллировать к народу на свой смертный приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, было составлено Андреем Шенье. (А. де Латуи.)

⁵ В свои последние мгновения они говорили о поэзии: после дружбы то была для них самая пре-

А. Г. РОДЗЯНКЕ

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских муз поведать тайны,
А пишешь лишь об *ней* одной...
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблен, Пирон Украины!

Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной...
Поговорим опять об *ней*.

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей.
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту.
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...

красная вещь на земле. Предметом их разговора и их последнего восхищения был Расин. Им хотелось декламировать его стихи, и они выбрали первую сцену из трагедии «Андромаха».

(А. де Латуш.)

⁶ Всё же у меня там кое-что было.

А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

К А. П. КЕРН

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье.
И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

* * *

Блестит луна, недвижно море спит,
Молчат сады роскошные Гассана.
Но кто же там во тьме дерев сидит
На мраморе печального фонтана?
Арап-евнух, гарема страж седой,
И с ним его товарищ молодой.
«[Мезрур], недуг тоски душевной
Не от меня сокроешь ты.
Твой мрачный взор, твой ропот гневный,
Твои свирепые мечты
Уже давно мне всё сказали.
Я знаю — жизнь тебе тяжка.
А что виной твоей печали?
Мой сын, послушай старика».

ЖЕНИХ

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала,
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступить.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышит.

Тужила мать, тужил отец,
И долго приступали
И отступились наконец,
А тайны не узнали.
Наташа стала, как была,
Опять румяна, весела,
Опять пошла с сестрами
Сидеть за воротами.

Раз у тесовых у ворот,
С подружками своими,
Сидела девица — и вот
Промчалась перед ними
Лихая тройка с молодцом.
Конями, крытыми ковром,
В санях он стоя правит
И гонит всех, и давит.

Он, поровнявшись, поглядел,
Наташа поглядела,
Он вихрем мимо пролетел,
Наташа помертвела.
Стремглав домой она бежит:
«Он! он! узнала! — говорит, —
Он, точно он! держите,
Друзья мои, спасите!»

Печально слушает семья,
Качая головою
Отец ей: «милая моя,
Откройся предо мною.
Обидел кто тебя, скажи,
Хоть только след нам укажи».
Наташа плачет снова
И более ни слова.

На утро сваха к ним на двор
 Нежданая приходит.
Наташу хвалит, разговор
 С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец;
Собою парень молодец,
 И статный, и проворный,
 Не вздорный, не зазорный.

Богат, умен, ни перед кем
 Не кланяется в пояс,
А как боярин, между тем,
 Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
 И перстни золотые,
 И платья парчевые.

Катаясь, видел он вчера
 Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
 Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом,
Да речь ведет обиняком,
 А бедная невеста
 Себе не видит места.

«Согласен, — говорит отец: —
 Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец:
 Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не всё касатке распевать,
 Пора гнездо устроить,
 Чтоб детушек покоить».

Наташа к стенке уперлась
И слово молвить хочет —
Вдруг зарыдала, затряслась.
И плачет, и хохочет.
В смятенье сваха к ней бежит,
Водой студеною поит
И льет остаток чаши
На голову Наташи.

Крушится, охает семья.
Опомнилась Наташа
И говорит: «Послушна я,
Святая воля ваша.
Зовите жениха на пир,
Пеките хлеба на весь мир,
На славу мед варите,
Да суд на пир зовите». —

«Изволь, Наташа, ангел мой!
Готов тебе в забаву
Я жизнь отдать!» — И пир горой;
Пекут, варят на славу.
Вот гости честные нашли,
За стол невесту повели;
Поют подружки, плачут,
А вот и сани скачут.

Вот и жених — и все за стол.
Звенят, гремят стаканы;
Заздравный ковш кругом пошел;
Всё шумно, гости пьяны.
Ж е н и х. «А что же, милые друзья,
Невеста красная моя
Не пьет, не ест, не служит:
О чем невеста тужит?»

Невеста жениху в ответ:
 «Откроюсь наудачу.
Душе моей покоя нет,
 И день, и ночь я плачу.
Недобрый сон меня крушит».
Отец ей: «Что ж твой сон гласит?
 Скажи нам, что такое,
 Дитя мое родное?» —

«Мне снилось, — говорит она, —
 Зашла я в лес дремучий,
И было поздно; чуть луна
 Светила из-за тучи;
С тропинки сбилась я; в глушь
Не слышно было ни души,
 И сосны лишь да ели
 Вершинами шумели.

И вдруг, как будто наяву,
 Изба передо мною.
Я к ней, стучу — молчат. Зову —
 Ответа нет; с мольбою
Дверь отворила я. Вхожу —
В избе свеча горит; гляжу —
 Везде серебро, да золото,
 Всё светло и богато».

Жених. «А чем же худ, скажи, твой сон?
 Знать, жить тебе богато».

Невеста. «Постой, сударь, не кончен он.
 На серебро, на золото,
На сукна, коврики, парчу,
На новгородскую камчу
 Я молча любовалась
 И диву дивовалась.

Вдруг слышу крик и конский топ...
Подъехали к крылечку.
Я поскорее дверью хлоп
И спряталась за печку.
Вот слышу много голосов...
Взошли двенадцать молодцов,
И с ними голубица
Красавица-девица.

Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая.
На первом месте брат большой,
По праву руку брат меньшей,
По леву голубица
Красавица-девица.

Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное похмелье...»
Ж е н и х. «А чем же худ, скажи, твой сон?
Вещает он веселье».
Н е в е с т а. «Постой, сударь, не кончен он.
Идет похмелье, гром и звон,
Пир весело бушует.
Лишь девица горюет.

Сидит, молчит, ни ест, ни пьет,
И током слезы точит,
А старший брат свой нож берет,
Присвистывая точит;
Глядит на девицу-красу
И вдруг хватает за косу,
Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит». —

«Ну, это, — говорит жених,
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сон не лих,
Поверь, душа-девица».
Она глядит ему в лицо.
«А это с чьей руки кольцо?» —
Вдруг молвила невеста,
И все привстали с места.

Кольцо катится и звенит,
Жених дрожит, бледнея;
Смутились гости. Суд гласит:
«Держи, вязать злодея!»
Злодей окован, обличен
И скоро смертию казнен.
Прославилась Наташа!
И вся тут песня наша.

* * *

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

ИЗ ПИСЬМА К КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Сатирик и поэт любовный,
Наш Аристип и Асмодей,
Ты не племянник Анны Львовны,
Покойной тетушки моей.

Писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка — не дядя твой,
Но, милый, — музы наши сестры,
Итак, ты всё же братец мой.

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Н. Н.

Примите «Невский альманах».
Он мил и в прозе, и в стихах:
Вы тут найдете Полевого,
Великопольского, Хвостова;
Княжевич, дальний ваш родня,
Украсил также книжку эту;
Но не найдете вы меня:
Мои стихи скользнули в Лету.

Что слава мира?.. дым и прах.
Ах, сердце ваше мне дороже!..
Но, кажется, мне трудно тоже
Попасть и в этот альманах.

САФО

Счастливым юноша, ты всем меня пленил:
Душою гордою и пылкой, и незлобной,
И первой младости красой женоподобной.

* * *

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.

* * *

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался.
«Я не знал! — Ужель?»
Царь расхохотался.
«Первый, брат, апрель!»

Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:

«Вешают за морем
-----!..
То есть разумею, —
Вдруг примолвил он, —
Вешают за шею,
Но жесток закон».

19 ОКТЯБРЯ

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружающих гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской переключке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русской могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливым путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой преданся нежной;
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
Е обители пустынных выюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пушкин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лица превратил.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев, —
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волнение мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся, но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг, —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О, сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая Муза,
Благослови: да здравствует лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честью, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье,
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому же из нас под старость день лица
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! среди новых поколений
Доучный гость, и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

ИЗ ПИСЬМА К КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной.

Бумаги берегу запас,
Натуги вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.

Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова позовет
Ко испражненью прежних дней.

ДВИЖЕНИЕ

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

СОЛОВЕЙ И КУКУШКА

В лесах, во мраке ночи праздной,
Весны певец разнообразный

Урчит и свищет, и гремит;
Но бестолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно куку свое твердит,
И эхо вслед за нею то же.
Накуковали нам тоску!
Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических куку!

СОВЕТ

Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный:
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех — но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпитафией.

ПРОЗАИК И ПОЭТ

О чем, прозаик, ты хлопчешь?
Давай мне мысль, какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

* * *

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.

Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день,
И двинется ночная тень.

* * *

Вертоград моей сестры,
Вертоград уединенный;
Чистый ключ у ней с горы
Не бежит запечатленный.
У меня плоды блестят
Наливные, золотые;
У меня бегут, шумят
Воды чистые, живые.
Нард, алой и киннамон
Благовонием богаты:
Лишь повеет аквилон,
И закапят ароматы.

БУРЯ

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушующая в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым,
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

* * *

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнания,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страдания.

К БАРАТЫНСКОМУ

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухончка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.

СЦЕНА ИЗ «ФАУСТА»

Берег моря. Фауст и Мефистофель.

Фауст.

Мне скучно, бес.

М е ф и с т о ф е л ь .

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,
Егож никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.

Ф а у с т .

Сухая шутка!

Найди мне способ как-нибудь
Рассеяться.

М е ф и с т о ф е л ь .

Доволен будь

Ты доказательством рассудка.
В своем альбоме запиши:
Fastidium est quies — скука
Отдохновение души.
Я психолог... о вот наука!..
Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Вергилием дремал,
А розги ум твой возбуждали?
Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья,
И в буйстве шумном посвящал
Им пыл вечернего похмелья?

Тогда ль, как погрузился ты
В великодушные мечты,
В пучину темную науки?
Но, помнится, тогда со скуки,
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня.
Я мелким бесом извивался,
Развеселить тебя старался,
Возил и к ведьмам, и к духам,
И что же? всё по пустякам.
Желал ты славы — и добился,
Хотел влюбиться — и влюбился.
Ты с жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив?

Ф а у с т.

Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
В глубоком знанье жизни нет, —
Я проклял знаний ложный свет,
А слава... луч ее случайный
Неуловим. Мирская честь
Бессмысленна, как сон... Но есть
Прямое благо: сочетание
Двух душ...

М е ф и с т о ф е л ь.

И первое свиданье,
Не правда ль? Но нельзя ль узнать
Кого изволишь поминать,
Не Гретхен ли?

Ф а у с т.

О сон чудесный!

О пламя чистое любви!
Там, там — где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи —
Там, на груди ее прелестной
Покоя томную главу,
Я счастлив был...

М е ф и с т о ф е л ь .

Творец небесный!
Ты бредишь, Фауст, наяву!
Услужливым воспоминаньем
Себя обманываешь ты.
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее? Тогда
Плодами своего труда
Я забавлялся одинокий,
Как вы вдвоем — всё помню я.
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье — скуки семя.)
И знаешь ли, философ мой,
Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?

Ф а у с т .

Говори. Ну, что?

М е ф и с т о ф е л ь.

Ты думал: агнец мой послушный,
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытись ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Потом из этого всего
Одно ты вывел заключение...

Ф а у с т.

Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!

М е ф и с т о ф е л ь.

Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу.

Ф а у с т.

Что там белеет? говори.

М е ф и с т о ф е л ь.

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

Ф а у с т.

Всё утопить.

М е ф и с т о ф е л ь.

Сейчас.

(Исчезает.)

* * *

Как роза увядает,
Тогда ее душа,
Амврозией дыша,
[В Элизий] улетает.

И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут.

* * *

[Припадками болезни женской
Словесность русская больна.]
Лежит в истерике она
И бредит языком мечтаний,
И хладный между тем зоил
Ей [Каченовский застудил]
Теченье месячных изданий.

* * *

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила¹

Слова святыя начертила
На нем безвестная рука.

* * *

На небесах печальная луна
Встречается с веселою [зарею],—
Одна горит, другая холодна.
Заря блестит невестой молодою,
Луна пред ней, как мертвая, бледна.
Так встретился, Эльвина, я с тобою.

* * *

Короче дни, а ночи доле.
[Настала скучная] пора,
И солнце будто поневоле

¹ Следующий стих не написан.

Глядит на убранное поле.
Что делать в зимни вечера,
Пока не подали [нам] кушать?
Хотите ли теперь послушать,
Мои почтенные друзья,
Рассказ про доброго Роберта,
Что жил во время Дагоберта?

Из Рима ехал он домой,
Имея очень мало денег —
Сей рыцарь был хорош собой,
Разумен, хоть и молоденец.

В то время деньги

И дабы впредь не смел чудесить,
Поймавши истинно повесить
И живота весьма лишить.

НАЧАЛО 1 ПЕСНИ «ДЕВСТВЕННОЩИЦЫ»¹

Я не рожден святыню славословить,
Мой слабый глас не взыдет до небес,
Но должен я вас ныне приготовить
К услышанью Иоанниных чудес.
Она спасла французские лилеи.
В боях ее девической рукой
Поражены заморские злодеи.
Могучею блистая красотой,
Она была под юбкою герой.
Я признаюсь — вечернею порой
Милее мне смиренная девица —
Послушная, как агнец полевой,
Иоанна же была душою львица,

¹ Это и следующие стихотворения датируются 1825 г. предположительно.

Среди трудов и бранных непогод
Являлася всех витязей славнее
И что всего чудеснее, труднее,
Цвет девственный хранила круглый год.

О ты, певец сей чудотворной девы,
Седой певец, чьи хриплые напевы,
Нестройный ум и бестолковый вкус
В былые дни бесили нежных муз,
Хотел бы ты, о стихотворец хилый,
Почтить меня скрыпцею своей,
Да не хочу. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь из модных рифмачей.

Н. С. МОРДВИНОВУ

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины.
В крылах отяжелев, он небо забывал
И Пинда острые вершины.

В то время ты вставал; твой луч его согрел:
Он поднял к небесам и крылья, и зеницы
И с шумной радостью взыграл, и полетел
Во сретенье твоей денницы.

Мордвинов! не вотще Петров тебя любил:
Тобой гордится он и на берегах Коцита.
Ты лиру оправдал: ты ввек не изменил
Надеждам вещего пиита!..

Как славно ты сдержал пророчество его!
Сияя доблестью и славой, и наукой,
В советах, недвижим у места своего
Стоишь ты, новый Долгорукий!

Так, в пенный поток с вершины гор скатясь,
Стоит седой утес; вотще берега трепещут,
Вотще грохочет гром, и волны, вокруг мутясь,
И увиваются, и плещут.

Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною;
Вдовицы бедный лепт, и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

С ПОРТУГАЛЬСКОГО

Там звезда зари взошла,
Пышно роза процвела:
Это время нас, бывало,
Друг ко другу призывало.

На постеле пуховой
Дева сонною рукой
Протирала томны очи,
Удаляя грезы ночи,

И являлася она
У дверей, иль у окна,
Ранней звездочки светлее,
Розы утренней свежее.

Лишь ее завиджу я,
Мнилось, легче вокруг меня
Воздух утренний струился;
Я вольнее становился.

Меж овец деревни всей,
Я красавицы моей
Знал любимую овечку,
Я водил ее на речку,

На тенистые берега,
На зеленые луга;
Я поил ее, лелеял,
Перед ней цветочки сеял.

Дева издали ко мне
Приближалась в тишине.
[И я] пел, ее встречая,
Пел, гитарою бряцая:

«Девы, радости моей,
Нет! — на свете нет милей!
Кто посмеет под луною
Спорить в счастья со мною?»

Не завидую царям,
Не завидую богам,
Как увижу очи томны,
Тонкий стан и косы темны».

Так я пел, [бывало,] ей.
И красавицы моей
Сердце песнью любовалось...
Но блаженство миновалось!

Где ж красавица моя?
Одинокий плачу я;
Заменяли песни нежны
Стон и слезы безнадежны.
(Gonzago).

* * *

Что с тобой, скажи мне, братец?
Бледен ты, как святотатец,
Волоса стоят горой!

Или с девою молодой
Пойман был [ты у забора],
И, приняв тебя за вора,
Сторож гнался за тобой?
Иль смущен ты привиденьем,
Иль за тяжкие грехи,
Мучась диким вдохновеньем,
Сочиняешь ты стихи?

* * *

Под каким созвездием,
Под какой планетою
Ты родился, юноша?
[Звездочка ль Кипридина],
Марса аль Меркурия,
Аль Сатурна дальнего?

Уродился юноша
Под звездой безвестною,
Под звездой падучею,
Миг один блеснувшей
В тишине [небес].

* * *

О боги мирные полей, дубрав и гор,
Мой ангел и стихи ваш любят разговор,
Меж вами я нашел и Музу молодую,
Подругу дней моих невинную, простую.
Но чем-то милую — не правда ли?—друзья.
И своенравная волшебница моя,
Как тихий ветерок, иль пчелка золотая,
Иль беглый поцелуй — туда, сюда летая,
Жемчужные

А. Н. ВУЛЬФ

Увы! Напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь:
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой!
Одним страданьем буду сыт,
И пусть мне сердце скорбь расколет.

- - - - -
- - - - - .



ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ,
ПЕРЕДЕЛАННЫЕ И НАПЕЧАТАННЫЕ
ПУШКИНЫМ В 1819—1828 гг.

СТАРИК

Уж я не тот любовник страстный,
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.
Амур, бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!

ЛИЦИНИЮ

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Венчаный лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой?
Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
Льстецов, сенаторов прелестниц длинный ряд
Умильно вслед за ним стремится усердный взгляд;
Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,

Как будто дивного богов благословенья,
И дети малые и старцы в седилах,
Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:
Для них и след колес, в грязи напечатленный,
Есть некий памятник почетный и священный.
О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
Кто вас поработил и властью оковал?
Квириты гордые под иго преклонились.
Кому ж, о небеса, кому поработились?
(Скажу ль?) Ветулию! Отчизны стыд моей,
Развратный юноша воссел в совет мужей;
Любимец деспота сенатом слабым правит,
На Рим простер ярем, отечество бесславит;
Ветулий римлян царь!.. О стыд, о времена!
Или вселенная на гибель предана?
Но кто под портиком, с поникшею главою,
В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
«Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!» —
«Куда: не знаю сам; давно молчу и вижу;
Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу».
Лициний, добрый друг! Не лучше ли и нам,
Смирненно поклонясь Фортуне и мечтам,
Седого циника примером научиться?
С развратным городом не лучше ль нам проститься,
Где всё продажное: законы, правота,
И консул, и трибун, и честь, и красота?
Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая,
Неопытность других в наемну ловит сеть!
Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
Тщеславной юности оставим блеск веселий:
Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож,
Корнеллий,
Торгуют подлостью и с дерзостным челом
От знатных к богачам ползут из дома в дом!

Я сердцем римлянин; кишит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.
Лициний, поспешим далеко от забот,
Безумных мудрецов, обманчивых красот!
Завистливой судьбы в душе презрев удары,
В деревню пренесем отеческие лары!
В прохладе древних рощ, на берегу морском,
Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
Где, больше не страшась народного волнения,
Под старость отдохнем в глуши уединенья,
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Вспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.
О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
Придет ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозного величия конец:
Падет, падет во прах вселенныя венец.
Народы юные, сыны свирепой брани,
С мечами на тебя подымут мощны длани,
И горы, и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груди камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

ГРОБ АНАКРЕОНА

Всё в таинственном молчаньи;
Холм оделся темнотой;
Ходит в облачном сияньи
Полумесяц молодой.

Вижу: лира над могилой
Дремлет в сладкой тишине;
Лишь порою звон унылый,
Будто лени голос милый,
В мертвой слышится струне.
Вижу: горлица на лире,
В розах кубок и венец...
Други, здесь почиет в мире
Сладострастия мудрец.
Посмотрите: на порфире
Оживил его резец!
Здесь он в зеркало глядится
Говоря: «я сед и стар;
Жизнью дайте ж насладиться:
Жизнь, увы, не вечный дар!»
Здесь, подняв на лиру длани
И нахмуря важно бровь,
Хочет петь он бога брани,
Но поет одну любовь.
Здесь готовится природе
Долг последний заплатить:
Старец пляшет в хороводе,
Жажду просит утолить.
Вкруг любовника седого
Девы скачут и поют;
Он у времени скупого
Крадет несколько минут.
Вот и музы, и хариты
В гроб любимца увели;
Плющем, розами увиты,
Игры вслед за ним пошли.
Он исчез, как наслажденье,
Как веселый сон любви.
Смертный, век твой привиденье:
Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся;

Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!

АМУР И ГИМЕНЕЙ

Сегодня, добрые мужья,
Повеселю вас новой сказкой.
Знавали ль вы, мои друзья,
Слепого мальчика с повязкой?
Слепого?.. Вот? Помилуй, Феб!
Амур совсем, друзья, не слеп.
Но шалуну пришла ж охота,
Чтоб, людям на смех и на зло,
Его безумие вело.
Безумие ведет Эрота,
Но вдруг, не знаю почему,
Оно наскучило ему.
Взялся за новую затею:
Повязку с милых сняв очей,
Идет проказник к Гименею...
А что такое Гименей?
Он сын Вулкана молчаливый,
Холодный, дряхлый и ленивый,
Ворчит и дремлет целый век;
А впрочем, добрый человек.
Да нрав имеет он ревнивый.
От ревности печальный бог
Спокойно подремать не мог;
Всё трусил маленького брата,
За ним подсматривал тайком
И караулил супостата
С своим докучным фонарем.
Вот мальчик мой к нему подходит
И речь коварную заводит:

«Развеселися, Гименей!
Ну, помиримся, будь умней!
Забудь, товарищ мой любезный,
Раздор смешной и бесполезный!
Да только навсегда, смотри!
Возьми ж повязку в память, милый,
А мне фонарь свой подари!»
И что ж? Поверил бог унылый.
Амур от радости прыгнул,
И на глаза со всей он силы
Обнову брату затянул.
Гимена скучные дозоры
С тех пор пресеклись по ночам;
Его завистливые взоры
Теперь не страшны красотам;
Спокоен он, но брат коварный,
Шутя над честью и над ним,
Войну ведет, неблагодарный,
С своим союзником слепым.
Лишь сон на смертных налетает,
Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливца провожает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена
Он охраняет тайну дверь...
Пойми меня, мой друг Елена,
И мудрой повести поверь!

К МОРФЕЮ

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!

Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
Когда ж умчится ночи мгла,
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!

ДРУЗЬЯМ

Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный,
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

ШИШКОВУ

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь в владения свои,
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни?
Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.

Друзей любить открытою душою,
В молчанье чувствовать, пленяться красотою:
Вот жребий мой; ему я следовать готов.

Но, милый, сжалясь надо мною,
Не требуй от меня стихов!
Не вечно нежиться в приятном ослепленьи:
Докучной истины я поздний вижу свет,
По доброте души я верил в упоенье
Мечте, шепнувшей: «ты поэт» —
И, презря мудрые угрозы и советы,
С небрежной леностью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил;
Угодник Бахуса, я, трезвый меж друзьями,
Бывало, пел вино водяными стихами;
Мечтательных Дорид и славил, и бранил,
Иль дружбе плел венок, и дружество зевало
И сонные стихи впросонках величалю.
Но долго ли меня лелеял Аполлон?
Душе наскучили парнасские забавы;
Недолго снились мне мечтанья муз и славы;
И, строгим опытом неволью пробужден,
Уснув меж розами, на тернах я проснулся,
Увидел, что еще не гения печать —
Охота смертная на рифмах лепетать,
Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся:
И полно мне писать.

ЛЮБОПЫТНЫЙ

«Что ж нового?» — «Ей богу ничего». —
«Эй, не хитри: ты верно что-то знаешь.
Не стыдно ли, от друга своего,
Как от врага, ты вечно всё скрываешь.
Иль ты сердит: помилуй, брат, за что?
Не будь упрям: скажи ты мне хоть слово...» —
«Ох! отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново».

К КАВЕРИНУ

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.

Всё чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Усердствуй Вакху и любви

И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

В. Л. ПУШКИНУ

(Отрывок.)

Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах,
Вдали забав и нег и граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В тибурских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,
Не ведают, что скука, страх;
Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.

Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!

ДЕЛЬВИГУ

Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью;
В уединении ты счастлив: ты поэт.
Наперснику богов не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой;
Его баюкают камни молодые
И с перстом на устах хранят его покой.
О милый друг, и мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья
И тайный указали путь:
Я мирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел,
И лира стала мой удел.
Но где же вы, минуты упоенья,
Неизъяснимый сердца жар,
Одушевленный труд и слезы вдохновенья! —
Как дым исчез мой легкий дар.
Как рано зависти привлек я взор кровавый
И злобной клеветы невидимый кинжал!
Нет, нет, ни счастьем, ни славой,
Ни гордой жаждою похвал
Не буду увлечен! В бездействии счастливым
Забуду милых муз, мучительниц моих;
Но, может быть, вздохну в восторге молчаливом,
Внимая звуку струн твоих.



1814

* * *

Мы недавно от печали,
Пуцин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали
И Фому прогнали вон.

1816

НОЭЛЬ НА ЛЕЙБ-ГУСАРСКИЙ ПОЛК

В конюшнях Левашева
Рождается Христос;
Звезда сияет снова,
Всё с шумом понеслось.¹

Иосиф отпер ворота:
«Потише, господа,
Ведь вы здесь не в харчевне».

Вдруг сабля застучала,
Сияет аксельбант,
Лихого генерала
Вбегает адъютант.²

¹ Следующий стих неизвестен.

² Четыре следующие стиха неизвестны.

«Что, здесь Христос живет?
Мой генерал доволен.
А сам он не придет —
От дев немного болен». ¹

«Конечно, Иисус
К нам вступит в полк, —
Изрек, хлыстом махая, полковник филантроп: —
Я славной Пукаловой друг
И рад вам оказать
Хоть тысячи услуг».

1817

* * *

Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

* * *

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас! ²
Где славил наш Тиртей «кисель» и Александра,
Где смерть Захарову пророчила Кассандра ³,

¹ Последние четыре стиха этой строфы и первые два следующей неизвестны.

² Неизвестны следующие, по меньшей мере, четыре стиха.

³ Между этим стихом и следующим, начало которого неизвестно, утрачено несколько стихов.

в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и с розгами в руке.

1818

* * * ¹

Она мила, твоя подруга —
[Ее прекрасен] —

* * *

[Сиятельный Аристофан!
Сиятельный больной всегда мне]

* * *

О ты, надежда нашей сцены.
Уж всюду торжества готовятся твои
На пышных играх Мельпомены,
У тихих алтарей любви.
Явилась ты пред нами в первый раз

1819

ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ

В себе все блага заключая,
Ты, наконец, к ключам от рая
Привяжешь камергерский ключ.

НА СТУРДЗУ

Вкруг я Стурдзы хожу,
Вкруг библического,

¹ Этот и следующие наброски датируются 1818 г. предположительно.

* * *

[Красноречивый забияка,]
[Повеса, пламенный поэт.]

* * *

Ты мне велишь открыться пред тобою —
Незнаемый дерзал я обожать,
Но страсть одна повелевала мною,

* * *

Оставь, о Лесбия, лампаду
Близ ложа тихого любви.

1820

* * *

Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальний край, [пустынный], обгорелый,
Жилище [дикое] черкесских табунов.

[Я видел мрачных гор] вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины.

[Ужасный край чудес] — там жаркие ручьи
Кипят в утесах раскаленных.
Благословенные струи!

Надежда верная болезнью изнуренных.

[Мой взор встречал] близ дивных берегов
Увядших юношей пиров,
На [муку] тайную Кипридой осужденных,

И хилых стариков в печальных сединах.

[Жуковский,
Как ты шалишь и как ты мил,
Тебя хвалить, тебя порочить]

1821

* * *

Эллеферия, пред тобой
Затмились прелести другие,
Горю тобой
Я твой навек, Эллеферия!

Ее пугает света шум,
Придворный блеск ей неприятен,
Люблю в ней пылкий, [резвый] ум,
И сердцу глас ее понятен.

На юге, в мирной темноте
Живи со мной, Эллеферия,
Твоей красоте
Вредна холодная Россия.

* * *

во дни Дадона
Был монастырь, где чернецы
Без правила и без закона

* * *

Вы, дни, [протекшие]
В беспечных радостях, в живом очарованьи —
Теките медленней в моем воспоминаньи.

* * *

Одна черта руки моей,
Тебе довольно, друг мой нежный —

* * *

до меня доходят,
И звуки [мне знакомых] струн
Печаль на душу мне наводят.

[Молвой покинутый изгнанник,
В степях Молдавии забыт.]

[Непримиримую] судьбою
Певцы давно разлучены...
Их лиры ветреной порою
Не славят счастье чередою;
Умы тоской омрачены!

[Младых пиров] утихли смехи,
Утих безумства вольный глас,
Любовницы забыли нас,
И разлетелися утехи.

* * *

Генерал не попал ¹

Но к обеду опоздал
И [вздыхает] Зоя

* * *

[Вдали тех пропастей глубоких,
Где в муках вечных и жестоких]

¹ Следующий стих не написан.

Где слез во мраке льются реки,
Откуда изгнаны навеки
Надежда, мир, любовь и сон,
Где море адское клокочет,
Где, [грешника] внимая стон,
Ужасный сатана хохочет

1822

* * *

Не даром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы.

* * *

Зачем раздался гром войны
Во славном царстве Зензевей?
Поля и села зажжены

[Народ *нрзбр.* Гремят народны клики.
Пред теремом грузинского владыки
Съзжаются могучие цари,
Царевичи, князья, богатыри.
[Царь Зензевей] их ласково встречает,
Готовит пир горой, и ровно сорок дней
Своих гостей он пышно угощает],

Себе ты выбрал, Зензевей,
Кого союзником и другом?
Кто будет счастливым супругом
Царевны, дочери твоей?
Она мила, как [ландыш] мая,
Резва, как лань кавказских гор.

* * * ¹

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

* * *

Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы, —
Ты средь торжественных знамен
Упал горящий и кровавый,
Героев севера губя,
Но

* * *

Нет ветра — синяя волна
На прах Афин катится ²

Высокая могила зрится.

* * *

[Поля и горы ночь объемлет
В лесу под] сению небес.
Ипсиланти дремлет.

1823

* * *

Мой пленник вовсе не любезен;
Он хладен [скучен], бесполезен —
Всё так, но пленник мой — не я.

Напрасно славил,

¹ Этот и следующие наброски датируются предположительно.

² Следующий стих не написан.

Дидло плясать его заставил,
Мой пленник следственно не я.

* * *

Жуковский — святой
Парнасский чудотворец
царедворец,
Крылов разбит параличом

* * *

[Скажи] — не я ль тебя заметил
В толпе застенчивых подруг,
[Твой первый взор не я ли] встретил,
Не я ли был <твой> первый друг?

* * *¹

Улыбка уст, улыбка взоров.

1824

Ф. Ф. ВИГЕЛЮ

Скучной ролью Телемака
Я наскучил, о друзья,
О Москва, Москва-Итака!
Скоро ли тебя увижу я?

* * *

Мадам Ризнич с римским носом

¹ Набросок датируется 1823 г. предположительно.

* * *

Слаб и робок человек,
Слеп умом — и всё тревожит.

* * *

Я не дремал
сон изнеможенья
И пролетели надо мной
Разнообразные виденья.
Приснились мне древа и воды
и шум и тень.

* * *

Они твердили: пусть виденья
Толкует хитрый Магомет,
Они ума его <творенья>,
Его ль нам слушать — он поэт!..

* * *

Иван-царевич по лесам
За бурым волком раз гонялся.

1825

* * *

Quand au doux sein de l'oubli
La rose éblouissante a terminé sa vie,
Quand au front, du convive au beau sein de *нрзбр*
Soudain de sa tige natale
Comme un léger soupir
Sa douce âme s'exhale,

Ses mânes parfumées
Vont charmer du Lethé les bords inanimés¹

* * *

Он вежлив был в иных прихожих,
Но дома скучен, сух и горд.

* * *

Заступники кнута и плети!
Все наши женщины и дети,²

За вас молить [я] бога буду
И никогда не позабуду.
[Когда же к делу] позовут
Меня на *нрзбр* расправу,
За ваше здравие и славу
[Влепить] мой первый кнут.

* * *

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней

КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

Да сохранит тебя твой добрый гений
[Под бурями и в тишине]

¹ Когда в сладостном лоне забвенья
Блистательная роза окончила свои дни,
Когда на челе сотрапезника в отрадном лоне *нрзбр*
Нежданно с родимого стебля,
Как легкий вздох,
Улетучивается ее сладостная душа,
Ее благоуханная тень
Будет услаждать неживые берега Леты.

² Следующий стих не написан.

* * * ¹

Но ты забудь меня, мой друг,
Забудь меня, как забывают
Томительный, печальный сон —
Когда [поутру] освещают

* * *

Когда б ты родилась

* * *

[Так] на *нрзбр* страницы
Пылая капает сургуч.

* * *

Играй, прелестное дитя,
Летай за бабочкой летучей,
Поймай, поймай ее шутя
Над розой колючей
 отпуска,
Но не советую тебе
Играть с уснувшим змием —
Завидуя [его] судьбе
[Готовы]
[Искусным пойманный] перстом.



¹ Этот и следующие наброски датируются 1825 г. предположительно.

1816

КУПЛЕТЫ

На слова: «Никак нельзя — ну, так и быть».

Я прав, он виноват; решите.
Петра вот Первого указ,
Экстракт и опись и приказ,
В мою вы пользу рассудите,
Почтенный господин судья? —
— Никак нельзя!

Прикажете ль лошадок вятских
Четверку вам в конюшню свести?
— Пойдите... кажется мне... есть
Статья... да, нет, ведь то в Сенатских,
Но, чтобы вас не погубить,
Ну, так и быть.

Клит малый добрый, не деритесь,
Он вас обидеть не хотел,
И сделать этого б не смел.
За что вам драться? помиритесь, —
Дамону говорят друзья. —
— Никак нельзя!

¹ В тексте стихотворений принадлежащее определенно Пушкину напечатано курсивом.

Но Клит идет, идет не струсая,
Дугой согнулся страшный ус,
Он с саблей — тут притих мой трус.
— По вашей просьбе помирюся,
И впрямь за что его убить?
Ну, так и быть.

КУПЛЕТЫ

На слова: «С позволения сказать»

С позволения сказать,
Я сердит на вас ужасно,
Нет! вы просите напрасно;
Не хочу пера марасть;
Можно ль честному поэту
Ставить к каждому куплету:
«С позволения сказать»?

С позволения сказать,
Престарелые красотки,
Пересчитывая чотки,
Станут взапуски кричать:
«Это что?» Да, это скверно!
Сочинитель песни, верно,
С позволения сказать...

С позволения сказать,
Есть над чем и посмеяться,
Надо всем, друзья, признаться,
Глухих можно тьму сыскать
Между дам и между нами
Даже, даже... меж царями,
С позволения сказать.

С позволения сказать,
Доктор мой кнута достоин,
Хоть он трус, хоть он не воин,
Но уж может воевать,
Лечит делом и словами,
Да потом и в гроб пинками,
С позволения сказать.

С позволения сказать,
Моськина, по мне, прекрасна;
Знаю, что она опасна;
Мужу хочется бодать,
Но гусары ведь невинны,
Что у мужа роги длинные,
С позволения сказать.

С позволения сказать,
Много в свете рифмодеев,
Всё ученых грамотеев,
Чтобы всякий вздор писать;
Но, в пример и страх Европы,
Многим можно б высечь - -,
С позволения сказать.

* * *

Там — громкой славою
Сильной державою
Мир он покрыл,
Здесь безмятежною
Сенью надежною,
Благостью нежною
Нас осенил.

Брани в ужасный час
Мощно хранила нас

Верная длань.
Глас умиления,
Благодарения,
Сердца стремления —
Вот наша дань!¹

1817

* * *

Гауншильд и Энгельгардт,
Карцов и Кошанский,
И танцмейстер Эбергардт,
И Эбергардт кавказский,
Все, как отставной солдат,
Тянут песнь унылу:
«Господа - - -!
Господи помилуй!»

Боже мой, ох, боже мой!
Господи мой боже!
Вот приходит год шестой,
И экзамен тоже.
Что ж? какой нам аттестат
Выдали насилу?
«Господа - - -!
Господи помилуй!»

* * *

Писать я не умею,
(Я много уписал).
*Я дружбой пламенею,
Я дружбе верен стал.*

¹ Стихи Пушкина являются продолжением гимна, начатого Жуковским.

Мне дружба заменяет
Умершую любовь!
Пусть жизнь нам изменяет;
Что было — будет вновь.

КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Зачем, забывши славу,
Пускаешься в Варшаву?
Ужель ты изменил
Любви и дружбе нежной,
И ревности небрежной?
Но ты всё так же мил...
Всё мил — и неизменно
В душе твоей живет
Всё то, что в цвете лет
Столь было нам бесценно...

1819

БАЛЛАДА

Что ты, девица, грустна,
Молча присмирела,
Хоровод забыв, одна
В уголку присела?
«Именинницу, друзья,
Нечем позабавить.
Думала в балладе я
Счастье наше славить.
Но Жуковский наш заснул,
Гнедич заговелся,
Пушкин бесом ускользнул,
А Крылов объелся».

*Вот в гостиной стол накрыт —
Поскорее сядем,
В рюмках пена закипит,
И балладу сладим:
Вот и слажена она —
Нужны ли поэты? —
Рюмки высушив до дна,
Скажем: многи леты
Той, которую друзьям
Век любить не поздно!
Многи лета также нам,
Только с ней нерозно.*

1825

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ АННЫ ЛЬВОВНЫ

Ох, тетенька! ох, Анна Львовна,
Василья Львовича сестра!
Была ты к маменьке любовна,
Была ты к папеньке добра,
Была ты Лизаветой Львовной
Любима больше серебра;
Матвей Михайлович, как кровный,
Тебя встречал среди двора.
Давно ли с Ольгою Сергевной,
Со Львом Сергеичем давно ль,
Как бы на смех судьбины гневной,
Ты разделяла хлеб да соль.
Увы! зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил,
Или зачем подлец попович,
Его Красовский пропустил!

DUBIA



1809 — 1811

* * *

Dis moi, pourquoi «L'Escamoteur»
Est-il sifflé par le parterre?
— Hélas — c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Molière.¹

* * *

Je chante ce combat, que Toly remporta,
Où maint guerrier périt, où Paul se signala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche,
Dont la main fut le prix d'une horrible
escarmouche.²

¹ Скажи, за что «Похититель»
Освистан партером?
«Увы — за то, что бедняга сочинитель
Его похитил у Мольера».

² Пою тот бой, в котором Толи одержал верх,
Где не мало бойцов погибло, где Поль отличился,
Николая Матюрена и красавицу Нитуш,
Коей рука была наградою победителю в ужасной
схватке.

ДВУМ АЛЕКСАНДРАМ ПАВЛОВИЧАМ ¹

Романов и Зернов лихой,
 Вы сходны меж собою:
 Зернов, хромаешь ты ногой,
 Романов головою.
 Но что, найду ль довольно сил
 Сравненье кончить шпиром?
 Тот в кухне нос переломил,
 А тот под Австерлицем.

ГАРАЛЬ И ГАЛЬВИНА

Взошла луна над дремлющим заливом,
 В глухой туман окрестности легли;
 Полночный ветер качает корабли
 И в парусе шумит нетерпеливом.
 Взойдет заря — далек их будет строй.
 Остри свой меч, воитель молодой!

Где ты, Гараль? Печальная Гальвина
 Ждет милого в пещерной темноте.
 Спеши, Гараль, к унылой красоте!
 Заря блеснет, — и гордая дружина
 Умчится вдаль, грозящая войной.
 Где ты, где ты, воитель молодой?

Гальвина с ним. О, сколько слез печали,
 И сколько слез восторгов и любви!
 Но край небес бледнеет, и вдали
 Редет тень. Уж латы зазвучали;

¹ Это и следующие стихотворения датируются 1814 г. предположительно.

Близка заря, несется шум глухой...
Что медлишь ты, воитель молодой?

Призывному Гальвина клику внимлет,
Тоски, надежд и робости полна.
Едва дыша, разлуки ждет она;
Но юноша на персях девы дремлет.
Призывы битв умолкли за горой, —
Не слышал их воитель молодой.

Уже суда покинуть брег готовы,
К ним юноши с веселием бегут,
Прощальну длань подругам подают.
Златой зари раскинулись покровы;
Но, утомлен любовью и тоской,
Покоится воитель молодой.

Пылает день. Он открывает очи.
Гальвина мнит ласкающей рукой
Сокрыть от глаз досадный свет дневной.
«Прости, пора! сокрылись тени ночи:
Спешу к мечам!» — воскликнул — и стрелой
Летит на брег воитель молодой.

Но тихо всё; лишь у пустого берега
Подъемлется шумящая волна;
Лишь дева там, печальна и бледна,
И вдалеке плывут ладьи набега.
О, для чего печальной красотой
Пленялся ты, воитель молодой?

Она в слезах; в немой воитель думе.
«О милый друг! О жизнь души моей!
Что слава нам? Что делать средь мечей?
Пускай другой несется в бранном шуме;

Но я твоя, ты вечно, вечно мой!
Забудь войну, воитель молодой!»

Гараль молчал. Надменное ветрило
Его звало к боям чужой земли;
Но с бурей так быстро корабли
Летели вдаль, и дева так уныло
Его влекла трепещущей рукой...
Всё, всё забыл воитель молодой!

И он у ног своей подруги нежной
Сказал: «Пускай гремят набег и брань:
Забыла меч ослабленная длань!»
Их дни слились в отраде безмятежной;
Лишь у берегов, терзаемых волной,
Дрожа, краснел воитель молодой.

Но быстро дни восторгов пролетели.
Бойцы плывут к брегам родной земли;
Сыны побед с добычей притекли,
И скальды им хваленья песнь воспели.
Тогда поник бесславною главой
На пиршествах воитель молодой.

Могучие наперсники судьбины
К ногам невест повергли меч и щит;
Кровавый меч героев не лежит
У ног одной оставленной Гальвины.
Красавица вздохнула, — и другой
Ее пленил воитель молодой.

С тех пор один бродил Гараль унылый
Умолк его веселый прежде глас,
Лишь иногда в безмолвный ночи час
Уединен шептал он имя милой.
Война зажглась, — и встречи роковой
Пошел искать воитель молодой.

ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРЦА

С в я щ е н н и к.

Кто ты, мой сын?

С т и х о т в о р е ц.

Отец, я бедный однодворец,
Сперва подьячий был, а ныне стихотворец.
Довольно в целый год бумаги исчертил;
Пришел покаяться — я много нагрешил.

С в я щ е н н и к.

Поближе. Наперед скажи мне откровенно,
Намерен ли себя исправить непременно?

С т и х о т в о р е ц.

Отец, я духом слаб, не смею слова дать.

С в я щ е н н и к.

Старался ль ты закон господний соблюдать
И кроме вышнего не чтить другого бога?

С т и х о т в о р е ц.

Ах, с этой стороны я грешен очень много:
Мне богом было — я, любви предметом — я,
В я заключался и братья и друзья,
Лишь я был мой и царь и демон-обладатель;
А что всего тошней, лишь я был мой читатель.

С в я щ е н н и к.

Вторую заповедь исполнил ли, мой сын?

С т и х о т в о р е ц.

Кумиров у меня бывало не один:
Любил я золото и знатным преклонялся,
Во всякой песенке Глафирами пленялся,
Которых от роду хотя и не видал,
Но тем не менее безбожно обожал.

С в я щ е н н и к.

А имя божие?

С т и х о т в о р е ц.

Когда не доставало
Иль рифмы иль стопы, то, признаюсь, бывало
И имя божие влею в упрямый стих.

С в я щ е н н и к.

А часто ль?

С т и х о т в о р е ц.

Да во всех элегиях моих;
Там можешь, батюшка, прочесть на каждой строчке
«Увы!» и «се», и «ах», «мой бог!» тире да точки.

С в я щ е н н и к.

Нехорошо, мой сын! А чтешь ли ты родных?

С т и х о т в о р е ц .

Не много! Да к тому ж не знаю вовсе их,
Зато своих я чад люблю и чту душою.

С в я щ е н н и к .

Как время проводил?

С т и х о т в о р е ц .

Я летом и зимою
Пять дней пишу, пишу, печатаю в шестой,
Чтоб с горем пополам насытиться в седьмой.
А в церковь некогда: в передней Глазунова
Я по три жду часа с лакеями Графова.

С в я щ е н н и к .

Убийцей не был ли?

С т и х о т в о р е ц .

Ах, этому греху,
Отец, причастен я, покаюсь на духу.
Приятель мой Дамон лежал при смерти болен.
Я навестил его; он очень был доволен;
Желая бедному страдальцу угодить,
Я оду стал ему торжественно твердить.
И что же? Бедный друг! Он со строфы
начальной
Поморщился, кряхтел... и умер.

С в я щ е н н и к .

Не похвально!
Но вот уж грех прямой: ведь ты прелюбодей!
Твои стихи...

Стихотворец.

Всё лгут, а на душе моей,
Ей-богу, я греха такого не имею;
По моде лишний грех взвалил себе на шею.
А правду вымолвить — я сущий Эпиктет,
Воды не замутишь, предобренький поэт.

Священник.

Да, лгать нехорошо. Скажи мне, бога ради:
Соблюл ли заповедь хоть эту: *не укради?*

Стихотворец.

Ах, батюшка, грешон! я краду иногда!
(К тому приучены все наши господа),
Словцо из Коцебу, стих целый из Вольтера,
И даже у своих; не надобно примера.
Да как же без того бедняжкам нам писать?
Как мало своего — придется занимать.

Священник.

Нехорошо, мой сын, на счет чужой лениться,
Советую тебе скорее отучиться
От этого греха. На друга своего
Не доносил ли ты и ложного чего?

Стихотворец.

Лукавый соблазнил. Я малый не богатый —
За деньги написал посланье длинновато,
В котором Мевия усердно утешал —
Он, батюшка, жену недавно потерял.

Я публике донес, что бедный горько тужит,
А он от радости молебны богу служит.

С в я щ е н н и к.

Вперед не затевай, мой сын, таких проказ.
Завидовал ли ты?

С т и х о т в о р е ц.

Завидовал не раз,
Греха не утаю, — богатому соседу,
Хоть не ослу его, но жирному обеду
И бронзе, деревням и рыжей четверне,
Которых не иметь мне даже и во сне.
Завидовал купцу, беспечному монаху,
Глупцу, заснувшему без мыслей и без страху,
И, словом, всякому, кто только не поэт.

С в я щ е н н и к.

Худого за собой не знаешь больше?

С т и х о т в о р е ц.

Нет.

Во всем покаялся; греха не вспомню боле,
Я вечно трезво жил, постился поневоле
И ближним выгоду не раз я доставлял:
Частенько одами несчастных усыплял.

С в я щ е н н и к.

Послушай же теперь полезного совета:
Будь добрый человек из грешного поэта.

ВИШНЯ

Румяной зарею
Покрылся восток,
В селе за рекою
Потух огонек.

Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах.

Туманы седые
Плывут к облакам,
Пастушки младые
Спешат к пастухам.

С журчаньем стремится
Источник меж гор,
Вдали золотится
Во тьме синий бор.

Пастушка младая
На рынок спешит
И вдаль, припевая,
Прилежно глядит.

Румянец играет
На полных щеках,
Невинность блистает
На робких глазах.

Искусной рукою
Коса убирает,

И ножка собою
Прельщать создана.

Корсетом прикрыта
Вся прелесть грудей,
Под фартуком скрыта
Приманка людей.

Пастушка приходит
В вишённик густой
И много находит
Плодов пред собой.

Хоть вид их прекрасен
Красотку манит,
Но путь к ним опасен —
Бедняжку страшит.

Подумав, решилась
Сих вишен поесть,
За ветвь ухватилась
На дерево взлезть.

Уже достигает
Награды своей
И робко ступает
Ногой меж ветвей.

Бери плод рукою —
И вишня твоя,
Но, ах! что с тобою,
Пастушка моя?

Вдали усмотрела, —
Спешит пастушок;

Нога ослабела,
Скользит башмачок.

И ветвь затрещала,
Беда! смерть грозит!
Пастушка упала.
Но, ах! какой вид...

Сучок преломленный
За платье задел;
Пастух удивленный
Всю прелесть узрел.

----- 1

Пастушку несчастну
С сучка тихо снял
И грудь свою страстну
К красотке прижал.

Вся кровь закипела
В двух пылких сердцах,
Любовь прилетела
На быстрых крылах.

Утеха страданий
Двух юных сердец,
В любви ожиданий
Супругам венец.

----- 2

¹ Две строчки черточек заменяют две строфы.

² Три строчки черточек заменяют три строфы.

ЗАВЕЩАНИЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Друзья, простите! Завещаю
Вам всё, чем рад и чем богат;
Обиды песни — всё прощаю,
А мне пускай долги простят.

1818

* * *

Она тогда ко мне придет,
Когда весь мир уgomонится:
Когда всё доброе ложится,
И всё недоброе встает.

ПРО СЕБЯ

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? бог весть!

НАДЕНЬКЕ

С тобой приятно уделить
Часок-два-три уединенью:
Один желаньям посвятить,
А два последних — наслажденью.

1819

НА Н. И. ГНЕДИЧА

С тобою в спор я не вступаю,
Что жесткое в стихах твоих встречаю;

Я руку наложил,
Погладил — занозил.

НА Н. М. КАРАМЗИНА

1

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

2

«Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря да про его жену,
Про Новгород, про время золотое,
И, наконец, — про Грозного царя...»
И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью-богатыря»,

НА ГР. Д. И. ХВОСТОВА

Сожаленье не поможет,
Всё ж мне жаль, что граф Хвостов
Удержать в себе не может
Ни урины, ни стихов.

1820

НА ФОТИЯ

Полу-фанатик, полу-плут;
Ему орудием духовным
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, господи, греховным

Поменьше пастырей таких, —
Полу-благих, полу-святых.

НА КН. А. Н. ГОЛИЦЫНА

Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.

К ПОРТРЕТУ П. Х. МОЛОСТОВОА

Не большой он русский барин,
Дураком он не был век,
Он татарин, он татарин,
А не русский человек.

1825

* * *

Расходились по поганскому граду,
Разломали темную темницу.



ПРИЛОЖЕНИЕ



К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

(«Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!»). Стр. 101.

В белой рукописи между 60 и 61 стихами имеются стихи:

«Постойте, скажешь мне, ведь я не однодворец,
Могу я быть богат, хотя и стихотворец».
Согласен, — будь богат и ты, как тот поэт,¹
Который, именем наполнив целый свет,
Развратной прозою, опасными стихами
Успешно торговал с голландскими купцами.
Но разве бедность лишь заставит слезы лить?
Иль зависть богача не смеет уязвить?
Что, если вооружась шипящей клеветой,
Всечасно ползая повсюду за тобою,
Наполнит горечью всю чашу бытия,
Покроет праком жизнь и ввергнет в гроб тебя?

К НАТАШЕ

(«Вянет, вянет лето красно...»). Стр. 126.

В первой редакции стихотворение заканчивалось строфой:

Ах, Наташа! Помни вечно
Нежности, любви закон:
Если радостью сердечной

¹ Вольтер.

Юности горит огонь,
То — не трать ни полминуты!
Скоро... старостью согнуты
Будем тихо мы бродить! —
И тогда ли нам любить?

К БАТЮШКОВУ

(«Философ резвый и пиит...»). Стр. 131.

В белой рукописи между 71 и 72 стихами имеются стихи:

Скажи, по милости, Графону,
Ползком ползущу к Геликону,
Чтоб перестал писать, писать
И бедных нас морить со скуки;
Скажи ему, что наши внуки
Не станут вздор его читать.
Всё, всё позволено поэту;
Скажи всему, коль хочешь, свету,
Что <Висковатов> невпопад,
Уродов выставя на сцену,
Визжать заставил Мельпомену;
Что Клиф был добрый человек,
Тихонько проводил свой век,
Своим домком спокойно правил
И жил без горя, без забот,
Покамест не печатал од,
Где здравый смысл вверх дном поставил,
Где вы навидитесь всего,
Где все чудовища геенны
На жертву агнцы обреченны...
Где нет лишь смысла одного;
Что с горя ныне иссыхает;
Что неуклюжий славянин,
Изменник ревностных дружин,
Варяжски песни затевает
Теперь на дудочке простой
И слогом древности седой
В деревню братьев приглашает,
Сошел с ума и в пастухи!
Вот какво писать стихи!

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ (ДРУЗЬЯМ)

(«Хочу я завтра умереть...»). Стр. 216.

Первая редакция имела следующее начало:

Нет, полно, полно мне терпеть!
Дорожный посох мне наскучил,
Угрюмый рок меня замучил,
Хочу я завтра умереть.

ОКНО

(«Недавно темною порою...»). Стр. 237.

В первой редакции стихотворение начиналось следующими двумя строфами:

Где мир, одной мечте послушный?
Мне настоящий опустел!
На всё взираю равнодушно,
Дышать уныньем мой удел;
Напрасно летнею порою
Лисовник рощиц и лугов
Колышет розой полевою,
Летя с тенистых берегов.

Напрасно поздняя зарница
Мерцает в темноте ночной,
Иль в зыбких облаках денница
Разлита пламенной рекой,
Иль день багряный вечереет,
И тихо тускнет неба свод,
И клен на месяце белеет,
Склонясь на берег синих вод.

РАЗЛУКА

(«Когда пробил последний счастьем час...»). Стр. 243.

Стихотворение Пушкин переделывал для печати, но потом от публикации отказался. Переделанное стихотворение имело такой вид:

Уныние

Мой милый друг! расстался я с тобою.
Душой уснув, безмолвно я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною,
Я всё тебя, далекий друг, ищу;
Одну тебя везде воспоминаю,
Одну тебя в неверном вижу сне,
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голос слышен мне.

И ты со мной, о лира, приуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печален звон глухой,
И лишь тоски ты голос не забыла!..
О верная, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напевы
Изобразят уныние любви,
И слушая бряцания твои
Пускай вздохнут задумчивые девы.

ДЯДЕ, НАЗВАВШЕМУ СОЧИНИТЕЛЯ БРАТОМ

(«Я не совсем еще рассудок потерял...»). Стр. 245.

Первой редакцией является письмо к В. Л. Пушкину:

Тебе, о Нестор Арзамаса,
В боях воспитанный поэт,
Опасный для певцов сосед
На страшной высоте Парнаса,
Защитник вкуса, грозный *Vom!*
Тебе, мой дядя, в новый год
Веселья прежнего желанье,
И слабый сердца перевод —
В стихах и прозою посланье.

В письме вашем вы называли меня братом, но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным.

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм бакхических шатаюсь на Пегасе.
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад...
Нет, нет, вы мне совсем не брат,
Вы дядя мой и на Парнасе.

Итак, любезнейший из всех дядей-поэтов здешнего мира — можно ли мне надеяться, что вы простите девяти-месячную беременность пера ленивейшего из поэтов-племянников?

Да, каюсь я, конечно, перед вами:
Совсем не прав пустынный-рифмоплет,
Он в лености сравнится лишь с богами,
Он виноват и прозой и стихами:
Но *старое* забудьте в *новый* год.

Кажется, что судьбою определены мне только два рода писем: *обещательные* и *извинительные*: первые в начале годовой переписки, а последние при последнем ее издыхании. К тому же приметил я, что и все они состоят из двух посланий; это, мне кажется, непростительно.

Но вы, которые умели
Простыми песнями свирели
Красавиц наших воспевать,
И с гневной музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять,
И мучить бедного Ослова
Священным Феба языком,
И лоб угрюмый Шутовского
Клеймить единственным стихом!
О вы, которые умели
Любить, обедать и писать —
Скажите искренно — ужели
Вы не умеете прощать?

Напоминаю о себе моим незабвенным; не имею больше времени, но... надобно ли еще обещать? Простите, вы все, которых любит мое сердце, и которые любите еще меня...

Шольё Андреевич, конечно,
Меня забыл давным давно,
Но я его люблю сердечно,
За то, что любит он бесечно
И пить, и петь свое вино,
И над всемирными глупцами
Своими резвыми стихами
Смеется, право, пресмешно.

НАЕЗДНИКИ

(«Глубокой ночи на полях...»). Стр. 245.

В первой редакции стихотворение заканчивалось позднее откинутыми стихами:

Умолк — и мчится в бой кровавый,
Уже не возвратится он...
С его конем — на поле славы
Его покрыл безвестный сон.
И утром мрачного поэта
Наездники в веселый час
За чашей дружного привета
В последний вспомянули раз.

ЭЛЕГИЯ

(«Я видел смерть...»). Стр. 252.

Пушкин готовил стихотворение к печати, проведя его через цензуру в рукописи первого своего печатного сборника. Последняя редакция читается:

П о д р а ж а н и е

Я видел смерть; она сидела
У тихого порога моего.
Я видел гроб; открылась дверь его:
Туда, туда моя надежда полетела...
Умру, и младости моей
Никто следов пустынных не заметит,
И взора милого не встретит
Последний взор моих очей.
.....
Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала,
Где жизнь меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Небес лазурная завеса,
Любимые холмы, ручья веселый глас,
Ты, утро — вдохновенья час,
Вы, тени мирные таинственного леса,
И всё... прости в последний раз!

ЖЕЛАНИЕ

(«Медлительно влекутся дни мои...»). Стр. 253.

В 1825 г., подготавливая к печати сборник своих стихотворений, Пушкин откинул в «Желании» первые четыре стиха; в получившемся стихотворении, в конце концов не напечатанном поэтом, первые четыре стиха читались так:

Я слезы лью; мне слезы утешенье,
И я молчу; не слышен ропот мой.
Моя душа, объята тоской,
В ней горькое находит наслажденье.

ДРУЗЬЯМ

(«К чему, веселые друзья») Стр. 254.

В более ранней редакции вместо первых восьми стихов имеются стихи:

Среди беседы вашей шумной
Один уныл и мрачен я...
На пир раздольный и безумный
Не призывайте вы меня.
Любил и я когда-то с вами
Под звон бокалов пировать
И гармонически стихами
Пиров веселье воспевать,
Но пролетел миг упоений,
Я радость светлую забыл,
Меня печали мрачный гений
Крылами черными покрыл...
Не кличьте ж вы меня с собою
Под звон бокалов пировать:
Я не хочу своей тоскою
Веселье ваше отравлять.

К ДЕЛЬВИГУ

(«Блажен, кто с юных лет...»). Стр. 289.

В более ранней редакции между 12 и 13 стихами были еще следующие:

Певец! в безвестности глухой
Живи под дружественной сенью;
Страшись увидеть свет; неопытной душой
Не жертвой ослепленью.

Воспитанный в тиши, не зная грозных бед,
С любовью, дружеством и ленью
В уединении ты счастлив, — ты поэт!
Но для меня прошли, увяли наслажденья!

В АЛЬБОМ

(«Пройдет любовь, умрут желанья...»). Стр. 297.

Вторая редакция:

Когда погаснут дни мечтанья,
И позовет нас шумный свет,
Кто вспомнит братские свиданья,
И дружество минувших лет?..
Позволь в листах воспоминанья
Оставить им минутный след.

КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

(«В последний раз в тиши уединенья...»). Стр. 300.

Перепечатывая стихотворение в первом своем сборнике 1826 г., Пушкин назвал его «Разлука» и внес такие варианты:

1. В последний раз, в сени уединенья,
- 5—9. Прошли лета соединенья;
Разорван он, наш верный круг.
Прости! Хранимый небом,
Не разлучайся, милый друг,
С свободою и Фебом!

К НЕЙ

(«В печальной праздности я лиру забывал...»). Стр. 309.

В редакции, приготовленной к печати в 1819 г. и потом не напечатанной Пушкиным, между 24 и 25 стихами было вставлено:

Тебя увидел я... нет! в сердце не потух
Святой поэзии восторг неизъяснимый;
Нет! он еще горит, поэта прежний дух,
Сей пламень, музами хранимый!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

(«Тебя ль я видел, милый друг...»). Стр. 316.

В первой редакции этого, неоднократно перерабатывавшегося стихотворения, названного «Элегия», после 10 стиха, были следующие стихи:

На саблю опершись, казалось, ты дрожала.
Я зрел в твоих очах уныния туман,
Казалось, тяжкая тоска приподнимала
Накинутый на перси доломан.

После 23 стиха шли стихи:

И чуждым поясом объятый крепко стан,
И сей ревнивый доломан.

ЖУКОВСКОМУ

(«Когда к мечтательному миру...»). Стр. 318.

Более ранняя редакция читается:

Когда младым воображеньем
Твой гордый гений окрылен,
Тревожит лени праздный сон,
Томясь мятежным упоеньем;
Когда возвышенной душой
Летя к мечтательному миру,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе, —
Ты прав: творишь ты для немногих,
Не для подкупленных судей,
Ревнивых милостью своей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов!
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В завидный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом сладостным и ясным!
Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,

На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там, в дыму столетий:
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети
С сынами доблести прямой;
От сна воскресшими веками
Он бродит тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной, —
И в нем трепещет вдохновенье.

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

(«Его стихов пленительная сладость»...). Стр. 319.

Первая печатная редакция:

Надпись к портрету В. А. Жуковского

Его стихов пленительная сладость
Пройдет времен в таинственную даль:
Услыша их воспламенится младость,
Безмолвная утешится печаль
И резвая задумается радость.

К ЩЕРБИНИНУ

(«Житье тому, любезный друг...»). Стр. 332.

В рукописях Пушкина имеется в другой редакции:

Житье тому, мой милый друг,
Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем и всем доволен. —
Его не ведает печаль,
Его забавы бесконечны,
Он создал мысленно сераль
И в нем блаженствует, беспечный.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ

(«Прости, счастливый сын пиров...»). Стр. 335.

Пушкин не мог напечатать подлинного текста стихотворения и опубликовал его в смягченной редакции:

Прости, счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы,
Любимец муз, поклонник моды
И Терпсихоры и стихов!
Ты в жизни любишь перемену:
Ты скачешь в мирную Москву,
Где сладко дремлют наяву
И наслажденьям знают цену.
Разнообразной и живой
Москва пленяет пестротой,
Старинной роскошью, пирами и т. д.

Ст. 19: И тяжкой знатности веселье,

УЕДИНЕНИЕ

(«Блажен, кто в отдаленной сени...»). Стр. 338.

Цензурные замены в печатном тексте Пушкина:

Стт. 2—3: Вдали взыскательных невежд
Дни делит меж трудов и лени.

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

(«Чья мысль восторгом угадала...»). Стр. 341.

В черновой, обильной вариантами, рукописи после первой строфы вычитывается следующая:

Кто сотворил воображеньем
Сей [пламенный], сей важный взор?
Кто понял гений вдохновеньем?
Кто слышал сердца разговор?

Последняя строфа сперва читалась:

Любовь! Но где поэта пламень?
Кто держит кисть любимца муз?
Бесчувствен он как хладный камень,
Расторгнут с жизнью союз.

ЦАРСКОЕ СЕЛО

(«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений...»)
Стр. 343.

Между двумя строфами чернового автографа, по которому печатается стихотворение, можно вычитать следующие незачеркнутые стихи, которые не вводятся в основной текст, так как они разбивают единый синтаксический контекст первой и последней строф:

Другой пускай поет [Героев] и войну,
Я — скромно возлюбил природы тишину
И, чуждый призрака пленительных славы,
О Царского Села прекрасные дубравы,
Отныне посвятил вам, верный музы друг,
И песни мирные и сладостный досуг.

К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

(«Подруга думы праздной...»). Стр. 371.

Между 42 и 43 стихами вычеркнуто:

Любовница свободы,
Ты с нею заодно
Прославила вино
И прелести природы;
Ты смеху обрела
Пустых любимцев моды
И речи и дела.

(«КТО ВИДЕЛ КРАЙ, ГДЕ РОСКОШЬЮ ПРИРОДЫ...»).
Стр. 375.

Между третьей и четвертой строфами в рукописи имеется зачеркнутая строфа:

Всё мило там красою безмятежной,
Всё путника пленяет и манит;
Как в ясный день дорогою прибрежной
Привычный конь по склону гор бежит.
Повсюду труд веселый и прилежный
Сады татар и нивы богатит.
Холмы цветут, и в листьях винограда
Висит янтарь, ночных пиров отрада.

После четвертой строфы имеется зачеркнутая строфа:

Приду ли вновь, поклонник муз и мира,
Забыв молву и света суеты,
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты.
В моих руках Овидиева лира,
Счастливая певица красоты,
Певица нег, изгнанья и разлуки,
Найдет ли вновь свои живые звуки?

ДИОНЕЯ

(«Хромид в тебя влюблен...»). Стр. 384.

Первая редакция начиналась так:

Подруга милая. Я знаю отчего
Ты с нынешней весной от наших игр отстала.
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала:
Кларис в тебя влюблен и т. д.

АЛЕКСЕЕВУ

(«Мой милый, как несправедливы...»). Стр. 386.

Первая редакция имела между 26 и 27 стихами:

Вдали штыков и барабанов
Так точно старый инвалид
Встречает молодых уланов
И им о битве говорит.

В первой редакции (рукописной) после стиха 44-го было:

Я был рожден для наслажденья;
В моей утраченной весне
Как мало нужно было мне
Для милых снов воображенья!
Зачем же в цвете юных лет
Мне стало чуждо сладострастье?
Зачем же вдруг увяло счастье
И ни к чему стремленья нет?
И что ж? изменой хладнокровной
Я ль стану дружеству вредить
И снова тактики любовной
Уроки хитрые твердить?
Нет, милый, если голос томный,
Обман улыбки, нежный взор,
Умильный вид печали скромной
Тобой владеют до сих пор, —
Люби, ласкай свои желанья,
Надежде, взору слепо верь.
Увы! пройдут любви мечтанья
И будешь то, чем я теперь.

В первой печатной редакции после стиха 44-го следовало:

И что ж? изменой хладнокровной
Я ль стану дружеству вредить,
И снова тактики любовной
Уроки хитрые твердить?
Люби, ласкай свои желанья,
Надежде, сердцу слепо верь.
Увы! пройдут любви мечтанья
И будешь то, чем я теперь.

«ЛЮБЛЮ ВАШ СУМРАК НЕИЗВЕСТНЫЙ...»

Стр. 411

В первой редакции стихотворение читалось:

Отрывок

Ты сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество! пустой призрак,
Не жажду твоего покрова;
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливых дней не зная от века,
Я всё не верую в тебя,
Ты чуждо мысли человека!
Тебя страшится гордый ум!
Так путник, с вышины внимая
Ручьев альпийских вечный шум
И взоры в бездну погружая,
Внезапным ужасом томим,
Дрожит, колеблется — пред ним
Предметы движутся, темнеют,
В нем чувства хладные немеют,
Кругом оплота ищет он,
Всё мчится, меркнет, исчезает...
И хладный обморока сон
На край горы его бросает...
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где всё блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя —
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..

Любви! — но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?

.....
Зачем не верить вам, поэты,
Что тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,

И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей,
Они, бессмертие вкушая,
В Элизий поджидают их,
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих...

.....
Мечты поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.

УЗНИК

(«Сижу за решеткой в темнице сырой...»). Стр. 418.

Последнее чтение первого чернового автографа:

И тихо и грустно в темнице [глухой]!
Пленен, обескрылен орел молодой,
Мой верный товарищ в изгнание моем
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет и бросает и смотрит в окно
И **вы**молвить [хочет] мне слово одно.
Зовет меня взором и криком своим:
«Мой верный товарищ, уйдем, улетим;
Давай встрепенемся! пора нам! пора!
Острог нам не ближний, тюрьма не сестра.
Мы вольные птицы, ты, брат мой, и я.
Где сокол [и коршун], там наша семья.

Вариант ст. 10:

Замки нам не братья, тюрьма не сестра.

«СВОД НЕБА МРАКОМ ОБЛОЖИЛСЯ...» Стр. 420.

В первой печатной редакции между 108-м и 109-м стихами было:

Он видит Новгород великий,
Знакомый терем с давних пор;
Но тын оброс крапивой дикой,
Обвиты окна повиликой,
В траве заглох широкий двор.
Он быстро храмин опустелых
Проходит молчаливый ряд:
Всё мертво... Нет гостей веселых,
Застольны чаши не гремят;

И вот веселая светлица.
В нем сердце бьется: здесь иль нет
Любовь очей, душа-девица?
Цветет ли здесь мой милый цвет?
Найду ль ее?.. И с этим словом
Он входит... Что же? страшный вид!
В постеле холодной, под покровом,
Девушка мертвая лежит!..
В нем замер дух и взволновался,
Покров приподнимает он,
Глядит — и слабый стон
Сквозь тяжкий сон его раздался.
Она, она! — ее черты.
На персях рану обнажает,
Она погибла! восклицает:
Кто мог?.. И слышит голос: ты!..

НА ГР. М. С. ВОРОНЦОВА

(«Полу-герой, полу-невежда...»). Стр. 446.

Другая редакция эпиграммы, вероятно окончательная, но дошедшая до нас лишь в позднейших списках:

Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

(«Стишки для вас одна забава...»). Стр. 450.

Перед печатанием стихотворения Пушкин исключил из него ряд стихов слишком интимного характера:

После 96:

Мои слова, мои напевы,
Коварной силой иногда,
Смирять умели в сердце девы
Волненье страха и стыда...

После 120:

Ах, лира, лира! что же ты
Мое безумство разгласила?
Ах, если б Лета поглотила
Мои летучие мечты! —

После 147:

С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна была — при ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.

19 ОКТЯБРЯ

(«Роняет лес багряный свой убор...»). Стр. 514.

В рукописи между первой и второй строфами имеются четыре строфы, из которых первая зачеркнута.

Товарищи! сегодня праздник наш,
Заветный срок! Сегодня там, далече,
На пир любви, на сладостное вече
Стеклися вы при звоне мирных чаш —
Вы собрались, мгновенно молодея,
Усталый дух в минувшем обновить,
Поговорить на языке лица
И с жизнью вновь свободно пошалить.

На пир любви душой стремлюся я...
Вот вижу вас, вот милых обнимаю,
Я праздника порядок учреждаю...
Я вдохновен, о, слушайте, друзья:
Чтоб тридцать мест нас ожидали снова!
Садитесь, как вы садились там,
Когда места, в тени святого крова,
Отличие приписывало нам.

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вальховский сядет первый,
Последним я, иль Брогль, иль Данзас;
Но многие не явятся меж нами...
Пускай, друзья, пустеет место их:
Они придут; конечно, над водами,
Иль на холме, под сенью лип густых,

Они твердят томительный урок,
Или роман украдкой пожирают,

Или стихи влюбленные слагают, —
И позабыт полуденный звонок.
Они придут! — за праздные приборы
Усядутся; напоят свой стакан;
В нестройный хор сольются разговоры,
И загремит веселый наш пэан.

После девятой строфы в рукописи идет строфа:

Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
Ты, наш казак и пылкий, и незлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз,
Как мы впервой все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ!..

Эта строфа прежде начиналась со стиха: «Мы вспомнили б, как Вакху приносили» и кончалась стихами:

И всё прошло — проказы, заблужденья...
Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

В шестнадцатой строфе последние четыре стиха в рукописи первоначально были:

Златые дни, уроки и забавы,
И черный стол, и бунты вечеров,
И наш словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов!

После семнадцатой строфы в рукописи имеется строфа, первые четыре стиха которой читаются:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

последние четыре стиха:

Наставникам, хранившим юность нашу,

и т. д., т. е. стихи, составившие вторую половину шестнадцатой строфы.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
От редакции	5
<i>М. Цявловский.</i> Предисловие к первому и второму томам	7
<i>А. Луначарский.</i> Александр Сергеевич Пушкин.	9

СТИХОТВОРЕНИЯ 1813—1825.

(Редактор М. А. Цявловский)

1813

Послание к Наталье	85
Монах	88

1814

К другу стихотворцу	101,580
Несчастье Клита	104
Кольна. Подражание Оссиану	—
Эвлега	109
Осгар	110
Расеудок и любовь	113
К сестре	114
Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало	118
«Арист нам обещал трагедию такую»	—
Опытность	—
Блаженство	119
Казак	122
Князю А. М. Горчакову («Пускай, не знаясь с Аполлоном»)	124
К Наташе	126,580
Пирующие студенты	126

	<i>Стр.</i>
Эпиграмма. Подражание французскому («Супругою твоей я так пленился»)	130
К Н. Г. Ломоносову	—
К Батюшкову («Философ резвый и прит») 131,	581
Эпиграмма («Бывало, прежних лет герой»)	133
Воспоминания в Царском Селе	—
Красавице, которая нюхала табак	139
Романс	140
Леда. Кантата	142
Stances («Avez-vous vu la tendre rose»)	144
Mon portrait	146

1815

Бова (Отрывок из поэмы)	149
Городок	157
Вода и вино	169
Измены	170
К Лицинию. С латинского	173
Батюшкову («В пещерах Геликона»)	175
Наполеон на Эльбе (1815)	176
К Пушкину. (4 мая)	179
К Галичу («Пускай угрюмый рифмотвор»)	181
Мечтатель	183
Послание молодой актрисе	185
Воспоминания. К Пушкину	187
К ней («Эльвина, милый друг, приходи, подай мне руку»)	188
Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой»)	—
Моя эпитафия	193
К Дельвигу («Послушай, муз невинных»)	—
Роза («Где наша роза?»)	195
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году	—
«Итак я счастлив был»	198
Слеза	—
«Угрюмых тройка есть певцов»	199
К бар. М. А. Дельвиг	—
Моему Аристарху	200
Тень Фонвизина	203
Гроб Анакреона	213
Сраженный рыцарь	214
Мое завещание. (Друзьям.)	216, 582
Послание к Юдину	218
К живописцу	224

«Заутра с свечкой грошевою»	226
Усы. Философическая ода	—
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Блажен, кто в шуме городском»)	228
Из письма к В. Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба»)	—
Принцу Оранскому	229
Сон	230
Кж. В. М. Волконской	237
Экспромпт на Огареву	—
Окно	237, 582
К Жуковскому («Благослови, поэт»)	238
Осеннее утро	242
Разлука	243, 582
Истина	244
На Пучкову («Зачем кричишь ты, что ты дева»)	—
Дяде, назвавшему сочинителя братом	245, 583
Наездники	245, 585
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе»)	247
Месяц	248
Певец	249
К сну	—
Слово милой	250
«Любовь одна — веселье жизни хладной»	—
Элегия («Я видел смерть, она в молчаньи села»)	252, 585
Желание («Медлительно влекутся дни мои»)	253, 586
Друзьям («К чему, веселые друзья»)	254, 586
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда»)	254
Наслажденье	255
К Маше	256
Заздравный кубок	257
Послание Лиде	258
Амур и Гименей. Сказка	260
Фиал Анакреона	262
К Шишкову	263
Пробужденье	264

1814—1816

Старик. Из Марота	266
Песня («О Делия драгая»)	—
Делия	267
Фавн и пастушка. Картины	268
Погреб	275

	<i>Стр.</i>
«И останешься с вопросом»	276
«От всенощной, вечер, идя домой»	—
«Я сам в себе уверен»	277
Couplets	—
«Скажи, что нового?» — «Ни слова»	279
«Больны вы, дядюшка? Нет мочи»	280
Надпись к беседке	—
«Вот Виля — он любовью дышит»	—
На гр. А. К. Разумовского	—
На Баболовской дворец	—
«Пожарский, Минин, Гермоген»	281
Эпиграмма на смерть стихотворца	—
Портрет («Вот карапузик наш, монах»)	—
«Ты хочешь ли узнать, моя драгая»	—
На Пучкову («Пучкова, право, не смешна»)	282
Твой и мой	—
«Тошней идиллии и холодней, чем ода»	—

1817

К Каверину	283
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!»)	284
К молодой вдове	285
Безверие	286
К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою»)	289, 586
Стансы («Ты мне велишь пылать душою»)	291
Послание В. Л. Пушкину («Скажи, парнасский мой отец»)	292
Письмо к Лиде	294
Послание кн. А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной»)	295
В альбом («Пройдет любовь, умрут желанья»)	297, 587
В альбом Илличевскому	298
Товарищам	—
Надпись на стене больницы	299
В альбом И. И. Пущину	300
Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уединения»)	300, 587
К портрету Каверина	301
К письму	—
Сновидение	—
Она	—
«Простите, верные дубравы!»	302
«Штабс-капитану, Гете, Грею»	—

К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада	303
Послание к А. И. Тургеневу	—
К*** («Не спрашивай, зачем унылой думой»)	305
«Краев чужих неопытный любитель»	—
«Не угрожай ленивцу молодому»	—
Кривцову («Не пугай нас, милый друг»)	306
«Орлов с Истоминой в постеле»	—
Торжество Вакха	307
К ней («В печальной праздности я лиру забывал»)	309, 587
Именины	310
Добрый совет	311
К. А. Б. *** («Что можем наскоро стихами мол- вить ей?»)	—
История стихотворца	—
К портрету Чаадаева	312
Вольность. Ода	—
Кн. Голицыной. Посылая ей оду «Вольность»	315

1818

«Когда сожмешь ты снова руку»	316
Выздоровление	316, 587
«Послушай, дедушка, мне каждый раз»	317
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру»)	318, 588
Сказки (Noël)	318
К портрету Жуковского	319, 589
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис»)	320
На Каченовского («Бессмертною рукой раздавлен- ный воил»)	321
Мечтателю	321
Ответ на вызов написать стихи в честь ее импе- раторского величества государыни импера- трицы Елисаветы Алексеевны	322
Прелестнице	—
К*** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упо- енный»)	323
«Дубравы, где в тиши свободы»	—
«Могущий бог садов — паду перед тобой»	324
«Позволь душе моей открыться пред тобою»	—
«За ужином объелся я»	325
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы»)	—
В альбом Е. Я. Сосницкой	—

«Как сладостно!.. Но, боги, как опасно»	326
«И я слышал, что божий свет»	—

1819

Эпиграмма на Колосову	327
27 мая 1819	—
Элегия («Воспоминаньем упоенный»)	—
На Стурдзу («Холоп венчанного солдата»)	328
В. В. Энгельгарду («Я ускользнул от Эскулапа»)	—
Орлову	329
Деревня	330
К Щербинину	332, 589
«Нет, нет, напрасны ваши пени»	333
«Давно ли тайными судьбами»	—
Домовому	334
К Ф. Ф. Юрьеву («Здорово, Юрьев, именинник!»)	—
Всеволожскому	335, 590
Веселый пир	337
Уединение	338, 590
«Напрасно, милый друг, я мыслил утаить»	—
«За старые грехи наказанный судьбой»	—
«Всё призрак, суета»	—
Лиле	339
Платоническая любовь	—
Записка к Жуковскому	341
Недоконченная картина	341, 590
Русалка	341
Царское Село	343, 591
«Там у леса, за ближнюю долиной»	344
Стансы Толстому	345
Возрождение	346
Послание к кн. А. М. Горчакову («Питомец мод, большого света друг»)	—
«Но я не тот, мои златые годы»	347
«Ольга, крестница Киприды»	348
П. Б. Мансурову	349
Добрый человек	—
«Лаиса, я люблю твой смелый [вольный] взор»	—
«Tien et mien, — dit Lafontaine»	350
Мадригал М — ой	—
Е. П. Бакуниной («Напрасно воспевать мне ваши именины»)	—
Ты и я	—
Нимфодоре Семеновой	351

1820

«Скажи, какие заклинанья»	352
Дориде	—
Дорида	353
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей»	—
На Аракчеева	—
«Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил».	354
Эпиграмма («В жизни мрачной и презренной»)	—
«Аптеку позабудь ты для венков лавровых»	—
«Увы, зачем она блистает»	—
«Мне вас не жаль, года весны моей»	355
«Погасло дневное светило»	—
К*** («Зачем безвременную скуку»)	357
Дочери Карагеоргия	—
Черная шаль	358
Нереида	359
«Редеет облаков летучая гряда»	—
Эпиграмма («Хаврониос! ругатель закоснелый»).	360
Эпиграмма («Когда б писать ты начал сдуру»)	—
Эпиграмма («Как брань тебе не надоела»)	—
«Там на берегу, где дремлет лес священный»	—

1821

Земля и море	361
Красавица перед зеркалом	362
«Я пережил свои желанья»	—
Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат»).	—
Из письма к Гнедичу	363
Кинжал	364
Муза	366
Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет»)	—
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет»)	369
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный»	—
В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов»).	—
К моей чернильнице.	371, 591
Христос воскрес	374
«Кто видел край, где роскошью природы»	375, 592
«Князь Г. со мною не знаком»	376
«Раззевавшись от обедни»	—
Посвящение «Гавриилиады»	377
«Недавно бедный музульман»	379
Кн. П. А. Вяземскому («Язвительный поэт, остряк замысловатый»)	380
	605

	<i>Стр.</i>
«Красы Лаис, заветные пиры»	380
«Певец-гусар, ты пел биваки»	381
«Если с нежной красотой»	382
«A son amant Eglé sans résistance»	—
«В твою светлицу, друг мой нежный»	383
Гроб юноши	—
Дионея	384, 592
«Умолкну скоро я»	385
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет»	—
Алексееву («Мой милый, как несправедливы»)	386, 592
Наполеон	387
Война	391
К Овидию	392
Эпиграмма на Каченовского («Клеветник без даро- ванья»)	395
Дева	—
Эпиграмма («Оставя честь судьбе на произвол»)	—
«Наперсница волшебной старины»	396
«Тадарашка в вас влюблен»	397
Генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел»)	—
Эпиграмма («Поверь мне, быть тебе Панглосом»).	—
Приметы	—
Кокетке	398
М. Е. Эйхфельдт («Ни блеск ума, ни стройность платья»)	399
«Не тем горжусь я, мой певец»	400
«Вечерня отошла давно»	—
«J'ai possédé maîtresse honnête».	401
«Наперсница моих сердечных дум»	402
«Всегда так будет, как бывало»	—
Десятая заповедь	—
1822	
«Иной имел мою Аглаю»	404
«У Кларисы денег мало»	—
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной»)	—
«Мой друг, уже три дня»	405
«В лесах Гаргафии счастливой»	406
«Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел»	407
Песнь о вещем Олеге	—
«Люблю ваш сумрак неизвестный»	411, 593
Прятелю	412
Баратынскому («Я жду обещанной тетради»)	—

	<i>Стр.</i>
Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша»)	412
Адели	413
Послание цензору	414
К портрету кн. П. А. Вяземского	417
Узник	418, 595
Гречанке	418
Баратынскому из Бессарабии	419
Ф. Глинке («Когда среди оргий жизни шумной»).	—
«Нет ни в чем вам благодати»	420
«Свод неба мраком обложился»	420, 595
«Царь Никита жил когда-то»	424
Таврида	425
«Брат милый, отроком расстался ты со мной»	426
«Один, один остался я»	—
«На тихих берегах Москвы»	—
«Сегодня я поутру дома»	427
«Недавно я в часы свободы»	—
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем»	428
«Всё так же ль осеняют своды»	429
«Ночь светла, в небесном поле»	—

1823

Из письма к В. П. Горчакову («Зима мне рыхлою стеною»)	430
Птичка	—
«Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий».	431
«Кто, волны, вас остановил»	—
Ночь	432
«Простишь ли мне ревнивые мечты»	—
«Свободы сеятель пустынный»	433
Из письма к Ф. Ф. Вигелю («Проклятый город Кишинев»)	434
Демон	435
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье»)	436
«Недвижный страж дремал на царственном пороге»	—
«Как наше сердце своенравно»	439
«Завидую тебе, питомец моря смелый»	—
«Придет ужасный [час]... твои небесны очи»	—
«Надеждой сладостной младенчески дыша»	440
Телега жизни	—
Жалоба	441
«[Венерэ], Фебу и Фемиде»	—
[Чиновник и поэт]	442

«Всё кончено: меж нами связи нет»	443
А. Л. Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип»)	—
Иностранке	444
«Саранча летела, летела»	—
«Морей [красавец] окриленный»	445
«Приют любви, он вечно полн»	—
«Зачем ты послан был, и кто послал тебя»	—
На гр. М. С. Воронцова («Полу-герой, полу- невежда»)	446, 596
«Певец Давид был ростом мал»	446
«О муза пламенной сатиры»	—
Прозерпина	447
А. Н. Вульффу («Здравствуй, Вульф, приятель, мой!»)	448
К Языкову («Издревле сладостный союз»)	449
Разговор книгопродавца с поэтом	450, 596
К морю	457
«О дева-роза, я в оковах»	459
Коварность	—
«Т — прав, когда так верно»	460
«Мне жаль великия жены»	461
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла»	—
Младенцу	462
Графу Олизару	—
П. А. Плетневу («Ты издал дядю моего»)	463
«Презрев и толки укоризны»	464
«Сабуров, ты оклеветал»	—
«Как жениться задумал царский арап»	465
«Ночной зефир»	—
«С перегородкою каморки»	466
«Пока супруг тебя, красавицу младую»	—
Фонтану Бахчисарайского дворца	—
Виноград	467
Подражания Корану	—
Из письма к А. Г. Родзянке («Прости, украинский мудрец»)	474
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?»)	—
Послание к Л. Пушкину («Что же? Будет ли] вино»)	475
Аквилон	476
Второе послание к цензору	—
Клеопатра	479
«Напрасно ахнула Европа»	481

	Стр.
Сожженное письмо	481
«Лиде страшно полюбить»	482
«Твое соседство нам опасно»	—
«Сказали раз царю, что наконец»	—
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает».	483
Признание (К А. И. Осиповой)	—
К** («Ты богоматерь, нет сомненья»)	485
«Охотник до журнальной драки»	—
«Лихой товарищ наших дедов»	—
«Пускай увенчанный любовью красоты»	—
«Тимковский царствовал — и все твердили вслух»	486
«Воспитанный под барабаном»	—

1825

Прятели («Враги мои, покамест я ни слова»).	487
На Ф. Н. Глинку («Наш друг <i>Фита</i> , Кутейкин в эполетах»)	—
«Что козырь?» — «Черви». — «Мне ходить».	—
«Вот Коцит, вот Ахерон»	489
«Я был свидетелем золотой твоей весны»	—
Дружба	490
«От многоречия отрекшись добровольно»	—
«Семейственной любви и нежной дружбы ради»	—
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову	—
«Жив, жив курилка!»	493
Козлову («Певец, когда перед тобой»)	—
Желание славы	494
«Веселого пути»	495
Ех ungue leonem («Недавно я стихами как-то свистнул»)	—
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне»)	—
Андрей Шенье (Посвящено Н. Н. Раевскому)	496
А. Р. Родзянке («Ты обещал о романтизме»)	503
К А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье»)	504
«Блестит луна, недвижно море спит»	505
Жених	—
«Если жизнь тебя обманет»	511
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Сатирик и поэт любовный»)	—
Вакхическая песня	512
Н. Н. («Примите «Невский альманах»).	—
Сафо	513
	609

	<i>Стр.</i>
«Цветы последние милей»	513
«Брови царь нахмуря»	—
19 Октября	514, 597
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («В глуши, измучась жизнью постной»)	519
Движение	—
Соловей и кукушка	—
Совет	520
Прозаик и поэт	—
«В крови горит огонь желанья»	—
«Вертоград моей сестры»	521
Буря	—
Зимний вечер	522
«Всё в жертву памяти твоей»	523
К Баратынскому («Стих каждый повести твоей»).	—
Сцена из «Фауста»	—
«Как роза увядает»	528
«Припадками болезни женской»	529
«В пещере тайной, в день гоненья»	—
«На небесах печальная луна»	—
«Короче дни, а ночи доле»	—
«Начало 1 песни «Девственницы»	530
Н. С. Мордвинову («Под хладом старости угрюмо угасал»)	531
С португальского	532
«Что с тобой, скажи мне, братец?»	533
«Под каким созвездием»	534
«О боги мирные полей, дубрав и гор»	—
А. Н. Вульф («Увы! Напрасно деве гордой»)	535
ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ПЕРЕДЕЛАННЫЕ ПУШКИНЫМ в 1819—1828 гг.	
Старик	536
Лицинию	—
Гроб Анакреона	538
Амур и Гименей	540
К Морфею	541
Друзьям («Богами вам еще даны»)	542
Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Ве- нерой»)	—
Любопытный	543
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин»).	544
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей»).	—
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью»)	545

ФРАГМЕНТЫ И ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ

1814

«Мы недавно от печали»	Стр. 546
----------------------------------	-------------

1816

Ноэль на лейб-гусарский полк	—
--	---

1817

«Есть в России город Луга»	547
«Венец желаниям! Итак я вижу вас»	—

1818

«Она мила, твоя подруга»	548
«Сиятельный Аристофан!»	—
«О ты, надежда нашей сцены»	—

1819

Послание к А. И. Тургеневу («В себе все блага заключая»)	548
На Стурдзу («Вкруг я Стурдзы хожу»)	—
«Милый мой, сегодня»	549
«... шляпа с розами»	—
«Свободы друг уединенный»	—
«[Красноречивый забияка]»	550
«Ты мне велишь открыться пред тобою»	—
«Оставь, о Лесбия, лампаду»	—

1820

«Я видел Азии бесплодные пределы»	—
«[Жуковский, ... как ты шалишь]»	551

1821

«Эллеферия, пред тобой!»	—
«... во дни Дадона»	—
«Вы, дни, протекшие»	—
«Одна черта руки моей»	552
«... до меня доходят»	—
«Генерал не попал»	—
«[Вдали тех пропастей глубоких]»	—

1822

«Не даром ты ко мне воззвал»	553
«Зачем раздался гром войны»	—
«Дай, Никита, мне одеться»	554

	Стр.
«Чугун кагульский, ты священ»	554
«Нет ветра — синяя волна»	—
«[Поля и горы ночь объемлет]»	—

1823

«Мой пленник вовсе не любезен»	554
«Жуковский — святой»	555
«[Скажи] — не я ль тебе заметил»	—
«Улыбка уст, улыбка взоров»	—

1824

Ф. Ф. Вигелю («Скучной ролью Телемака»)	555
«Мадам Ризнич с римским носом»	—
«Слаб и робок человек»	556
«Я не дремал»	—
«Они твердили: пусть виденья»	—
«Иван-царевич по лесам»	—

1825

«Quand au doux sein de l'oubli»	556
«Он вежлив был в иных прихожих»	557
«Заступники кнута и плети!»	—
«Скажи, мне, ночь, зачем твой тихий мрак»	—
Кюхельбекеру («Да, сохранит тебя твой добрый гений»)	—
«Но ты забудь меня, мой друг»	558
«Когда б ты родилась»	—
«[Так] на <i>нрбр</i> страницы»	—
«Играй, прелестное дитя»	—

КОЛЛЕКТИВНОЕ

1816

Куплеты (На слова: « <i>Никак нельзя, — ну так и быть!</i> »)	559
Куплеты (На слова: « <i>С позволения сказать!</i> »)	560
«Там — громкой славою»	561

1817

«Гауншильд и Энгельгардт»	562
«Писать я не умею»	—
Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забывши славу»).	563

1819

Баллада	563
-------------------	-----

	1825	
Элегия на смерть Анны Львовны		564
	DUBIA	
	1809—1811	
«Dis moi, pourquoi «L'Escamoteur»		565
«Je chante ce combat, que Toly remporta»		—
	1814	
Двум Александрам Павловичам		566
Гараль и Гальвина		—
Исповедь стихотворца		569
	1815	
Вишня		574
Завещание Кюхельбекера («Друзья, простите! За- вещаю»)		577
	1818	
«Она тогда ко мне придет»		577
Про себя		—
Наденьке		—
	1819	
На Н. И. Гнедича («С тобою в спор я не вступаю»)		577
На Н. М. Карамзина («В его «Истории» изящ- ность, простота»)		578
На гр. Д. И. Хвостова («Сожаленье не поможет»).		—
	1820	
На Фотия («Полу-фанатик, полу-плут»)		578
На кн. А. Н. Голицына («Вот Хвостовой покро- витель»)		579
К портрету П. Х. Молодцова («Не большой он русский барин»)		—
	1825	
«Расходились по поганскому граду».		579
Приложение		580

Ответственный редактор А. А. Языков.
Технический редактор Н. И. Гарвей.
Наблюдающий на производстве В. Ф. Атлас,
Корректор Е. Н. Семяновская.



Изд. № 179. X-00^B. П 91. Тираж 100 000 экз.
19¹/₄ печ. листов, 25 уч.-авт. листов.
Уполномоченный Главлита Б-26920.
Сдано в набор 1 апреля 1936.
Подписано к печати 19 августа 1936.
Отпечатано на бумаге Красновишерского
бумкомбината им. Менжинского
Заказ тип. № 1601,



